

ЗЕЛЁНОЕ ВИНО

ЗЕЛЁНОЕ ВИНО



ЛИТЕРАТУРНЫЙ
АКАДЕМГОРОДОК
ШЕСТИДЕСЯТЫХ

ЗЕЛЁНОЕ ВИНО

С.П.

ген. Трансевиз

Д.И. Падер

А. Н. Троицкий

Торжков

В. Смирнов

Тучков

Иванов

Александров

И. Сахаров.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

АКАДЕМГОРОДОК

ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Издательство «Свинын и сыновья»

Новосибирск

2009

ББК 83.3 (2Рос=Рус)

348

Зелёное вино (Литературный Академго-
348 родок шестидесятых) / Сост. Г. М. Прашкевич,
Т. А. Янушевич. – Новосибирск: Изд-во «Сви-
ньин и сыновья», 2009. – 518 с., ил.

ISBN 978-5-98502-080-9

Геннадий ПРАШКЕВИЧ

**«ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ЗАПОЗДАЛЫМ...»**

Данный текст не является специальным исследованием или некоей, пусть и неполной историей литературного объединения, вдруг возникшего в новосибирском Академгородке в начале 60-х – в самые, может, интересные годы. Дай Бог, найдутся люди, которые восстановят историю указанного литобъединения более тщательно, со всеми деталями, так, как оно того заслуживает. Моя цель всего лишь напомнить о том, кто именно и чем пытался придать (сознательно или не отдавая в том отчета) блеска и без того прекрасному месту – Академгородку, для многих из нас – действительно мосту в будущее.

В Постановлении Совета Министров СССР от 18 мая 1957 года о создании Сибирского отделения Академии наук было сказано: «В целях усиления научных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук и быстреего развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока». Но ничего не бывает в отрыве от окружающего. Научный центр одновременно стал и важнейшим культурным центром.

Я приехал в Новосибирск осенью 1958 года.
Из провинции, с железнодорожной станции
Тайга.

Тогда же начал работать лаборантом в Институте геологии и геофизики.

И тут же, к моему изумлению, выяснилось, что крупнейший знаток железорудных месторождений Сибири геолог Геннадий Львович Поспелов, который, собственно, устраивал меня на работу, был не только ученым, но и поэтом. *«Разве удел у юности – старость? Разве удел у старости – смерть?»* Это из его стихов. Они мне нравились.

Оставаясь на ночные дежурства в здании на улице Советской в центре Новосибирска, где некоторое время размещались многие будущие научные институты, я ночами напролет вчитывался в удивительные книги будущей объединенной библиотеки СО РАН. Подозреваю, что именно в те годы и сформировался мой взгляд на мир. И этому способствовали не только проглоченные мною многочисленные работы Л. С. Берга, Вильяма К. Грегори, Б. М. Козо-Полянского А. Сьюорда, А. А. Борисяка, И. А. Ефремова, А. Рёмера, А. П. Быстрова, И. И. Шмальгаузена, Д. И. Щербакова и многих других замечательных ученых, но и стихи, стихи! Встречаясь с Геннадием Львовичем (а какое-то время я даже жил у него), я узнавал много интересного о литературных течениях начала века, особенно о футуристах и конструктивистах, с юности особенно близких сердцу Геннадия Львовича. Я остро чувствовал, что где-то рядом должны находиться и мои ровесники, воспринимающие мир, как я.

И не ошибся.

«В 1959 году в Академгородке открылся Новосибирский госуниверситет, – вспоминала позже Татьяна Янушевич в своей книге «Мое время». – Он занимал два этажа в школе № 25 и состоял из единственного тогда общего Факультета естественных наук. Среди первых двухсот студентов были Володя Бойков (математик), Вадим Фомичев (механик), Лида Киселева, Таня Янушевич и Леша Птицын (геологи), Володя Горбенко и Слава Сербин (физики-вечерники). Дружба возникла мгновенно и спонтанно... Мы, оказавшиеся вместе в только что возникшем Городке, то есть в условиях исключительных: новизны, подъема, праздника, в возрасте своего естественного романтизма, мы были переполнены удастью, щедростью, влюбленностью (той вообще-влюбленностью, без конкретного предмета, когда она не есть временное состояние, но суть души); мы „влипали“ друг в друга сразу, при первом же столкновении, и образовали в считанные дни снежный ком; иногда нас было и тридцать, и пятьдесят, и все двести, но плотно – человек пятнадцать, по периферии кто-то отпадал, примыкал, присутствовал – нам было не жалко. Мы жаждали дружбы, отдачи своей непомерной любви, ничего не требуя взамен – торжеством было наше единение...»

Долгие ночи (уже в городке, куда, наконец, переехали научные институты) проходили в разговорах, а утром надо было уже бежать – одним на учебу, другим на работу. На перекур обычно я спускался в подвал Института геологии и геофизики, где под суровые синкопы угрюмой машины, созданной для дробления особенно плотных горных пород, продолжал начатые с вечера споры и разговоры с новым моим другом Валерой Щегловым, недавно перебравшимся в Новосибирск из Томска. Правда, второй мой друг

Володя Горбенко об этом вспоминает несколько иначе: *«На перекур ты, друг мой, спускался в дробилку ко мне. Это было весной 1961 года, только что организовали лабораторию „Обработки и подготовки проб“. Туда я и был принят в начале января, на второй и окончательный круг моей „городковской“ жизни. Я всю весну и лето, до твоего отъезда в поле и своего поступления на дневное отделение нашего Университета, был единственным лаборантом у одного чудаковатого мужика. Он был добрым человеком, не корил за частые опоздания, только все время склонял меня к воровству всегда и везде всяческих инструментов, деталей и различных железок. И все это прикапывал для работы. Мы созванивались с тобой, и ты спускался в подвал, мы курили, болтали, а когда никого не было, метали напильники в толстую деревянную доску, и сговаривались, что будем делать вечером...»*

Возможно, и так. Но кудрявый длинный Валера Щеглов уже появился.

Нас всех обуревали стихи. Свои и чужие. Слава Сербин, еще один наш друг, привел в общагу человека в круглых очках и в тафтяной тюбетейке – Володю Бойкова. Он сам, правда, сейчас утверждает, что *«тюбетейка была из черного бархата, на черной голове не так уж и заметная»*, но это не важно. Главное – стихи. Всё для нас в то время являлось предметом поэзии. Мы не только писали, мы уже пытались предложить свои стихи читателям. В том формате, как нам тогда это виделось. Но газеты и журналы отделялись стандартными фразами об идеологическом и художественном несовершенстве, а поэтов, так сказать, официального толка, мы не интересовали.

Да и были на то причины.

Мы вовсе не выглядели овечками.

В Дом культуры «Юность» (микрорайон «Щ»), например, мы явились целой компанией: я, Валера Щеглов и Слава Журавель – еще один геолог, наш общий друг. Выступал поэт Л. В. Решетников. Леонид Васильевич выглядел уверенным и спокойным. За ним стояли его поэтические книги, за ним стояло все официальное крыло советской поэзии. Но нас меньше всего в то время трогало партийное начало в литературе, даже безобидные, в сущности, стихи об охоте и те ужасно не пришлись Славе Журавелю. «Вот вы, товарищ поэт, – громогласно возмутился он, – прочли нам тут про советских зайцев и охотников! Про то, как эти самые находчивые охотники этим самым советским зайцам, простите, дробью по мелким жопам. А если той дробью да по охотникам?» – «К чему это вы?» – растерялся Решетников. – «А к тому, что стихи пусть читают Валерий Щеглов и Геннадий Прашкевич!» – «А это кто такие?» – «Это настоящие поэты, они не ровня вам. Вот пусть выйдут на сцену и читают». – «Да нет уж, – все-таки пришел в себя Решетников. – Стихи на слух я не воспринимаю».

Впрочем, поддержки (внутренней) нам хватало.

Геннадий Львович Пospelов обожал Маяковского, Хлебникова, Сельвинского, химик Валентин Михайлович Шульман – поэтов серебряного (в то время едва ли не запрещенного) века в русской поэзии и французского Парнаса. «*Вокруг старинного стола в доме Валентина Михайловича*, – вспоминала позже Татьяна Янушевич, – мы играли в „Малую Французскую

Академию". В сервировку стола входили листки бумаги и обломки карандашей – их переламывали пополам, если на всех не хватало. Мы писали „пасквилы“ и пародии друг на друга и на „маститых“, рисовали карикатуры, особенно любили буриме. Сочиняли „выступления“ о размерах и ритмах, составляли забавную коллекцию вычурных рифм, да много чего, и читали, читали взахлеб стихи разных поэтов, хватая выходящие тогда во множестве сборники, „откапывая“ современников, а главное, шире откатывая назад – до Державина и Ломоносова». Великолепная поэтическая библиотека была собрана химиком член-корреспондентом Академии наук СССР Б. В. Птицыным, сын которого Алексей очень скоро влился в наше стихийное поэтическое сообщество. Стихи писали (и это знание, несомненно, поддерживало нас, по крайней мере, меня точно) академик геолог В. С. Соболев, доктор геолого-минералогических наук палеонтолог А. М. Обут, знаменитые математики А. П. Ершов, А. Д. Ляпунов и многие другие. Хрущевская «оттепель» в стране еще длилась. Лидеры КПСС еще всенародно обещали, что мы вот-вот обгоним США по производству мяса, хлеба и молока, а заодно и промышленных товаров, что советские люди буквально через год-два впадут в неслыханное изобилие, рассосется жилищная проблема, и все такое прочее.

А почему нет?

В кафе «Улыбка» на Морском проспекте верилось во многое.

Нас собралось много. Из самых разных краев. И все мы были разные и с разным багажом знаний. Студенты НГУ Валера Щеглов, Володя Горбенко, Во-

лодя Бойков, Таня Янушевич, Леша Птицын, Володя Захаров, Лида Киселева, Володя Штерн, сотрудники научных институтов Женя Вишневский и Слава Журавель, а где-то рядом, кстати, занимался своими делами пока еще незнакомый нам Володя Свиньин. Это он написал до сих пор поминаемые ценителями строки: *«Академгородок, городок невелик, невелик золотник, да дорог»*. Общими были антураж, пейзажи за окном, улицы и дома, окружающие люди, но путь каждого был своим.

«В апреле 1961 года я был уже „аборигеном“ городка, с искренним ощущением, что это именно мой городок, – вспоминал те годы Володя Горбенко. – Я приехал на станцию „Сеятель“ в августе 1958 года с путевкой горкома комсомола „С аттестатом зрелости – в трудовую жизнь“. Так сокрушительно подействовала на меня, семнадцатилетнего юношу с Урала, книга Анатолия Кузнецова „Продолжение легенды“ – я твердо решил хлебнуть из чаши настоящей жизни и, конечно, сочинял стихи и вел дневники. Год я проработал плотником-бетощиком на строительстве институтов гидродинамики, химической кинетики и горения и в институте геологии и геофизики. Приобрел опыт, веру в себя, желание поступить в „наш“ университет, а также приобрел товарищей на всю оставшуюся жизнь: Славу Сербина, Эдика Шиловского, Юру Ромащенко. В 1959 году поступил на вечерний физфак, и окончил первый курс НГУ. Смутно помню, как учился вечерами (скорее всего, неважно). Тяга к перемещению в пространстве и романтика общения трудно совмещались с изучением физики.

Но зато какое общение! Юра Ромащенко (он поступил на дневное отделение) познакомил меня с Таней

Янушевич и Володей Бойковым. Очень скоро между нами (именно на почве интереса к литературе) выкристаллизовалось некое пространство, которое уже никогда больше не разрушалось, как бы ни складывались обстоятельства. Виделись в свободное время, делились тем, что знали. Стихи Бойкова увлекали меня и озадачивали. Я чувствовал в них неподдельную поэтическую природу – и не по мастерству (оно придет), а по духу. Его, на первый взгляд, внешние, порой замысловатые образы, прорастали внутрь и связывали изящный словесный орнамент и мысль, стремящуюся постичь суть мига и вечности. Стихи без поэтической мелодрамы вызывали во мне уважение. Мы приняли Бойкова за поэта безоговорочно...

В 1966 году я окончил НГУ по специальности «геофизика» и навсегда покинул Академгородок, но „моим“ он остался на всю жизнь».

Каким-то образом мы получили от местного комитета СО АН место для постоянных встреч – комнату в трехкомнатной квартире.

Там мы и собирались.

Там и звучали наши голоса.

Одним из самых запоминающихся принадлежал Володе Захарову.

Поэтом Володя был всегда, но учился он на физфаке НГУ, позже с блеском защитил докторскую, с 1991 года – действительный член Российской академии наук. Одиннадцать лет руководил Институтом теоретической физики им. Ландау, с 2005 года – регент-профессор математики Аризонского университета в городе Тусоне (США), завсектором математической физики в Физическом институте им. Лебедева в Москве. Лауреат Государственных

премий СССР и РФ, лауреат золотой медали Дирака. Но поэзия никогда не была для него вторым делом. *«Я родился в семье, где русская поэзия всегда была высшей ценностью, – писал он в предисловии к книге стихов «Перед небом» (Москва, 2005). – Поэтессой была моя мать, учительница биологии, писал стихи старший брат, будущий профессор механики. Писать я начал в детстве, но планка требовательности, заданная в семье, была слишком высока. Так что я больше читал и слушал, чем писал. Всерьез начал работать над стихом в 1961 году, когда переехал в новосибирский Академгородок, став студентом университета. Там бурлила всяческая культурная, в том числе литературная жизнь, и я принял в ней самое активное участие. На последнем курсе даже думал бросить науку и стать профессиональным поэтом. (К месту будь сказано: редактор довольно смелого по тем временам журнала «Юность» вернул стихи Захарову со словами: «Да, конечно, ваши стихи лучше тех, которые мы печатаем, но поскольку по вашим глазам я вижу, что вы можете написать еще лучше, то печатать мы вас не станем». – Г. П.). Я не имею в виду намерение пробиться в официально разрешенную поэзию – это потребовало бы невозможной для меня деформации личности, но желание присоединиться к благородному ордену свободных художников было достаточно сильным.*

Но и наука волновала меня. Академгородок шестидесятых был центром научной жизни страны, сюда съехалось множество ярких молодых ученых. В этой атмосфере работалось на редкость хорошо, и я, как говорится, сразу „попал в жилу“. Моя первая научная статья, опубликованная в 1962 году, широко цитируется до сих пор. Надо сказать, что никакого парадокса в одновременном занятии

наукой и поэзией я не вижу. Ни в коем случае не напрашиваясь на сравнение, хочу привести пример Ломоносова или Омара Хайяма, который был не только великим поэтом, но и великим математиком».

И дальше: «Что заставляет поэта писать стихи? Меньше всего – желание славы. Бродский сказал однажды, что сочинение стихотворения есть физиологический акт. Да, когда неизвестно почему и откуда в голове начинают звучать новые сочетания слов и новые ритмы, только пере-неся их на белый лист бумаги, испытываешь освобождение и облегчение. Но и это – не вся правда. Бродский сказал еще, что у поэта есть долг перед языком. Да, поэтическое слово – квинтэссенция языка, но и это – еще не вся правда. У поэта есть долг перед миром, в котором он живет. Перед огромным домом, где ходят облака, падают дожди, летают птицы, стоят города с их окраинами, светятся мириады окон. И поэт остро чувствует связь с этим миром, который ожидает неясное и, очень может быть, тревожное будущее. Поэт есть существо, родное этому миру, и ему иногда дано услышать сигналы, чреватые будущим. Тогда он просто обязан превратить их в звуки, которые будут „глаголом жечь“...»

В моей поэзии немалую роль играет тема войны. Не потому, что у меня воинственный характер. Просто война, особенно будущая война, есть грозная и неустрашимая реальность, присущая нашему миру. И если у поэта возникает императив о ней говорить, он не вправе от него уклоняться. Я начал писать о войне в самое мирное и застойное время, в середине семидесятых годов. Когда я читал свое стихотворение „Начнись, война“ друзьям-поэтам, они затыкали уши и советовали стихотворение уничтожить. Один Фазиль Искандер (уже в Москве. – Г. П.) его похвалил и назвал „верхом поэтической

смелости“, и это был высший комплимент, который я когда-либо получал.

Есть еще другая функция у поэзии – литургическая. Поэзия интимно связана не только с будущим, но и с прошлым. Она тесно связана с мифом. Основные религиозные тексты, несомненно, были написаны поэтами. Подлинная поэзия есть религиозное творчество, неканоническое, но угодное Богу. Это есть дерзостное стремление познать мир, трансцендентный нашему, но вовсе не оторванный от него. Это звучит как манифест символистов, но в моем случае иначе и быть не могло. Мать читала мне в качестве колыбельной „Незнакомку“ Блока, и я не помню себя – не знающим это стихотворение наизусть...»

Нина Горенштейн, еще одна, часто безмолвная, но активная участница наших «сред», сохранила в домашнем архиве немало интересного: письма, фотографии, записи, сделанные по ходу встреч. Сохранилось даже несколько рисованных мною афиш.



В прокуренной (а курили все) комнате Володя Захаров читал не только свои стихи, но и Владимира Луговского. «Среды» никогда не подчинялись заданной теме. Слава Журавель захлебывался ритмами есенинского «Пугачова». У Нины Греховой, поэтессы, приезжавшей на «среды» из традиционно консервативного Новосибирска, круглились от удивления глаза. Возможно, в то время в Новосибирске это было единственное место, где можно было услышать читаемые вслух стихи Зинаиды Гиппиус или Анны Ахматовой, Осипа Мандельштама или Николая Гумилева. Хотя не менее важным было то, что рождалось в наших головах.

Слава Журавель писал ленинградским друзьям: *«Последним знаменем „сред“ была „Поэма начала“ Прашкевича. Поэма о нашествии на Русь монголов. Вышло что-то языческое и монументальное. Мне нравится. Многим нравится. Сложность многих ассоциаций оправдывается языческим разрешением замысла, но встречаются изыски, нарушающие чистоту линий. „Титанов толпы столпотворили – хоромы хлопот, холопов крылья“. Пусть не бессмысленная ассоциация, но до истоков ее не каждому суждено добрести...»*



Солнечным днем (это происходило в мае 1962 года) Володя Горбенко и Володя Захаров вывесили афишу на деревянном столбе, как это ни странно, торчавшем прямо посреди Морского проспекта. Наверное, его забыли снести строители.

Вызывающий столб, вызывающий текст.

«ДЕКАДАНС ИЛИ СОВРЕМЕННОСТЬ?»

Вопрос, похоже, смутил кого-то, афишу сорвали.

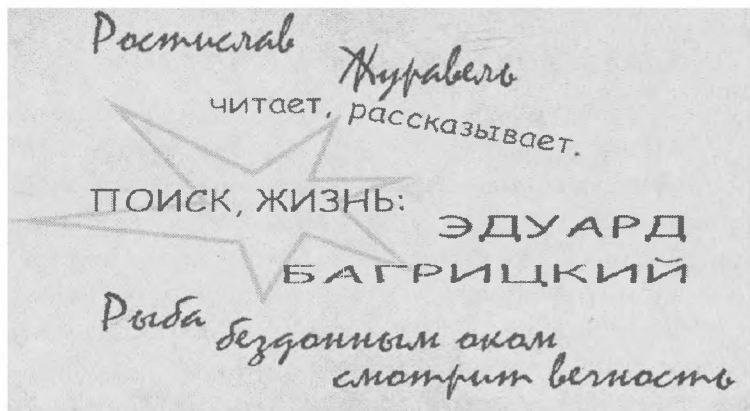
Мы немедленно вывесили другую, с таким вот неприхотливым намеком на уши разные. Мы все еще не замечали, а может, не хотели замечать, что короткая хрущевская оттепель уже отступала. Неприязненный интерес властей к неформальным сообществам, подобным нашему, заметно усиливался. Да и как было ему не усиливаться, если в каком-то неофициальном (а значит, неконтролируемом) литературном объединении проповедуют непонятную „новую красоту“, еще никем якобы не явленную, читают вслух Гумилева и Ахматову, поэтов, в сущности, запрещенных. Нет ведь, чтобы восхищались вполне доступными Асадовыми или Тряпкиными.

Или Осип Мандельштам.

Тоже поэт в то время мало кому известный.

Самым большим его поклонником (заодно и владельцем редкостного экземпляра книги «*Tristia*») был Валера Щеглов. Короткая, но замечательная жизнь. Родился в Томске, несколько лет прожил в Китае с родителями, поступил в Томский университет, но скоро перевелся в новосибирский, что было, наверное, очень правильным выбором. Окончив НГУ, работал в Институте геологии и геофизики,

защитил кандидатскую диссертацию. Параллельно научным статьям печатались и стихи в различных сборниках, даже переводились на болгарский язык. Валера Щеглов мог очень много, но не успел. Ушел из жизни внезапно.



28 мая 1962 года.

В эту «среду» Слава Журавель читал Багрицкого.

В густом дыму шурился вполне уже признанный новосибирский поэт Илья Фояков. Он руководил городским литобъединением и к нам присматривался ревниво. Гостем был и Николай Грицюк, известный художник. Грузный и мрачный, он говорил о Рублеве и абстракционистах. Споры на «средах» всегда отличались необыкновенным разлётom тем. Хотелось выхода на другие горизонты. Но оттепель действительно заканчивалась. В июне того же года мы с Володей Бойковым выступали в Доме культуры «Юность». Компанию нам составила Лида Киселева, наблюдавшая за происходящим как бы со стороны.

«Мастера красоты, проигравшие жизнь...»

«Краски Кавказа, кремовый Крым, каркасы баркасов – сплетенье крыл...»

С лестницы нас не спустили, но из зала вывели. «Вот оборвали струны акынам, плюнули в душу, – жалел нас Володя Горбенко. – А они-то думали, им пишущую машинку подарят!»

«Я приехала в Новосибирск поступать в только что открывшийся университет в 1959 году, – вспоминала Лида Киселева. – Город Ирбит, где я жила, несколько столетий знаменит был ежегодными ярмарками, а в советские годы – мотоциклетным и автоприцепным заводами. В школе среди моих друзей всегда были ребята, любившие поэзию, и сами пытавшиеся писать. И я любила стихи, прежде всего Бунина и Есенина. Не уверена, что в те годы ирбитские мои сверстники что-то слышали о Мандельштаме, Гумилеве или Ахматовой. Почти всё на литературных „средах“ в Академгородке было для меня новым, необыкновенным, а иногда даже непонятным. Одна из „сред“, кстати, выпала на 16 мая 1962 года. Это был день рождения Гены Прашкевича (он же Изысканный жираф – так его прозвали из-за чрезмерного увлечения Гумилевым). Отмечали событие в бывшем помещении Института археологии, размещавшемся тогда в обычном жилом доме. Привел меня на поэтическое торжество Володя Горбенко, в которого я была влюблена. Но с того вечера Гена Прашкевич уже не оставлял меня, буквально преследовал, зачитывал стихами. Высокий, нескладный, с миндалевидными глубоко посаженными глазами он даже в компании поэтов выделялся своей экстравагантностью и неумной фантазией. Но с той поры – мы вместе».

Окончив НГУ, Лида Киселева многие годы работала (и работает) в Институте геологии и геофизики, несколько раз за это время менявшем свое название.

Кандидат геолого-минералогических наук, автор научных статей и трех монографий (в том числе в соавторстве с академиком С. В. Гольдиным). Участница различных поэтических сборников. Увлечение английским языком тоже дало свои результаты: она первая в России начала переводить итальянского (пишущего на английском) фантаста Роберто Квалью. Повести Роберто Квальи сейчас известны в России в основном по переводам Л. Киселевой. *«А стихи ко мне приходят редко. Вдруг появляется строка... Не дает покоя... За ней другая, третья... И как хорошо, когда эти строки складываются во что-то важное, отражающее настроение, мысль».*



6 июня 1962 года.

Эта «среда» запомнилась бурными спорами.

Слава Журавель прочел «Легенду» – стихи в прозе. Думаю, стоит ее привести полностью – в память о нашем рано ушедшем из жизни друге, и как пример того, как мы относились к своим вещам – и критично, и с юмором.

«Древние люди знали дивную музыку.

Телом инструменту было дерево, душой – струны.

Искали одинокое дерево, что певуче отзывалось стройной красотой своей ветру. Искали дикого зверя, стан которого перед прыжком был изваянием гармонии со звучанием в немой игре мышц затаенного темперамента и победного рева. Валили дерево, убивая зверя. Из дерева рождалось тело, из жил-нервов – струны. Дерево томил в воде, сушили на ветру и солнце, тесали, напильники благоуханными смолами и ядом змей, полировали, пока оно не начинало отражать и впитывать мир мудростью своих форм; жилы вытягивали и откручивали, заставляли петь тетивой на луке и замирать предсмертной дрожью жертвы, пораженной стрелой.

Прикосновение к струнам инструмента будило звучания, просыпавшиеся эхом в теле его. В этих звуках песнь ветра, голубой свет неба сквозь шорох листвы и темный страх мрака, могучий разгул стихий в откровении молний, шепоты тишины, торжествующий рев зверя и последний его хрип, похожий на стон умирающего дерева, гипнотические извивы змей, ласка согревающих тело шкур и благоухание запахов, дрожь нервов, пляски и песни диких племен в метании теней и воплей, и пламени – все оживало в этих звуках».

На Славу Журавеля сразу набросились: это не литература!

«А что тогда литература?» – на такой вопрос Славы Валера Щеглов тут же прочел свои собственные стихи о нежно вскрикивающем в ночи сверчке.

В один голос: «Это тоже не литература!»

«Да ну? – удивился Щеглов, – а что тогда, если не литература?»

«Пошлость!»

Общий смех.

Юмором жили.

Записи тех лет дают представление о сути наших споров и разговоров.

Надо только помнить, что всем нам в то время было от силы по двадцать, ну по двадцать три года.

Володя Бойков: *«Нужна сказка. Всегда нужна сказка. Сказка просто рассказывается. Ни в какой талант я не верю, и вдохновения не существует. Существует сказка, она цит от любой грязи».*

Лёша Птицын: *«А я против сказок. Какие такие сказки? Щегол, а ты вообще сиди!»* – (Валера, видимо, пытался прервать оратора). – *Тебя сказанное в первую очередь касается».*

Володя Горбенко: *«Писать надо проще. Я всегда хочу писать просто. Но пишу об одном, а получается другое. И Вовка Захаров прав: писать надо о серьезных вещах, о масштабных событиях, а мы пишем про какую-то любовь. Если уж всерьез, – посмотрел он на Бойкова, – то писать надо о дряни».* – *«Почему это ты на меня смотришь?»* – обиделся Бойков. – *«Чтобы стыдно было».*

Валера Щеглов (вдохновенно): *«Писать надо эпитафии! Любовь и все такое прочее уходит, а эпитафии вечны. Древние римляне эпитафиями занимались всерьез, они знали, что эпитафии нужно писать так, чтобы они до всех доходили. – («Даже до покойников», – цинично подсказывал Захаров). – А писать просто? Ну, не знаю. Зачем нам такое? Пусть кони пишут просто. Лешка Птицын за простоту только потому, что еще не чувствует форму. Считает, что сильно сложное не дойдет до читателя. А пусть читатель учится! Пусть шевелит своими маленькими мозгами».*

Володя Захаров: *«Самый великий русский поэт – Николай Алексеевич Некрасов. Если кто-то научится выражать свои мысли так, как умел это делать Николай Алексеевич, появится великий поэт. – (Выкрик: «А почему сам пишешь сложно – про Иуду, про Уллиса?») – Писать можно как угодно и про кого угодно, надо только понимать Некрасова».*

Слава Журавель: *«Читать надо больше, вот что я вам скажу. Читать, читать и читать! Забросьте свои убогие стишки, читайте большие умные книги. Чтение – это творчество. Чтение – это высшее творчество. Психика человеческая и расцветающие на деревьях почки всегда крепко и напрямую связаны».*

Гена Прашкевич: *«Касаться надо только святого. Это еще Оскар Уайльд сказал. Писать надо о том, чего тебе не хватает. А упрощать – значит писать как Евтушенко».*

К литературным «средам» уже присматривались.

Сказанное, прочитанное моментально расходилось по городку.

Уже в ноябре 1962 года в газете «За науку в Сибири» был напечатан доклад секретаря комитета комсомола Б. Мокроусова. Творческая ситуация в научном городке показалась комсомольскому вожаку неблагоприятной. *«Подчас это связано с благодушным настроением некоторой части нашей молодежи к идеологическим вопросам, – писал он. – Так, сотрудник Института геологии и геофизики Прашкевич отказывается от социалистического реализма в пользу декаданса, оплевывает ряд советских поэтов».*

Перед этим, в сентябре, состоялся поэтический вечер в Институте геологии и геофизики. Читали Володя Бойков, Валера Щеглов, я.

«А теперь настоящая боль, а теперь настоящая ревность. Я – бедняк, чужеземец-король, ты – владычица, ты – царица...» – жаловался Бойков.

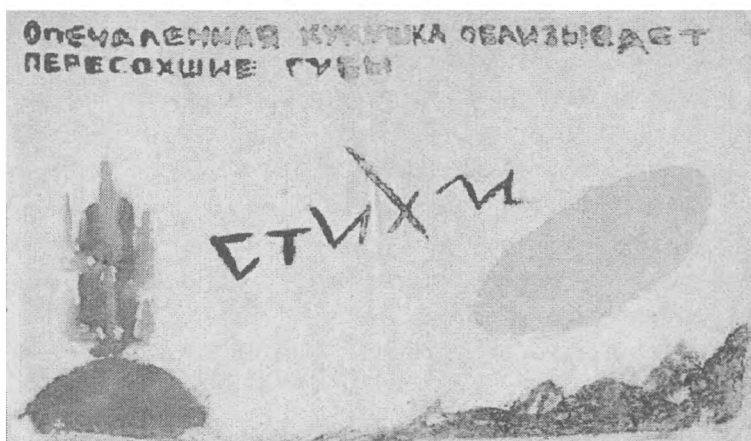
«Где рядом с натюрмортом конченным этюд неконченный живет: любовью долгой и утонченной натренированный живот...» – указывал я не без скрытого смысла.

«Кто там трепался, что плохое мое поколение?...» – вызывающе выкрикивал Валера.

Слухи о наших «художествах» докатились до всемогущего директора Института геологии и геофизики академика А. А. Трофимука. Меня вызвали на ковер. В приемной секретарша соболезнующе смотрела на меня, печально вздыхала, считала, наверное, что меня уволят. А Андрей Алексеевич без улыбки указал мне на кресло, долго молчал, потом спросил: «Ты, правда, считаешь Гумилева хорошим поэтом?»

Я ответил: «Да».

На этом аудиенция закончилась.



Очередная «среда» пришлось на 3 сентября 1962 года.

Перед тем как вывесить указанную выше афишу на стене столовой на Морском проспекте, мы с Щегловым показали ее Славке Журавелю: «Ну, как?»

«Не убьют, но плюнут».

«Среда» и впрямь оказалась шумная.

Вадим Фомичев рисовал носы и уши присутствующих. Валера Щеглов вызывающе переглядывался с загадочными незнакомцами, явно не понимающими наших стихов. Кто-то из новеньких вызвался прочесть своё. После первого стихотворения Володя Горбенко снисходительно заметил: «У вас образы слабоваты». После второго стихотворения Володя Захаров согласно закивал: «Действительно слабоваты». Один Слава Журавель настойчиво просил: «Читайте еще, читайте!» И только где-то после двадцатого (благо, стихи были короткие) подвел окончательный итог: «Образы не просто слабоваты. Они гораздо слабей, чем можно подумать».

Тогда же Лёша Птицын прочел программное:

Я писать по принуждению

не могу и не хочу.

Если нету вдохновения,

я молчу.

Миги жизни городковой

близки сердцу моему.

Но писать стихок дубовый

не возьмусь.

«Мне в жизни крупно повезло, – вспоминал Алексей позже. – Начало этому везению было положено в

1958 году, когда я сразу после школы с первой попытки поступил в Ленинградский электротехнический институт связи.

Да, поступил!

Но, как скоро выяснилось... не туда!

На первом курсе было более или менее интересно, но на втором, когда появилось черчение, к которому я абсолютно непригоден, а также сопромат и теоретическая механика, без которых ни одна инженерная специальность не обходится, я захандрил. Спасло положение то, что отцу предложили переехать в новосибирский Академгородок, который к тому времени уже строился. Отец организовал мой перевод в Новосибирский государственный университет и вот в конце января 1960 года я впервые в жизни оказался восточнее Урала.

В НГУ я выбрал геологию, поскольку в школьные годы посещал геологический кружок при ленинградском Дворце пионеров. Именно этот переезд в Сибирь я рассматриваю теперь как главную удачу моей жизни. Здесь я нашел друзей, с которыми духовно не расстанусь по сей день, хотя мы давно живем в разных городах. Здесь обрел специальность, принесшую мне довольно приличное общественное положение. Наконец, здесь я погрузился в поэтическую среду, в которой раскрылись и мои способности к сочинительству. Будучи научным сотрудником Института геологии и геофизики, я попал в еще одну хорошую компанию – творческий коллектив геологических капутников. Подготовка спектакля – очень приятное и веселое занятие, а сам спектакль – прекрасная школа для человека, которому по роду своей деятельности приходится выступать публично.

И все же главное мое сибирское приобретение – это друзья.

Я не называю имен, их много. И это не один круг, а несколько сложным образом пересекающихся кругов. Они образуют загадочную структуру, всегда находящуюся в динамическом равновесии. Рассмотрение указанной структуры со всеми ее нюансами в историческом аспекте вполне может стать предметом для серьезного социологического исследования. Немного найдется студенческих компаний, которые сохранили бы жизнеспособность до пенсионного возраста. А вот наша компания эту жизнеспособность сохранила. Мы по-прежнему собираемся по поводу и без повода и по-прежнему получаем от этого удовольствие».

На одной из очередных «сред» возникла идея собрать альманах.

Додумывали идею в общежитии. «У статуи Родена мы пили спирт-сырец, художник, два чекиста и я полумертвец». Стихи Владимира Луговского вспомнута не случайно. Идей было много, сил на все хватало, но уже явственно ощущалось некое внешнее сопротивление. Правда, замечали это не все. Настоящие «чекисты» и партийные деятели местного масштаба начали появляться на «средах», присматривались, прислушивались, но кто из нас обращал на это внимание? Литературный альманах, выходящий в научном городке! – вот лучший ответ всем противникам поэтических настроений, зачинателям нелепой, на наш взгляд, дискуссии о «физиках и лириках»? Тем более, своих стихов (сейчас можно уверенно сказать, прекрасных) было достаточно. И не только своих. Золотой и серебряный века русской поэзии стояли за нашими плечами. Кстати сказать, начиналась и проза: Таня Янушевич напечатала первый рассказ в газете «За науку в Сибири».

«С раннего детства мне повезло угодить в „зеленую волну“ первоначал, – вспоминала позже Татьяна Янушевич. – В 1944-м году в Новосибирске был создан филиал Академии наук СССР. Из Томска приехали мои родители – молодые кандидаты наук. Для нас, детей, были открыты двери всех квартир, лабораторий, мастерских. В школе, в шестом классе ввели совместное с мальчиками обучение, что удачно легло на переходный возраст. В стране в это время переживали венгерские события, хрущевское письмо с разоблачением культа личности Сталина. Я проявила ко всему такой активный интерес, что была изгнана из школы и из комсомола. Пришлось оканчивать другую школу, где впервые проводился эксперимент одиннадцатилетки с трудовым уклоном. В результате вместе с аттестатом получила трудовую книжку токаря-универсала и профессиональные водительские права.

А в 1959 году открылся Новосибирский университет в Академгородке. Горжусь, что была в числе первых двухсот студентов. Через пять замечательных лет защитила диплом по специальности геолог-геофизик. Выбор такой профессии определили три составляющие: детская мечта стать моряком; любовь к физике, астрономии и родной планете; страсть к дальним странствиям. Отец был биологом, путешественником и отменным рассказчиком, возвращенным на приключениях романтиков XIX века. С десяти лет он брал меня в свои экспедиции по Средней Азии. Самостоятельно объездила Сибирь до Дальнего Востока, до Сахалина, работала в Институте геологии и геофизики СО АН СССР, затем в НГУ и СНИИГГиМСе.

С любовью к книгам, наверное, родилась. Началом собственных литературных опытов можно считать эпистолы многочисленным друзьям, знакомым и родствен-

никам. Юный Академгородок шестидесятых для нас, молодых и ретивых, сделался центром свободы, энтузиазма, творческого становления. Литературное объединение, единение друзей, охваченных общей страстью к изящной словесности, неминуемо должно было возникнуть».

«Что вечно под Луной? – спрашивала она в письме. – Память. Она живет в нас – и это знание вечности. – И делала замечательный вывод: – Кажется, память становится моей реальной жизнью, моей темой, моим литвоззрением».

Со временем рассуждения и наблюдения Татьяны Янушевич, ее постоянный поиск образов моментальных, преходящих, но потому и вечных, вылились в блистательную книжку «Мифология детства», переросшую в роман «Мое время».

Самое очаровательное – это начало сказок.

*В них ничего не начинается сначала,
все берется ниоткуда...*

Жили были старик со старухой...

Или царь, и у него было три сына...

Жили были... Однажды жила я...

Стихи это или проза?

В любом случае – это замечательно.

Вот воспоминания Володи Свиньина, который попал в нашу компанию немного позже: «1961 год и в моей биографии был богат на события. Встретил я его студентом третьего курса физического факультета Ленинградского государственного университета, где вел весьма бурную общественную жизнь: редактировал факультетскую стенгазету, участвовал в студенческих сатирических

спектаклях, руководил комсомольским „Бюро рекламы“, сопровождал экскурсии китайских студентов по городам Союза и т. п. Учебная рутина казалась слишком пресной, и не мне одному. „Охота к перемене мест“ неожиданно обуяла на факультете многих. Да и то сказать – времена были еще „хрущевские“, вокруг все время что-то происходило, и университетская среда очень живо реагировала на все внутренние и внешние события. И когда весной на физфаке появились трое молодых людей в белых рубашках с засученными рукавами и объявили, что они набирают желающих продолжить физическое образование в новосибирском Академгородке, а точнее – в Институте ядерной физики, очередь из желающих пройти собеседование выстроилась не маленькая. Тем более что заезжие „вербовщики“ (среди них были будущие академики, а в то время еще скромные кандидаты физ.-мат. наук Роланд Сагдеев и Александр Скринский) весьма ярко живописали перспективы, которые откроются перед неопитами на берегах Обского моря. В итоге я оказался в числе тех девяти смельчаков, которые отправились в октябре в Новосибирск, чтобы принять участие в необычном эксперименте, придуманном директором Института ядерной физики Г. И. Будкером. Суть эксперимента заключалась в том, что последние два года учебы мы должны были совмещать прохождение учебной программы по курсу физфака Ленинградского университета (называясь студентами на длительной учебно-производственной практике) с обычной работой в должности лаборантов в означенном институте. Эксперимент закончился в целом успешно, хотя и не совсем так, как предполагал выдающийся физик. А для меня существенным оказалось то, что, получив в Ленинграде привычку к активной общественно-культурной студенческой жизни, я и в Академгородке

быстро в нее окунулся. С Сашей Чернобровом, моим давним другом, мы восстановили по памяти веселый студенческий спектакль „Абсолютный нуль“, в котором когда-то участвовали. С этим багажом мы отправились в Новосибирский университет (здание 25-й школы), где повесили объявление о том, что „желающие послушать чтение пьесы, поставленной на физфаке Ленинградского университета, могут сделать это такого-то числа во столько-то часов и в такой-то аудитории“. Наш призыв был услышан довольно большой группой местных студентов, а текст понравился настолько, что решено было предлагаемую постановку осуществить. Вот так я познакомился с „культурным активом“ НГУ, в том числе с Володей Бойковым, Володей Горбенко, Валерой Щегловым, Вадимом Фомичевым, Володей Штерном, Аллой Ушаковой и другими будущими друзьями и коллегами „по цеху искусства и литературы“ первых лет Академгородка.

Главное место в моих тогдашних увлечениях занимал театр. Впрочем, коллега по Институту ядерной физики Арнольд Пономаренко, посмотрев наш спектакль, заявил: „Это все игрушки. Если хотите серьезно заниматься, надо организовать театральную студию“. И он такую студию создал, и поставил первый спектакль по пьесе испанского драматурга Эммануэля Роблеса „Монсерра“ (у нас он назывался „Ради одной надежды“). Работали мы с увлечением, Арнольд был прирожденным режиссером, и получилось в результате неплохо – нас тепло принимали не только свои, городковские, зрители, но и приглашенные Будкером участники какой-то крупной физической конференции, а один раз мы показали этот сугубо любительский спектакль даже на сцене театра „Красный факел“. Вокруг студии образовалась компания энтузиастов, одним из руководителей

стал профессиональный литератор и режиссер Юрий Сергеевич Постнов. На квартире у Арнольда мы часто собирались почитать новые пьесы и стихи. Я, собственно, стихами „баловался“ еще со школы, в основном на стенгазетном и „капустном“ уровне, много сочинял для узкого дружеского круга разных поздравлений и эпиграмм, „нормальной“ лирики до приезда в городок почти не было, ну, одно-два стихотворения. А тут случился существенный (во всяком случае, для меня) прорыв: за два года сочинил десятка полтора – и среди близких друзей сразу прослыл за поэта. Разумеется, общаясь регулярно (но не слишком часто) с Бойковым, Горбенко и Щегловым, я не мог не знать, что университетские (и не только) поэты ведут свою активную творческую жизнь, причем публичную. Я бывал на их выступлениях, сам однажды выступал с ними, а с Володей Захаровым, который, как выяснилось, тоже в эту компанию входил, я был хорошо знаком, как с коллегой по ИЯФу. Когда сейчас возникают разговоры о том, быть или не быть в России открытому обществу, я мысленно возвращаюсь к тем годам и прихожу к выводу, что, по крайней мере, один такой „островок открытого общества“ уже существовал в Академгородке. И это несмотря на наличие всех положенных подобному крупному научному центру парткомов, комсомольских комитетов и всяких прочих компетентных органов. Плотность неординарных, неравнодушных и доброжелательных людей на один квадратный километр площади небольшого тогда городка, несомненно, превышала все подобные союзные показатели. И это сказывалось на нашем взрослении».

Для будущего альманаха нам передала стихи Нина Грехова, поэтесса из Новосибирска. У известного палеонтолога Александра Михайловича Обути я попро-

сил стихи его друга Алексея Петровича Быстрова – крупного биолога, автора замечательной, отруганной к тому времени всеми официальными оппонентами книги «Прошлое, настоящее и будущее человека». Понятно, стихи были взяты у Володи Бойкова, у Валеры Щеглова, у Володи Горбенко, у Лёши Птицына. Представляю, с каким изумлением читали партийные ревизоры (а им-то всё о нас было известно) стихи Володи Захарова – о какой-то библиотеке Бога, в которой

*...покрываются пылью
души умерших людей,
души убийц и поэтов,
мучеников и прохвостов,
души рабов и вождей.*

С не меньшей тревогой был принят тот странный факт, что некие Прашкевич и Горбенко (в официальных документах мы так и писались – без имен, без инициалов) обратились с частным письмом к Анне Андреевне Ахматовой, поэту, в те времена запрещенному – дать для альманаха свои стихи.

Вот уж поистине буквально сбывалось пожелание Геннадия Львовича Поспелова: стать альманаху *«...настоящим нарушителем спокойствия»*.

Он и стал таким нарушителем. А письмо, отправленное Анне Андреевне Ахматовой, принес по адресу не почтальон, а строгий человек в штатском.

С этого дня литературные «среды» перестали быть только нашим личным делом.

Из доклада секретаря Советского райкома КПСС Б. В. Судакова «Итоги учебного года и задачи партийной организации по дальнейшему улучшению

идеологической работы» (V пленум Советского РК КПСС, 25 июня 1962 г.):

«Газета „Университетская жизнь“, грешившая и в прошлом публикацией низкопробных стихов, в № 12 поместила стихотворенье лаборанта Института геологии Валерия Щеглова „Третье поколение“, явно недоработанное, ложно представляющее нашу действительность. Об Октябрьской революции и гражданской войне, о их цели молодой поэт пишет:

*Дрались за Россию в крови по колено,
Истосковавшись по женским губам.
За гордость славян, за сыновнюю смену
Хлестали прикладом смертям по зубам...*

О третьем поколении поэт говорит:

*Мы в пятом – курили,
В седьмом – целовались,
Юм, Бальмонт, Спиноза, Бальзак...*

Ни одного советского имени, зато Юм – субъективный идеалист и агностик, один из ранних предшественников позитивизма и прагматизма, зато Бальмонт – поэт-декадент, одна из центральных фигур символизма, ярый враг Советской власти. Щеглов уверяет, что они являлись духовными наставниками нынешнего поколения советской молодежи. О людях второго поколения, выигравших самую тяжелую в истории войну, и стремящихся правильно воспитать свою смену – третье поколение (о чем поэт сомневается) Щеглов повествует:

*А дома знакомые с умными глазками
Советы дают, „сделать лучше хотят“.
От догмы измученной,*

*Мысли затаस्कанный
Довольные лысины потно блестят...*

Спрашивается, зачем было опубликовано в студенческой газете это стихотворение, куда смотрели тт. Антонов и Гуцин – заведующий кафедрой марксизма-ленинизма и секретарь партбюро университета?»

Из доклада секретаря парткома СО АН Г. С. Мигиренко (III партконференция СО АН СССР, 29 ноября.):

«В самопроизвольно возникшем и длительное время беспартийно существовавшем литературном объединении долгое время верховодил Прашкевич, без достаточного образования и политически совершенно незрелый, стремящийся противопоставить свои доморощенные взгляды социалистическому реализму».

Из выступления секретаря парткома СО АН Г. С. Мигиренко на заседании парткома СО АН СССР, 20 декабря 1962 г.:

«Я не раз говорил, что у нас возникают периодически какие-то культурно-массовые образования: вот захотелось трем-пяти человекам создать какой-то литературный кружок, свое литературное объединение, например, оно и возникает и плывет без руля и без ветрил по бурному океану смутных мыслей. В наше литературное объединение входят неплохие ребята, но они договорились до того, что социалистический реализм – ничто, эстетика – все. А куда им судить? Это еще очень молодые люди. Когда речь идет о кардинальных вопросах, то нужно советоваться со старшими людьми. Они этого не делают и гордят всякую чепуху. А члены партии и комсомольцы тоже сидят и слушают, фазвесив уши, и не считают своим долгом, как каждому коммунисту положено Программой и Уставом

партии, находясь в любом месте, всегда быть человеком, который должен задавать правильный тон в освещении любого вопроса».

Цитируемые документы в конце 90-х извлечены из Госархива Новосибирской области историком А. Г. Борзенков. Они опубликованы в трехтомной монографии «Молодежь и политика» (Новосибирск, 2002). Чудесный поэтический рай, в который мы глубоко верили, на поверку оказался всего лишь очередной модификацией совершенно привычного советского рая.

Жизнь менялась.

«В январе 1963 года я, Танька (Янушевич. – Г. П.) и наш приятель Колька Буданов начали путешествие на Запад, – вспоминал позже Володя Бойков. – Вояж предполагал маршрут по Средней Азии, паромом через Каспий на Кавказ, далее в Крым, Украину и в Прибалтику и, наконец, из Петербурга (Ленинграда) в Москву. Сперва мы оказались у моих родителей в Джамбуле, где я стал преподавать в школе черчение и рисование. Там мы быстро освоились в немногочисленном кругу местных поэтов. Самыми яркими были Л. Г. Шлыков, мой бывший учитель географии, и Ю. И. Шпильберг, инструктор по парашютному спорту в местном аэроклубе и преподаватель гармонии в культпросветучилище, где мы незамедлительно устроили бурный вечер поэзии, получивший в городе большой резонанс...»

Но дорога звала, пришлось проводить моих друзей – поездом через Ташкент, Самарканд, Бухару, Ашхабад на Красноводск и далее паромом на Кавказ. Тем временем мы с Юрием Шпильбергом через обком комсомола организовали День поэзии. Были посланы приглашения известным поэтам, но отозвался только Олжас Сулейменов, кото-

рый прибыл из Алма-Аты. Вместе с представителями обкома комсомола я встречал его на вокзале и сразу же, хотя с ним знаком не был, узнал его – мне было известно, что он высок ростом. День поэзии состоялся в самом солидном здании города – во дворце культуры суперфосфатного завода. Зал был наполовину полон, меня тоже сочли гостем города и посадили вместе с Сулейменовым в почетном президиуме. Мы с Олжасом курили «Шипку», слушали местных поэтов и любителей поэзии, захлеб читавших Евтушенко и Асадова, и сговаривались провести остаток вечера в узком кругу поэтов и почитателей. Дело было в том, что Шпильберг, по совместительству руководивший в этом дворце эстрадным оркестром и игравший вторую трубу, там же, при репетиционном зале, имел жилую комнату, где уже был накрыт вполне приличный стол. Когда слово дали мне, и я прочитал несколько своих стихотворений, из зала задали вопрос о моем отношении к Евтушенко. Я выразил неприязнь к его конъюктуристике, чем вызвал бурное негодование публики. В завершение программы Олжас Сулейменов утихомирил зал, высказав необходимое уважение к столичному мэтру, и прочитал свои, уже известные произведения по мотивам казахской истории. Читал он мастерски, впоследствии я много раз срывал аплодисменты, публично читая в этой манере его стихи. После официального закрытия поэтического мероприятия Сулейменова плотным кольцом окружили обкомовцы, и увезли его на машине – видимо, в область, читать стихи по аулам и пить с районным начальством коньяк под бешбармак...

Между тем где-то в районе Ашхабада Таньку и Кольку пограничники завернули обратно. Танька отправилась во Фрунзе к своему отцу, известному орнитологу и дирек-

тору Института биологии, там она устроилась в Институт геологии. Мы с Колькой к ней наезжали по выходным, но в один из приездов весной оказалось, что Танька на полевых работах. Ночлег мы обрели у студентов-филологов университета и сговорили их провести на другой же день факультетский вечер поэзии. В каком-то вестибюле слушатели разместились на стульях по кругу вдоль стен, давали читать стихи без регламента всем желающим. Запомнился запальчивый выпускник Лева Аксельруд (позже нас с ним свела судьба в Целинограде, где я преподавал в пединституте, а он был главным редактором краевого Дома народного творчества). Потом вмешался какой-то доцент, к тому же парторг факультета, и стал от лица старшего поколения призывать читать классику. Колька, конечно, припомнил ему, как старшее поколение навязывало нам Щипачевых и Грибачевых.

Вскоре после этого Колька тоже отправился в поле от джамбульского НИИ мелиорации. Когда у меня закончился учебный год, а Колька уволился из НИИ, мы с ним сели в поезд в европейском направлении. Ночью в Аральске сошли с поезда с одной молодой парой. Оказалось, что они работают на местной противочумной станции, звали нас в гости. У выхода из вокзала стояли два постамента, на одном – гипсовый бюст Кирова, другой пустой. Мы двинулись к морю, благо было полнолуние. Дойдя до причала рыбзавода, увидели, что до воды еще добрая сотня метров. Арал умирал, но это пока было секретом для страны. Вдруг налетела жуткая туча комаров, и мы спешно ретировались на вокзал. Утром пошли через пески к морю. Проходили мимо какой-то ямины, где уткнулся в песок порядком выщербленный гипсовый бюст, явно тот самый – с опустевшего

постамент перед вокзалом. Из любопытства перевернули бюст – Сталин!

Мир тесен даже в пустыне.

2 июня мы справили Колькин день рождения, продав на местном базаре под страшный рев верблюдов Колькин свитер. На ночь приют нашли у противочумников на окраине города, там выяснилось, что кто-то из них был аспирантом Александра Ивановича, Танькиного отца. Тесен, тесен мир. Рано утром, решительно отказавшись от проводов, пошли на станцию и забрались на крышу вагона попутного пассажирского поезда. Наверху мы, кстати, оказались не одиноки – там ехали два плотника-, шабашника“, а впереди – молоденький пэтэушник. В Соль-Илецке мы с ними распрощались и пересели на товарный состав. После краткой остановки в Уральске (уже в Европе) прибыли на станцию Анисовка (поселок Приволжский), а рано утром, сев на первый пригородный поезд, въехали в Саратов. В первом же газетном стенде увидели некролог по поводу смерти Назыма Хикмета. А на одной из безлюдных улиц, где витал дразнящий запах свежесыпеченного хлеба, навстречу нам вышел чернобородый, молодой еще человек невысокого роста. Попросили закурить, познакомились. Бородач – художник, выпускник местного училища Виктор Мотко назвал нам место новой встречи – некую столовую, где у него кредит. Вспомнив, что Саратовский университет заканчивал такой славный парень, как Славка Журавель, мы решили там пристроиться. Разыскали общежитие филфака и вскоре, установив контакт с доброжелательным студентом Остапом, обрели в его комнате сперва одно, а к вечеру и второе койко-место, правда, тут же явилась комендантша и затребовала в залог наши паспорта. Утром кому-то из местных модников продали пару

ярких эластичных носков, взятых мной в дорогу, и отправились в местный музей, где снова и снова возвращались к работам Борисова-Мусатова, особенно к одной – пронзительно голубой, изображающей грусть свидания-прощания. Репродукции ее сейчас почти не встречаются. Днем встретились с Виктором, он угощал нас обедом и познакомил со своими друзьями художниками. Один из них, Саня Санников, праправнук знаменитого Стасова, пригласил нас к себе, у них с мамой был дом с садом. На другое утро мы уже покидали общежитие, захватив мой рюкзачок с рукописями. Оставалось вернуть паспорта. Мы с трудом разыскивали комендантшу, которая впустила нас в одну дверь, потом в другую – и дверь захлопнулась. Перед нами за столом сидел блондин в темном костюме с университетским значком, он предложил нам присесть и показал удостоверение сотрудника КГБ. Перед ним лежали наши паспорта. Он потребовал у нас и прочие документы – приписные свидетельства и трудовые книжки. У Кольки был «белый билет», а в трудовой книжке свежая запись о краткой работе в экспедиции. У меня было приписное свидетельство, но трудовой книжки не было. Однако я предъявил академическую справку, выданную мне в связи с переводом в другой ВУЗ. С паспортом у меня было все в порядке, а вот у Кольки сотрудник КГБ сразу увидел исправления: в дате выписки 1960-й был грубо переправлен на 1962-й. «Лица! Лупы не надо!» – радостно заявил бдительный сотрудник. Это вдобавок к нарушению паспортного режима, пояснил он, так что вам лучше не попадать в руки милиции. Посоветовав нам не рассказывать политических анекдотов, он заключил, что его ведомству мы, в общем, не интересны, поскольку в стихах моих (успел ознакомиться, скорее всего, при помощи доброжелательного Остапа) ничего опасного

нет. Но Кольке встреча с блондином от КГБ испортила настроение надолго...

Из Саратова мы направились в Донбасс, на Луганщину, где в поселке Павловка жил мой отец и находился необычный для тех мест дом, срубленный еще моим дедом Егором. Затем мы побывали у родственников Кольки в Киеве, откуда я (уже в одиночестве) приехал в Москву. За полночь с Киевского вокзала побрел по столице. Через Смоленскую площадь по Арбату и Воздвиженке вышел к Манежу, повернул на Красную площадь, где разгуливали группы десятиклассников после выпускного бала. Свернул на Варварку, по переулкам вышел на Бульварное кольцо и далее по Сретенке – к Рижскому вокзалу, где и встретил столичное утро. В будке Мосгорсправки легко получил адреса и телефоны трех мэтров: Николая Асеева, Павла Антокольского и Ильи Сельвинского.

Асеев жил в самом центре, на Тверской, и ему я позвонил первому.

Увы, я опоздал: скорбным женским голосом мне сообщили, что Николай Николаевич скончался.

Звонок Антокольскому тоже не оправдал себя: Павел Григорьевич не мог принять меня в связи с тем, что его мама находилась при смерти.

К Сельвинскому я решил пойти явочным порядком, чтобы, так сказать, исключить случайности, и сразу отправился в Замоскворечье. В квартире в Лаврушинском переулке домохозяйка Сельвинского встретили меня чрезвычайно любезно: дескать, поезжайте к Илье Львовичу прямо на дачу в Переделкино – он Вас примет! Но сперва я побывал в Третьяковской галерее – в том же Лаврушинском. А в Переделкино поехал на закате. В Доме творчества мне подсказали адрес, но я не решился идти в гости на ночь глядя,

и вернулся на станцию. Электрички в такое позднее время уже не ходили, вокзала в Переделкино не было. Вспомнив, что по дороге – с правой стороны, не доходя моста через Сетунь, стояли довольно приветливые сосны, под ними я и устроился на ночлег. А утром обнаружил, что сплю на местном кладбище неподалеку от могилы Пастернака.

В луговой пойме два косца дружно косили траву. Умывшись из речки и позавтракав пряниками из местного ларька, я отправился на дачу Ильи Львовича Сельвинского. Калитка была не заперта, я подергал подвешенный над крыльцом колокольчик. Вышла женщина и, ни о чем не спрашивая, сказала, что Илья Львович ушел за почтой в Дом творчества, мол, подождите – скоро вернется. Я уселся на просторной скамейке, ждать долго не пришлось – мимо меня к дому прокатился невысокий, но довольно внушительный крепыш.

Через минуту он выкатился обратно:

– Вы ко мне?

– К вам.

– Вы еврей?

– Нет.

– А похож. Вы антисемит?

– Нет.

– Это хорошо!

Дальше зашел разговор о всплеске антисемитизма, вызванной стихотворением Евтушенко „Бабий яр“, из которого можно было якобы сделать вывод, что от фашистов страдали только евреи. „Молодежь сейчас весьма критична в отношении роли партии, – заметил Сельвинский. – Это неправильно, в молодости мы тоже перегибали, но нас выправили. Сам не знаю, как уцелел в те годы, – продолжил он. – Я ведь рано начал руководить. Сначала «Центром

конструктивистов», потом «Бригадой М-1». Один из процессов о вредительстве был связан с промпартией, там в деле фигурировала моя поэма «Пушторге». Конструктивисты спешно самораспустились, а все остальное было ликвидировано после создания Союза писателей. Сейчас веду семинар для студентов Литературного института», – заключил Сельвинский. Конечно, я сообщил Илье Львовичу, что читал его „Студию стиха“. На вопрос об отношении к этой книге я заметил, что теоретическая часть очень любопытна, а вот практическая... „Для талантливых, – сказал я, – она бесполезна, а для бездарей – бессмысленна“. Для Ильи Львовича это прозвучало неожиданно. – „Если вы ко мне со стихами, то извините, золотко, – сказал он, – я сейчас не только чужих, но и своих стихов терпеть не могу: пишу роман, в прозе (видимо, имелся в виду роман „Юность моя“. – В. Б.). Но вы мне напишите, я обязательно вам отвечу...“»

Нас тянуло к живым поэтам.

Именно к поэтам, к создателям книг.

Проводив Лиду Киселеву на каникулы в Ирбит, я оказался вдали от Академгородка – в Ленинграде. Андрей Вязников, человек из круга Валентина Михайловича Шульмана, вывел меня на Александра Прокофьева. Чудо ведь не связывается с конкретными именами, чудо всегда одно – поэзия. 19 июля 1963 года я оказался в Комарово. Александр Андреевич сидел в саду перед легкой машиной – что-то в ней не ладилось, из-под бампера торчали ноги шофера. Без всякого удивления Прокофьев выслушал мои объяснения: ну да, парень из Сибири... наверное, комсомольские стройки... энтузиазм... Но стихи его удивили. Во-первых, в стихах он почему-то не ощутил

жгучего пламени комсомольского энтузиазма, во-вторых, записаны стихи были в сплошную строку, без всяких разбивок на строфы, а в-третьих, и это главное, Прокофьев, стреляный волк, сразу учуял в моих стихах следы неких «чуждых» влияний.

«Писать так, как ты, – насупился Прокофьев, – сейчас нельзя».

Конечно, я помнил его стихи:

*В окопах выла стоймя вода,
суглинок встал на песок,
снайперы брали офицеров
прицелом под левый сосок...*

Конечно, можно писать и так.

Но разве поэт не может понять поэта?

«Ты куришь? Да ладно, дыми, дыми. – С сожалением: – А я вот бросил. А раньше много курил. Особенно за границей. – Засмеялся: – Почему много? Почему за границей? Да чтобы глупым не выглядеть».

Покачал головой: «Недавно поэму Глеба Горбовского зарубил. Талантливый человек, но большой путаник. Ясности нет в мыслях, отсюда и слог. Соснора тоже не понимает слов добрых. Чего уж о Вознесенском! – Фыркнул презрительно: – Будешь следовать их примеру, поэтом не быть!»

Такое мне потом многие говорили.

И не одна моя книга потом ушла под нож цензуры.

А вот Анна Андреевна Ахматова ни о чем таком не говорила. Я побывал у нее на улице Ленина и навсегда унес в памяти пухлые пальцы, давно и привычно сдавленные кольцами, и глаза, выцветшие, но все еще живые, обеспокоенные. Анна Андреевна ника-

ких советов не давала, и стихов не слушала. Больше всего ее тревожило – не страдают ли из-за нее люди, как это много раз случалось за прожитые ею десятилетия. Ей ли было не знать, что Поэзия – это прежде всего чувство вины.

Понятно, альманах не вышел.

Да и «среды» были скоро прикрыты.

Некий итог (в высшей степени поэтический) подвел Лёша Птицын.

Белоснежными кристаллами

Земля завалена.

Надоело нам, устали мы

Бродить подвалами.

Нам бы ветры несуразные

черпать ладонями,

еще много нерасказанного

в нас схоронено.

Нам бы море синеглазое,

Солено-слезное,

Чтобы небо перевязывало

Раны звездные.

Чтобы тучи сизокрылые

Качали клювами,

Чтобы рыбы тупорылые

На песню клюнули.

Нам бы дерзкими, усталыми

Дороги снашивать,

Надоело нам, устали мы

Себя изнашивать.

«Мне кажется, – недавно написал мне Володя Бойков, – что самым начальным, т. е. образующим, эпизодом наших „сред“ была та давняя наша встреча у тебя в общежитии. В сущности, наши литературные „среды“ просуществовали чуть больше года, но по насыщенности событиями, впечатлениями, информацией этот период был сравним с целым университетом».

Время действительно изменилось.

Оно требовало иного подхода, иного понимания.

«Зимой 1963–1964 гг., – вспоминал Володя Бойков, – я написал поэму с рабочим названием „Я ищу красоту“. В феврале, при возвращении с зимних каникул от родителей из Джамбула, я внезапно для самого себя сел на московский поезд. В Москве явился в „Литературную газету“ со стихами. Меня направили к литконсультанту, коим оказался поэт Владимир Цыбин. Чтение трех стихотворений не потребовало много времени. В одном описывался круговой танец ссыльных кавказцев в майские праздники в Джамбульском парке под грохот дауда и завывание зурны, в другом – быт врачей-микробиологов на противочумной станции, в третьем – агония Аральского моря. „Стихи хорошие, – сказал Цыбин – но Вы же понимаете, что это не может публиковаться“.

Я не понимал.

Перед этим я участвовал в областном совещании молодых писателей.

Обсуждение стихов проходило благожелательно, в итоговом обзрении Илья Фояков даже назвал меня „перспективным поэтом“, что дало Таньке Янушевич повод для ехидных реплик. Закончив поэму, я решил дать ее на

просмотр поэту Леониду Решетникову, который поселился к тому времени в Академгородке. Решетников возглавлял Новосибирское отделение Союза писателей, его авторитет зиждился на участии в поэтическом сборнике времен Второй мировой, рядом с Твардовским и Сурковым. И не только. Прочтя рукопись, Решетников решил представить ее на обсуждение. Поэтическая секция писательской организации собралась почти в полном составе, присутствовал и секретарь парторганизации прозаик Никульков. Из „средовцев“ была, по-моему, только Танька, благо она жила рядом. Решетников представил автора, то есть меня, о поэме отозвался одобрительно. Чтение заняло около четверти часа, у всех были печатные копии. Написанная верлибром поэма вызвала категорический протест поэта Александра Кухно, автора знаменитого в Новосибирске стихотворения „Варежки“. „Это антиэстетическая поэма!“ – истерически восклицал он. А эпизод, посвященный встрече с поэтом Ильей Сельвинским, где я выражал некоторое сомнение по поводу пропартийной позиции мэтра, столь же сильно возмутил матрону сибирского Парнаса Елизавету Стюарт: кто-де я такой, чтобы сомневаться в партийных установках большого советского поэта? Что говорил Илья Фояков – в памяти как-то стерлось. Думаю, не порицал, но и не одобрил. А Никульков подытожил: поэма плохая и политически вредная.

Зимой 1964–1965 гг. я снова участвовал в областном совещании молодых писателей. Теперь руководил семинаром поэт Василий Пухначев. Наряду со стихами Нины Греховой и еще нескольких поэтов, рекомендованных к изданию в модной тогда „обойме“ тоненьких книжечек, одобрены были и мои стихи. В план Западно-Сибирского издательства на 1966 год все это вошло, „обойма“

благополучно вышла в свет, а вот авторская моя книжка „Жернова“ пошла по кругу отрицательных рецензий. Елизавета Стюарт, например, отнеслась к недочетам стихов как бы и доброжелательно, но отзыв ее заканчивался убийственно: „поэта из В. Бойкова не выйдет“. Книга из года в год передвигалась в план редподготовки, пока зимой 1969–1970 гг. не был собран редакционный совет издательства, чтобы положить конец чехарде. Последними моими рецензентами были Александр Плитченко, недавно принятый в члены СП, и матерый член Союза советских писателей Иван Ветлугин. Плитченко вполне демагогически посоветовал автору «поговорить с Богом» (в то атеистическое время это отдавало издевкой), Ветлугин же обобщил претензии словами: „Стихи этого поэта вне времени и вне пространства, но самое страшное – они вне общества!“ Илья Фоняков опять не решился что-либо добавить к сказанному. В итоге мне предложили забрать рукопись».

«В марте 1964 года, – вспоминал Володя Свиньин, – подошел к концу первый период моей жизни в Академгородке. Диплом защищен, университет закончен. Моя дорога лежала обратно в Ленинград, в то время как большинство друзей оставались в Академгородке. В прощальном стихотворении я писал: „А удастся ли мне их обратно вернуть? Если все-таки нет, то не ставьте в вину: Ленинградская сутолока их запрет на засов – непонятные шутки временных поясов...“

Собственно, так и вышло.

Семь последующих лет в Ленинграде были нормальной жизнью обычного молодого человека с дипломом физика.

Появилась семья, работа, новые друзья, но общение ничуть не напоминало городковское. Да и времена изменились. Хрущевская эпоха в 1964 году закончилась, Бродского сослали в деревню, и все такое прочее. В большом городе культурная жизнь всегда официальна, а неформальную жизнь специально надо искать. К завсегдатаям „Сайгона“ (кафе под рестораном „Москва“ на углу Невского и Владимирского) я не принадлежал, предпочитая „Пивбар“ на Невском, 27, да и „Сайгон“, по сути, превратился в символ андеграундного искусства Ленинграда только к концу шестидесятых. Стихи я писал, даже поэму почти закончил, но серьезной аудитории для чтения и обсуждения стихов не было. Так... с собутыльниками...

Но однажды, в конце 1971 года, случилась у меня командировка в один из новосибирских НИИ. Остановился я у друзей в Академгородке. Тут-то и произошла историческая (для меня) и совершенно случайная встреча с Валерой Щегловым. Произошла она так, как будто и не было семи прошедших лет, будто мы вчера расстались. „Пошли!“ – сказал Валера и повел меня к Гене Прашкевичу, с которым я, повторяю, тогда не был знаком. Гена, как выяснилось, сам только что вернулся после длительного пребывания на Сахалине. Квартировал он у друзей, „скатерть-самобранка“ была накрыта прямо на полу, на расстоянии протянутой руки стоял магнитофон. Щеглов, естественно, представил меня как поэта. Царственным жестом нажав на клавишу записи, Гена Прашкевич сказал: „Читай!“

С тех пор и дружим.

А через пару часов мы отправились на торжество по случаю дня рождения Нины Гореништейн, у которой

собралось то дружеское сообщество, что вело начало от самых ранних городковских лет, от тех далеких уже литературных „сред“. День могу назвать совершенно точно: 10 декабря 1971 года. Для меня этот день стал началом больших перемен в биографии. „Не прошло и полгода“, как я перебрался в Новосибирск, что называется, на ПМЖ, найдя здесь новый дом, новую семью и старых друзей, среди которых вновь стал своим, причем „свойство“ это обладало совершенно определенными и столь важными для меня „свойствами“ И дальнейшая история знаменитой литературной компании стала и моей тоже».

Историчность бытия, на мой взгляд, лучше всех Володя Свиныин и чувствовал.

*Ну вот, опять на кухоньке сидим.
Мы всё сказали, повторили даже.
Ну, может быть, ещё придёт Вадим
И анекдоты старые расскажет.
Я слушаю обычные слова,
Передо мной история стфруится.
И никогда не кончится глава,
И никогда ничто не повторится.*

Да, ничто не повторится.

Теперь уже точно не повторится.

Давно нет Славы Журавеля, недавно ушел из жизни Валера Щеглов.

В Москве и в Новосибирске выходят поэтические книги Володи Бойкова и Володи Захарова. Бойков – член Союза писателей Москвы, Захаров – член Союза писателей России, русского ПЕН-клуба. В Чите вышла книжка стихов известного геохимика, ди-

ректора НИИ экологии Алексея Птицына. Издан большой роман Татьяны Янушевич «Мое время», ее рассказы, связанные с событиями тех давних лет. Регулярно переиздаются переводы корейского поэта Ким Цын Сона, выполненные мною в соавторстве с Володей Горбенко, который сейчас живет в Москве и занимается издательской деятельностью. С Володей Свиным мы написали нескучную научно-фантастическую повесть «Школа гениев». Известен роман Роберта Луиса Стивенсона «Несусветный багаж», впервые переведенный Володей. Пишет стихи, переводит с английского Лида Киселева, и появись такая фантастическая возможность, я, несомненно, опять и опять украл бы ее из прошлого, чтобы утащить в наши дни. Ко всему прочему, Владимир Свиный, не оставляя научной работы, основал собственное книжное издательство, так и названное – «Свиный и сыновья», – событие заметное даже в наши бурные дни. Активное участие в деятельности издательства принимаем и мы с Татьяной Янушевич. Отсюда и закономерность выхода в свет сборника «Зеленое вино». Он завершает поэтическую серию, составленную книгами стихов Владимира Бойкова («По обе стороны глаз»), Владимира Захарова («Весь мир – провинция»), Владимира Свинына («Когда очерчен круг знакомств») и автора этой статьи («Большие снега»). В сентябре 2008 года в Москве в доме Валерия Яковлевича Брюсова (Музей литературы Серебряного века) с большим успехом прошла презентация *книг поэтов «Литературных сред» Академгородка 60-х*. Участники этих «сред» присутствовали в большом (к сожалению, не пол-

ном) составе. Владимир Бойков, Владимир Захаров, Геннадий Прашкевич читали свои стихи в освященных великими поэтами стенах, и для всех нас, начавших в середине прошлого века, этот факт можно считать проявлением некоей высшей исторической справедливости.

Новосибирск, 2008



Владимир
БОЙКОВ

Аннотационный «Гамлет»
на сцене гба

НОКТЮРНЫ

*Вчера на исходе ночи
от мук избавление мне дали,
И воду жизни во тьме,
недоступной для зренья, мне дали.*
Хафиз

Электрическим потоком
из осенней темноты
схвачены дождя косые
струи, да стволы босые,
да прибитые цветы.

Это я за кромкой света
здесь, в саду, а за окном,
за невянущей геранью,
не готовая к свиданью,
ты в халатике цветном.

Это губы мои бредят
каплей с мокрого куста,
но сомкнулись занавески,
и настигли ливня плески
слух, и высохли уста.

Из потемок осыпаясь,
вьются снега звездочки.

Со столбов заулыбались
фонаревы мордочки.

И всегда, когда так хмуры
городские февраль,

просьшаются лемуры –
золотые фонари.

Тучи к ночи почернели,
в них теперь луне толкаться.
Строгих тополей шинели,
блузки белые акаций
озаряются порой
на картине моментальной
чужедальнею грозой.

Под окном, рванув из спальни,
восхитил включенный свет
купой роз во тьме восточной.

В эту ночь я знаю точно:
я – действительно поэт.

Звезды высыпали густо
невысоко от снегов
и затенькали от хруста
неожиданных шагов.

Шумная компания
дышит постепенное:
белое дыхание,
внутреннее пение.

1958–1960

В ГОРАХ

Мы ходим верхами,
мы ходим низами,
находим архаров
одними глазами.

Мы ходим с ружьем,
бутерброды жуем,
запивая кипящим
в каменных ручьем.

Мы желаем запоем
слушать звоны цикад
и навечно запомнить
цветущий закат.

Раскатаем потом
этот яркий ковер
так же, как разожем
этой ночью костер.

С чистой музыкой сверь
в звездных высях светание –
этих грифельных сфер
на глазах выцветание.

Над пустотами свет,
просквозив, задевает
гребни гор, и хребет
за хребтом оживает.

Но слепящий раструб
солнца в зыбкости рани –
за уступом уступ –
обнажает их грани

и не глянет туда,
где во мраке ребристом
неизбежна вода
в прыжке серебристом.

1960

НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

Среди равнины
торчат упрямо
орлы на руинах
дворца или храма.

Палящий полдень,
попынь да пыль,
ленивому поддан
ветру ковыль.

Варан разъярён –
ворохнулся бархан,
звон-позвон-перезвон –
идёт караван.

Несут купцы
бород ножи,
усов ножницы.

Впереди – миражи,
и грезится отдых
на верблюжьих мордах,
на горбах же – скопцы
и наложницы.

Э, эмир нашёл,
что менять на шёлк!

Плыла пиала луны,
сочилась кумысом степь,
и мучились валуны,
оставленные толстеть.

Причудливых теней провал –
очерчивался привал.

Немела монета луны,
но тысячезвонна степь,
и тени иные вольны
разбойничье просвистеть.

Косились купцы на луну,
ощупывая мошну.

Бледнеет лицо луны –
булатом сболтнула степь,
в тени меж тюков пластуны,
сладка степная постель –
полынь, аромат, дурман...

Проспал даже смерть караван.

1962

ТАНЬКИНЫ СКАЗКИ

Автобус – люлька человек на тридцать,
за стеклами мелькает ночь,
а Танька тайны делать мастерица,
а Танька сон не в силах превозмочь.
Пусть щеку о плечо мое примяла –
ей неудобства хоть бы хны,
ей от соседства требуется мало –
держат за руку, тихо видя сны.

Гордиться я доверием не склонен,
хоть руку сам не всякому даю,
но с этих пор, как простодушный клоун,
я тайну всем известную таю.

Мне вчера рассказывала Танька,
после рыбной ловли возвратясь:
– Выложу тебе я без утайки –
вот такущий мне попался язь!

Знаешь, дождь был с вечера страшный,
в телогрейки вырядились мы,
добрались до места, совершенно
ливень наши косточки промыл.

Я с улыбкой байки эти слушал,
эти мне не позабыть глаза,
и хотя уши я той не кушал,
и не видел, как рассвет слизал
сажу с неба языком шершавым,
оставляя лишь потеки туч,
и не слышал, как листва шуршала
под дождем, реки не видел тушь,
у костра ночного не сушился,
хворост не пододвигал ногой,

но с рассказом Танькиным я сжился –
любо мне, когда большой огонь!

Под дождем, под ночью был он хворый,
огонечек просто – не костер,
выживал, жевал он мокрый хворост,
выжил – а рассвет все стер.

Описать увиденное – тыщи
нужно слов и то б не рассказал,
а она одно мне:

– Красотища!!!

Да еще горячие глаза.

1961–1962

РАБОЧЕЕ УТРО

Зимний рассвет –
это свет
незрелый,
хрусткий и белый.

Это обочин огромность
в сугробах
и озабоченность
машин снегоуборочных.

Это деревьев нескромность
в морозных оборочках
там, за фигурами в робах,
в пальто на ватине
и в шубах.

Это яблочек бесшумных
подобием – иней,
выдыхаемый густо.

Это воздух, набухший до хруста.

Это я в эту облачность долю
вношу:
и дышу,
и глаголю!

1962

У САМОГО ОБСКОГО МОРЯ

Надоело мне, надоело
на постели отлёживать тело.

На дороги, пожалуй, выйду,
а дороги куда-нибудь выведут.

А на улице ночь как ночь
и порывисто нежный дождь.

Я иду по центральной улице,
по-щелячьи ветер балуется.

– Ну, отстань, дурачок, – до тебя ли!

Надо кепку на брови натянуть,
надо руки поглубже в карманы
и туда – за обочье, в туманы.

Да, такие у нас уж улицы,
необросшие домами.

Да, такие у нас уж улицы:
за обочье – и ты в тумане.

Погружаюсь в стоячие стаи,
создающие белый мрак.

Но светает.

Светает, светает,
и они отступают в овраг.

Настелясь на рассветные воды,
исчезают в море они,
на котором живут теплоходы,
за которым желтеют огни.

Да, такое у нас уж море –
в нём вода пресна и мутна.

Да, такое у нас уж море,
что заморская даль видна.

Наше море – всё-таки море,
не такое уж и немое.

От него беспокойством пахнет,
перелесками пахнет и пашней.

Ну-ка, с берега призову я
золотую рыбку живую
и себе, наберусь-ка духу,
у неё попрошу старуху.

Спускаюсь к синему морю,
сажусь на песок мокрый,
загадываю пожелание,
выкладываю заклинание:
– Далеи-Вазалей, владыка морей,
удачу-владычицу шли поскорей!

Сам же – взрослый, крученный-верченый, –
потешаюсь над сказкой доверчивой,
бормочу заклинанье с улыбкой...
– Дзень!!!

Ослеп я, оглох, осип –
загорелись на води зыбкой
сонмы, сонмища золото-рыб!

Вот они на волнах играют,
вот они на меня набегают,
поворачиваюсь назад –
солнце!

Солнце!

Солнце в глаза!

Неожиданны и горячи
в волны выпущены лучи!

Получи!

1962

СРЕДИ ЕВРАЗИИ

Г. Прашкевичу

Вам привезут невзрачный камень
и скажут, сдерживая пыль,
что камнем тем прапапа Каин
прапапу Авеля убил.

Вам привезут коробку с прахом
из фараоновых гробниц
и скажут с хохотком и страхом,
что пылу древних нет границ.

Не позавидуйте счастливым
и гляньте под ноги себе:
приют здесь вечный стольким лицам,
пылившим в мировой судьбе!

1963

* * *

У Дома пионеров,
проскрежетав по нервам,
горит,
горнит
в руках у Рыжего,
который горд, –
горн!
– Эй, Рыжий, дай
побаловаться горном
с охрипшим горлом!

За мной не пропадет –
найдется вдруг струя
в дыханье горьком,
которая
по-детски пропоет.

1963

ТАИНСТВО

Т. Янушевич

Огонь плясал свой ритуальный танец
на красных сучьях, красные берёзы
вокруг, и двое краснолицых молча
глядели друг на друга сквозь огонь.

На косогоре танцевало пламя,
и воздымала осень свой огонь,
и двое тех, что высоко безмолвны,
на двух кострах – горячем и холодном –
два клятвенных сосуда обжигали
для трёх заветных и негласных слов.

Зола давно травую поросла
на том высоком и весёлом косогоре,
но осень продолжает клятвам верить
и жжёт костры, которые не пляшут,
и из сосудов просятся слова.

1963

* * *

*Учитель, странствуя, решил закусить у дороги
и, отогнув полынь, заметил столетний череп.*

Леузы

*В этом черепе был когда-то язык,
его обладатель умел петь.*

В. Шекспир

Упал кочевник от удара –
и покати́лась голова
и чёрным оком увидала,
как перекрасилась трава.

Тот, кто её булатом узким
перехватил у кадыка,
мог знать, какая звёздным сгустком
в зрачках отчаялась тоска.

О чём?

Не знаю – мне ли через
тысячелетие пробиться!

Нет, не донёс безвестный череп
мне весть в пустых теперь глазницах.

Мне б самому в той схватке скорой
и уловить, отринув злость,
тоску по родине, которой
ему объять не удалось.

1963–1964

* * *

Я брал ее за тонкие запястья,
их совершенно просто целовал.

Я этого никак не называл,
а в книгах – почитается за счастье,
и там еще об этом говорится:
все в первый раз – потом не повторится!

И на заре меня попугал бес.

В неповторимость счастья не поверив,
захлопнув книгу, распахнул я двери –
ну, что ж, проверим правоту небес:
все в первый раз – потом не повторится!

Не довелось мне к ней же воротиться,
дверей знакомых вновь не открывал.

Я осознал, что повторимость – счастье,
когда ее за тонкие запястья,
случалось, брал и просто целовал...

1964

ЦАНЬЯН ЧЖАМЦО

Из книги «СЛУХУ ПРИЯТНЫЕ СТРОФЫ»

(переводы с тибетского)

* * *

Нынче недавние всходы
Свяслами скручены туго.
Скрючат и юношу годы
Круче, чем лук из бамбука.

* * *

Мы с девушкой той – не спиной друг к другу
В базаре пестром – связаться туго
Узлом из трех слов любовных старались.
Потом – по домам, и узы распались.

* * *

Четкую надпись с бумаги
Смоешь и каплею влаги.
Нерукотворные знаки
Сердца ничем не смоешь.

* * *

Черный ставь оттиск даже с плеча –
Громкая все ж бессловесна печать.
Пусть в каждом сердце печать застенчивая
Запечатлется, гласность развенчивая.

* * *

В сердце самое отклик врос:
– Вместе долго ль быть? – ей вопрос.

– В смерти если разлуки нет,
В жизни ей не быть! – мне ответ.

* * *

Норовистой лошади, рвущейся в горы,
Найдутся аркан, и путы, и шоры.
Коль скоро подруга вдруг заартачилась –
Чары бессильны и заговоры.

* * *

Ветры со скалами в паре
Орлу истрепали перья.
Людское вранье с лицемерьем
В паре меня истрепали.

* * *

Если к брэнному сердцем не близок,
Как ни умен, как ни зорок,
В сущности – недоумок.

* * *

Нежность любимой видна во плоти,
В сердце же нежном не ведаю дна.
Мы на земле – черт те чьи письмена,
Хоть начертали созвездий пути.

* * *

Шляпа на лоб надвинута,
Коса за спину закинута.
– Дороги спорой! – наказано.
– Счастливо оставаться, – намечено.
– Горько расставаться, – досказано.
– До встречи скорой! – отвечено.

* * *

В жизни я этой, коротко петой,
Слишком к тебе был придирчив, подруга.
В бездне иного юные снова
Сможем ли снова увидеть друг друга?

* * *

Лучше бы, прежде всего, не видеть,
Чтобы сердца не терять.
Лучше же, прежде того, не ведать,
Чтоб из сердца не терять.

АПЛОДИСМЕНТЫ «ГАМЛЕТУ» НА СЧЕТ ДВА

Из досужих домыслов про один театр

Рисунки Ю. И. Кононенко

*Театрик маленький, ах, как же он хорош!
Мы видим тайно интригующих вельмож,
Здесь зреет заговор, здесь точатся мечи,
Смотри и слушай, но скрывайся и молчи.*

Владимир Захаров. «Театрик»



I. КОНОНЕНКО И ПОГРЕБНИЧКО

Потому что у меня же в голове один спектакль, а у тебя, естественно, другой.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

На счет два. Юрии: Ильич и Николаевич

Двойной портрет.

Начало и конец

Двух веж житейских и последних.

Второй двойной писать пока не надо.

Юрий Кононенко.

Моему другу. 1971 г.

«На с-с-счет два» – самый известный всем, кто знал Юрия Ильича Кононенко, его принцип и его же любимая объяснялка всего и вся. Думается, главной приметой органичности для него этого самого принципа была открытая и неутомимая тяга к партнерству – в друге, в соратнике, в учителе, в ученике, – тем более поразительная при ярчайшей его индивидуальности. Но его пожизненное партнерство с Юрием Николаевичем Погребничко одной этой тягой не объяснить. У них – не похожих внешне – многое, важное и второстепенное, будто в нарочитой перекличке: год рождения, имя, окончание фамилии, отец военный, рыжеватость, увлечение спортом, страсть к театру, учеба в Иркутском политехническом и Ленинградском театральном.

Манеж, тот или иной, был им предопределен изначально: любивший ездить на велосипеде стал художником, а ставший режиссером пристрастился к лошадям, его сапоги для верховой езды висели на гвозде в мастерской друга. При такой взаимосвязи органичность того же принципа для Погребничко кажется необходимой, хотя не столь очевидной. И вот – в постановке «Гамлета» его склонность к дублету не просто не прикрыта, а демонстративна.

Памятный узелок. Мой «Гамлет».

Моя теория искусства: искусство есть ближний человек, который удаляется.

Юрий Кононенко.
Из писем к В. Бойкову

После Иннокентия Смоктуновского трудно было представить в роли Гамлета кого-либо из извест-

ных в то время актеров или предпочесть эту пьесу в репертуаре любого советского театра, конечно, при возможности выбора. Что было выбирать мне, находившемуся в то лето в Джамбуле, областном центре на юге Казахстана? В парке под открытым небом за глинобитными стенами летнего театра, что было особо привлекательно на одной широте с Римом, в душном среднеазиатском июле 64-го гастролировала труппа из Томска. В репертуаре – Арбузов или Розов и Шекспир. Если учесть, что первые два имени были почти репертуарной обязателькой в каждом драмтеатре на протяжении державы от Владика до бывшего Кенигсберга (имя осталось лишь на медали за его взятие), то выбор «быть или не быть» был практически безальтернативным.

Да и город был под стать трагедии. Он известен с V века как один из пунктов «шелкового пути». В ущельях окрестных гор попадались запустевшие каменные кошары, сооруженные не столь еще давно местными басмачами. Аборигены, узбеки и казахи, были заметно разбавлены ссыльнопоселенцами всех мастей: раскулаченными, репрессированными, перемещенными, репатриированными славянами, кавказцами, понтийскими греками, курдами, крымскими татарами, поволжскими немцами, корейцами, дунганями. Некоторые селились улицами и кварталами. Было несколько улиц, основанных сибиряками, им повезло – в большинстве раскулаченные были бесследно сплавлены в низовья Оби.

Я знал солнечного пейзажиста Владимира Александровича Брюмера, кажется, родом из Новороссии, помню лишь, что его одноклассником по

гимназии был Борис Лавренев, в бытность же свою в Крыму он снимал посмертную маску Александра Грина, а сослан был за революционную фамилию.

Я знал Питера Исааковича Фризена, голландца, привлеченного в красную Россию прелестями «Торгсина» и загремевшего в Голодную степь. Я знал и пробовал переводить одного из первых чувашских поэтов Леона Пушкая (Глеба Пушкарева?), обжившегося в ссылке и почти забывшего родной язык. Я знал ссыльную Елену Венедиктовну Росс, воспитанницу Смольного института, по зову сердца вернувшуюся с мужем из Чикаго на родину сразу после великого Октября, вскоре потерявшую мужа в застенках Лубянки и право на любую работу, жившую в услужении у добрых людей. Я знал... К стыду моему, всех поименно не вспомню.

Мы пошли в театр с моей Офелией... До начала спектакля еще было время. Близился закат и, может быть, даже прохлада. Прогуливались по аллее. В конце ее, за куртиной нестриженных кустов, на ступеньках перед дверью за кулисы сидел тучный Клавдий – в гриме, по пояс голый. Его бледный живот и грудь были в серой кучерявой поросли, королевский наряд с кружевным воротником и манжетами был брошен у ног. С истовостью северянина он блаженно жмурился в последних лучах. Эта подноготная делала образ невозможно подлинным, будто мы и впрямь попали на задворки Эльсинора, где вероломный Клавдий искал уединения.

Ночь наступила быстро – солнце будто упало где-то позади деревьев за хребет Каратау. Публика восседала на длинных маркированных скамьях. Действие разворачивалось под звездным небом и под ровное многоголосие ночи.

Режиссерский промысел как будто отсутствовал, все шло строго по тексту трагедии, и было все равно, как играют актеры: все, что происходило на сцене, казалось неожиданным и необъяснимым, как в жизни. Понятно, какая публика смотрела «Гамлета» в этом ссыльном городе, смотрела внимательно и напряженно. Аплодисменты были дружными и краткими. Расходились медленно и молча. Тогда и сложились стихи о моем Гамлете.

Гастроль

*Над бутафорским датским королевством
мышей летучих лоскутки –
беззвучные аплодисменты.*

*Нет зрителей – ряды молчащих Гамлетов
сверяют свою совесть с той, мятущейся
на сцене ветхой, будто в мире целом
восстали тени сгубленных отцов.*

*Незримо терзаемый страстями
рассудок сам – наполовину страсть:
как быть?..*

*Да разве ж не завидней одержимость
иного старомодного безумца!?*

*Над бутафорским датским королевством
угасли фонари, рукоплесканья
иссякли, выставились звезды.*

*Нет Гамлета – немолодой актер
стирает грим. В аллее из партера,
безмолвствуя, уходят эльсинорцы.
День завтрашний приподнимает плечи:
как быть?..*

Через девять месяцев в Новосибирске я навсегда познакомился с художником Юрой Кононенко.

На счет два. В помин Ю. К.

Надо выключить напряжение, иначе перегорим.

Юрий Кононенко.

Из писем к В. Бойкову

Мы движемся по спирали, но спираль перегорела. Таланту не хватает жить.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Между моим «Гамлетом» и «Гамлетом» Погребничко непосредственной связи нет, а посредственная идет через меня, через мое (субъективное) восприятие. Так ведь и «Гамлет» Погребничко субъективен в доступных прежде всего ему – режиссеру – пределах.

В этих заметках я не покушаюсь на глубокий разбор постановки «Гамлета», таковой блестяще, на мой взгляд, осуществлен К. Мамаевым серией эссе в книге «Драма как сценическое событие».

Надо бы говорить об этом спектакле как существенно новом для Погребничко – он ведь прежде не только Шекспира, но и вообще европейскую классику не ставил. И все же у меня не получится говорить об этой постановке вне связи с предыдущими, какими их помню. Для меня это спектакль-воспоминание, и не только по форме, по режиссерскому ходу, а по причине все затмившей смерти Юрия Кононенко – Ю. К.

Кононенко – художник не только этой постановки, не только театра «ОКОЛО», уже привычно называемого «театр Погребничко». Было еще и закулисное название – театр «Погребничко и К°», и в этом компанейском К° подразумевалась в первую очередь не актерская компания, а именно Кононенко, поскольку этот ансамбль старше театра «ОКОЛО» на целую четверть века. Что ж, в театре художнику всегда отводится роль аккомпаниатора, он словно в тени или даже тень режиссера-солиста, но как раз сочетание света и тени создает зримый объем.

Ю. К. завершил свое странствие. Солист остался без аккомпаниатора, рыцарь – без оруженосца. «Гамлет» – их последняя кампания, последняя гастроль на счет два. Черта подведена. Надо как-то итожить и продолжить жить.

Памятный узелок. Мастерская

Мне думается, что надо срочно тебе переезжать в Москву. И начинать бродячий театр (о котором ты, старфик, мечтал в мастерской, когда мы пили чай и обнимали кое-каких женщин). Нет, надо нам обязательно жить рядом. Это я тебе точно говорю. Ведь жизнь одна, второй раз рядом не будем. Не выйдем второй раз.

Юрий Кононенко.

Из писем к В. Бойкову

Тому больше тридцати лет уже, как жил я в общезитии для молодых специалистов в новосибир-

ском Академгородке. Однажды чуть ли не у подъезда сталкиваюсь с Ю. К. (мы знакомы уже года два). Встреча неожиданная: он же вроде живет в «Щах» (микрорайон с необъяснимым индексом «Щ»), в физматшколе, где ведет изостудию. Ю. К. тягуче (в те годы он мучительно заикался), но кратко изложил: школу перевели в университетский городок, его уволили, но зато дали место в соседнем с моим общежитии. Главное, он уже договорился с комендантшей и оборудует в бытовке на верхнем этаже мастерскую под видом изостудии, уже стоит мольберт и раскладушка и заказан плотнику рабочий стол.

Я не удержался от зависти – у меня в комнате аж два чуждых мне соседа: Чертов и Смертин.

– С-с-старик! – воскликнул Ю. К. – Ставь стол, я тебе угол даю.

Три года мы жили, то есть трудились бок о бок в этой мастерской – он за мольбертом, я за письменным столом (статус младшего научного сотрудника позволял мне работать дома), и отбивались от неоднократных поползновений с разных сторон нас из нее выкурить. Юра подрабатывал в Доме пионеров, потом преподавал в Художественной школе, иногда оформлял спектакли в театре-студии, где и я играл какую-то роль в буквальном смысле, примой тогда была Ира Алферова, еще школьница. Вообще, о театре мы говорили постоянно. Пищу для разговоров давали и мои драматургические потуги (я писал пьесу в стихах), и письма Погребничко, с которым я еще не был лично знаком и потому особенно заинтригован. Погребничко заканчивал учебу на режиссера в Ленинградском театральном, где Ю. К. не

проучился и двух лет по соображениям житейским и потому, что не стал вести курс А. Акимов.

Кажется, летом 68-го Погребничко приехал в Академгородок. Они с Ю. К. со знанием дела кидали мяч в кольцо во дворе ближней школы, я был болельщиком – на роль арбитра не тянул, но вступал в футбольную баталию, если собиралась команда противников из полудюжины пацанов. За чаем говорили о насущном для обоих Юр, о работе и театре и, особенно, о «Лесе» Островского.

- Надо ставить, – говорил Погребничко. – Кругом ведь лес.

Академгородок, как почти вся населенная Россия, располагался среди леса.

А поставлен был задуманный спектакль аж двадцать лет спустя, когда позади уже были две постановки «Трех мушкетеров», и поставлен не в Керчи или Вологде, а на Камчатке, но ведь поставлен!

На счет два. Чжуан-цзы и «Гамлет»

*Я до конца ощутил одну прекрасную штуку.
Есть человек, есть человек, что рядом.
Хоть хватило бы время ощутить его.*

Юрий Кононенко.
Из писем к В. Бойкову

Когда был вечер памяти Ю. К. в помещении Третьяковки на Крымской набережной, выступавшие через одного – «на счет два» – вспоминали это его любимое присловье.

Погребничко в своей неуловимо шутливой манере предложил мне:

– Ты выступи и скажи им, что идею «на счет два» ты подкинул Кононенко, он мне сам говорил.

Однако, по правде, этой идее не одна тысяча лет. Жить же она может только в деле. Когда мы обитали в той городковской мастерской, в перерывах или вечерами за чаем я читал Ю. К. что-нибудь вслух – иногда известное, иногда новое – из Бунина, Анненского, Бахтина, Выготского. Самым излюбленным чтением были древние китайцы: Тао Юань-мин, Лао-цзы, Чжуан-цзы. Это самое «на счет два» как раз из знаменитого трактата Лао-цзы «Дао дэ цзин»: «Из Дао – одно, из одного – два, из двух – три, а из трех – вся тьма вещей».

Ю. К. взял из этого тезиса самую сердцевину, суть продолжения – повтор, «на счет два». Зеркальность, отклик, «чет-нечет» – самые корни мышления. Не вот так – взял и все. Если попытаться вдруг увидеть обе стороны медали разом, то обнаружится только не имеющее образа ребро. Ю. К. же свои живописные лики давал сразу в двух измерениях – анфас и профиль – в двух зеркалах.

Не остался не замеченным и этот эпизод из другого знаменитого трактата – «Чжуан-цзы»:

«Учитель Лецзы, странствуя, захотел перекусить у дороги. Заметив столетний череп, отогнул полынь и сказал:

– Только ты и я понимаем, что нет ни рождения, ни смерти. Так в тебе ли печаль, во мне ли Радость?»

Разве это не сцена из «Гамлета»:

– Бедный Йорик!..

Погребальный этот мотив тянется почти через все их с Погребничко постановки – от «Провинции» в Новокузнецке до «Гамлета» в Москве.

Трудно представить, что Ю. К. с нами нет. Трудно представить, что Чжуан-цзы старше Шекспира на два тысячелетия. Похоже, искусству, как и душе человеческой, не дано прогресса.

Памятный узелок. Погребничко в ТЮЗе

Мне сказали:

– Вы что? Считаете, что все сумасшедшие?

Я говорю:

– Денег нету.

Спектакль сняли после первого прогона.

Переделывать отказался.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

В начале зимы того же года Ю. К. со своим неизменным, набитым инструментарием и материалами рюкзаком полетел в театральную Москву – оформлять в ТЮЗе дипломный спектакль Погребничко. Какое-то время спустя и я со своими рукописями прилетел в журнальную Москву. Мы столкнулись с Ю. К. чуть ли не в дверях, он улетал домой, а мне оставалось его место на раскладушке в комнате Погребничко в общежитии театра в Трехпрудном переулке. Зима в Москве стояла лютая и не располагала мотаться по редакциям. Погребничко располагал собранием сочинений Пушкина и допотопным, но вполне рабочим «Ундервудом». Я время от времени использовал то одно, то другое. Вечерами чаевничал с актрисами. Своего домохозяина я встречал лишь изредка днем – на репетиции. Он ставил пьесу А. Зака и И. Кузнецова «Приключения

Витторิโอ». Я был достаточно искушенным провинциальным театралом: в Новосибирске гастролировали знаменитые, именитые и скандальные труппы из обеих столиц. А с закулисной жизнью знакомился еще юнцом в театре «Красный факел». После двух-трех репетиций я стал угадывать азы режиссерской семиотики. Декорации были уже почти готовы, при этом предельно просты и, следовательно, дешевы, что для Ю. К. было чуть ли не правилом. На заднике был белый скругленный прямоугольный экран, перед ним выгораживался требуемый интерьер с помощью несколько довольно протяженных скамей. Поначалу я долго не мог понять, как и актеры на сцене, впрочем, чего добивается Погребничко от движения персонажей по сцене. Он заставлял актера пересекать сцену в определенном направлении и подавать реплику только при остановке в определенной точке. Но постепенно магия непонятого замысла стала сказываться. В отрепетированных мизансценах хаотическое, на первый взгляд, движение персонажей приобретало настойчивость ритма ведущих частей – поршней и шатунов – движущегося паровоза. Только попытавшись представить вид мизансцены сверху, я понял причину такого воздействия. Персонажи имели индивидуальные правильные маршруты – прямоугольники, треугольники, диагонали в различных направлениях. Из зала эта геометрия была неразличима, но ее ритм так или иначе зрителю передавался. Эта механистичность происходящего еще более передавалась, когда позади всего на белом экране проходил приплясывающий и при-

певающий кордебалет в арестантской униформе:
«Мы все марионетки!»

Текст пьесы не мог ни отменить увиденное, ни добавить что-либо к этому. Хотя сюжет пьесы разворачивался где-то в военной Италии, в антифашистском подполье, «культурное» начальство на первом же прогоне узрело на сцене все, как в зеркале. К сожалению, прогон спектакля состоялся уже без меня.

На счет два. Репертуар памяти

*У людей слишком разные внутренние миры.
И чем дальше, тем все меньше они испытывают
потребность в соприкосновении с другим миром.
И теряет всякий смысл существование этих
тонких и сложных душевных систем.*

*...Как ни странно, человек в искусстве больше
старается отдать.*

*А брать-то некому. Все хотят отдавать.
А кому?*

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

«Гамлет» Погребничко – апофеоз двоения. И удвоения, и раздвоения. Он выстроен не просто на счет два, он весь – эхо. В нем откликаются – персонажами, цитатами, постановочными атрибутами – не только спектакли репертуара «ОКОЛО», в некоторых из которых были уже моменты или элементы предвосхищения этой постановки. К примеру, наглядные аллюзии на Офелию и Гамлета («Нужна трагическая актриса») или несравненные могильщики, шествующие от постановки к поста-

новке («Я играю на танцах и похоронах», «Нужна трагическая актриса») до своего штатного места в «Гамлете». В этой постановке является даже тень Свидригайлова в исполнении В. Высоцкого в любимовском спектакле «Преступление и наказание», выходявшего в одной из мизансцен с распластанной на вытянутых руках газетой, и в этой намеренности, подчеркнутости жеста угадывался почерк Погребничко, работавшего с актерами этого спектакля в качестве режиссера.

На премьере до начала спектакля я смотрел на пространство сцены и узнавал знакомые уже предметы бутафории и оформления, присущие сценографии и сценическому действию театра. Вот могильная яма из «Старшего сына», поставленного в свое время в «Театре на Таганке» и не допущенного дальше прогонов, и железный короб вокруг сцены без кулис, перешедший из еще ранее поставленных там же «Трех сестер». Теперь я еще не знал, что в предстоящий спектакль проникнут и «Три сестры» и Достоевский, которого сам Погребничко еще не ставил – покамест, возможно. Я смотрел на знакомый мне столб и пытался вспомнить, в какой постановке он появился впервые: в «Чайке», поставленной уже на этой сцене? Или где-то много раньше? Вот венские стулья, но не те белые, знакомые мне по эскизам Ю. К. к «Бешеным деньгам» Островского (Брянск, 1973), а черные, как приличествует трагедии. Узнал и неструганые доски, чуть ли не те же самые, которыми заколачивали Сарафанова в летней эстрадке в финале самой первой постановки «Старшего сына».

Памятный узелок. Провинция и Провинция

У меня мастерскую отобрали, так что терять нечего, кроме велосипедных цепей.

Юрий Кононенко.

Из писем к Ю. Погребничко

Дело происходит в провинции. Пьеса провинциальная. Мы ставим пьесу в провинции. Предлагаю примерное название спектакля «Провинция». Главный герой, конечно, Старик.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Вообще-то, это был первый, добравшийся до премьеры спектакль театра «Погребничко и К°». В тот сезон драмтеатр славного города Новокузнецка возглавляли молодой главреж В. Ткач, еще более молодой директор И. Бейпин и главный художник – великолепная Р. Юношева из Ленинграда. Поэтому Погребничко и Ю. К., принятым в штат очередными, был предоставлен полный *carte blanche*. Пьесы А. Вампилова еще не начали свое торжественное шествие по сценам страны, но уже были допущены до репертуара. Выбор «Старшего сына» для Погребничко был не случаен, не наобум и название было дано спектаклю – «Провинция». Еще жив был Вампилов и даже приглашался театром, но откликнулся телеграммой с протестом против названия спектакля – у него-то в подзаголовке «Предместье», может быть, даже с намеком на горьковское «На дне». И все же его предместье – не Мытищи и не Люберцы, и не знал он, что его пьесу ставят не столичные снобы, а земляки – выученики иркутского Политеха.

На премьеру спектакля из Академгородка мы приехали внушительной командой почитателей Ю. К. (Погребничко еще многие из нас не знали, тем паче как режиссера). О том, что основание городу давала черная металлургия, свидетельствовал невиданный нами даже в промышленном Новосибирске цвет снега. О приезде нашем стало известно и актерам – играли с большим подъемом. В финале же, разыгранном специально для нас, монолог Сарафанова о человеке и его праве на счастье звучал из заколачиваемой досками эстрадки. Замечательный актер Анатолий Серенко, исполнитель роли Сарафанова, получил заслуженный партийный выговор за нарушение мизансцены, хотя у постановщика претензий не было – такой вариант репетировался. Мне этот спектакль по сию пору представляется фейерверком таланта, радости, творчества, молодости, озорства, силы, любви и еще черт знает чего. Постановка была предельно насыщена творческими находками, да и последствиями тоже, прежде всего для главрежа и директора, лишившихся должности.

И режиссер, и художник прекрасно понимали, что они делают. Они делали свой театр – место воплощения своих идеалов и место концентрированного отражения советского абсурда, который, несмотря на необъятные его просторы, запросто перемещался на подмостки.

На сцене перед эстрадкой вокруг танцевальной площадки – гипсовые статуи. Среди таких типовых, как девушка с веслом, Ю. К. поместил и грибника с грибом – в абсурде ничто ансамбля не портит. Я знаю, откуда эти статуи. Чуть более года до этого мы втроем заблудились ночью во Владимире, хотели пройти

насквозь через городской парк к вокзалу и оказались в тупике. Оглянувшись назад, мы оторопели. За разговором не заметили, через какой строй мы прошли: позади была широченная, теряющаяся в ночи аллея светящихся в свете фонарей статуй. Каких только героев там не было – рабочие и колхозницы, моряки и летчики, физкультурницы и физкультурники всевозможных видов, с граблями, снопами, лопатами, кирками, собаками и отбойными молотками. Назад хода не было – ужас от увиденного перенес нас через преграду. Но статуи нас не оставили, они пришли и разместились на Новокузнецкой сцене, где эстрада была вполне туземной: в каждом дворе социалистического города стояла такая же. Двухъярусные койки пришли на сцену из студенческого общежития. Или вот шинели, их недавно еще носила добрая половина гражданского населения, кто по статуту, а кто с отца плеча. В форме ходили (не от тоски ли вождя по империи?) почти все служащие и учащиеся, только школьников одели в форму с запозданием в несколько лет. В спектакле было много музыки, а танцплощадка задала тон для пластики. Потом многое с этой сцены вместе с постановщиками прошествовало на сцены других городов, в другие спектакли по иным пьесам.

О чем же все-таки был спектакль? Собственно с этого спектакля Погребничко и начал, не отвергая всечеловеческих нравственных идеалов, последовательное разоблачение и разрушение иллюзий прекраснодушных советских разночинцев. В спектакле два героя – Сарафанов, потерпевший в жизни крах, и его лжесын, следующий тем же путем. Если известный фильм по этой пьесе с Л. Леоновым в роли Сарафанова завершается на оптимистической ноте, уверенностью в будущем, то «Провинция» Погребничко не оставля-

ет никаких иллюзий зрителю, что надежды «старшего сына» на любовь и счастье, как и сарафановские двадцатилетней давности, будут похерены, летняя эстрада будет заколочена и, видимо, навсегда. Этот танцевальный сезон продолжения не имеет. Хотя может казаться, что сейчас можно думать по-другому.

На счет два. «Гамлет» и другие

Мне хочется поставить спектакль о том, что все люди сами по себе, каждый борется за себя. И кто побеждает, тот в результате становится палачом.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Сейчас уже трудно сказать, что чему предшествовало. Был ли замысел «Гамлета» изначально и диктовал постановку последующих спектаклей или же из постановки этих спектаклей вырисовывался замысел «Гамлета»? Вообще говоря, это не имеет значения – время в искусстве обратимо, пусть и не абсолютно.

Положим, «Нужна трагическая актриса», – что это? «Лес» Островского, задуманный еще до «Провинции», – этап на пути к «Гамлету»? Но ведь «Лес» – та же «Провинция», и наоборот. В самом деле, там и там два чудака – благородный и неблагородный – являются туда, где их не ждали. Однако, если Погребничко из Островского путь к Шекспиру как-то да наметил, то в «Провинции» ни о каком «Гамлете» и помину не было. Между тем, был самый короткий путь от «Старшего сына» к «Прощанию в июне» – всего несколько страниц вампиловского текста, но Погребничко понадобилось преодолеть несколько

тысяч километров пути от Новокузнецка до Владимира и восемь лет жизни, чтобы поставить эту пьесу. Перед этим он в Москве поставил Островского «Не сошлись характерами». Что роднило эти спектакли, кроме обилия бумажных цветов в оформлении? От них шуршало и разило деньгами, а идеалами не пахло. Больше в эту тему Погребничко, кажется, не заглядывал. Это было очередное прощание с иллюзиями. С иллюзиями конца 50-х и начала 60-х. И если Ю. К. обостренно видел социальный антураж и одновременно умел вчувствоваться в предметное нутро, то Погребничко угадал контуры «новых идеалов», далеко не столь приятных советским разночинцам и вовсе не желательных номенклатуре, но «идеалов», как показало время, неизбежных.

И все-таки – это эстрада из «Провинции» возвысилась уже в первой версии «Леса» до балаганного рауса для Коломбины или Офелии, откуда уже виден был Эльсинор. Та же эстрада, поднимаясь все выше, обернулась незримой вышкой для вертухая там, где «Вчера наступило внезапно». Да и в самом «Лесе», в другой уже версии, совершается трансформация этой возвышенной ниши не то в тюремную камеру, не то в «вагонзак». Поезд тронулся, господа!.. Но надо ли играть «Гамлета» в «Гамлете», разыгранном восемьдесят лет назад? В «Гамлете» Погребничко – не предъявление ли счета себе и каждому во всех поколениях, если выход не в покаянии, а в том, что нужно платить по всем счетам – своим и унаследованным? Почему платить? А потому. Простить – невозможно, мстить – безрассудно. Мечь – обоюдно губительна. Не в обоюдности же очищение! Это лишь усугубле-

ние зла. А как платить? Вопрос не в том, чем расплачиваться. Кто эту плату примет? – вот в чем вопрос, – и быть или не быть ответу?..

II. ПОГРЕБНИЧКО И ЕГО ТЕАТР

Я думаю, что область мотивации и в то же время область свободы этого театра – это социальное бессознательное как скрытое от нас обычно основание наших мнений, симпатий и антипатий.

Константин Мамаев. «Запиндя»

Вот он – театр

Ты же меня в режиссеры сманил, чтобы театр делать. Ты пиши, что делать? Где наш театр?

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Я сформулировал нашу работу так – направленная чистота.

Юрий Кононенко.

Из писем к В. Бойкову

Мне довелось в Доме актера присутствовать (к сожалению, не до конца) на вечере по случаю десятилетия театра «ОКОЛО». Говорили профессионалы, театроведы. Почти каждому выступлению я внутренне оппонировал. Но не выступил – необходимо было и пришлось уйти. Позже попытался изложить на бумаге то, что порывался сказать. Но это уже не полемика, а просто мои заметки по поводу театра; в них я старался личные отношения – очень хорошие, замечу, – отместить в сторону. Получилось ли?

Как бы там ни было, а театр этот начинался с дружбы двух молодых людей. В этой дружбе зарождались, сберегались и отшлифовывались идеи. До самой первой репетиции. А там уже от сцены к сцене, от спектакля к спектаклю эти идеи воплощались в реальный театр, еще без труппы, без зала и вообще без постоянного места. Но это был уже театр, от самой первой увидевшей свет постановки. Полагаю, что могу свидетельствовать это хотя бы потому, что из трех десятков постановок не видел всего пять или шесть. Я был на премьерах театра в Новокузнецке, в Омске, во Владимире. Спектакли, поставленные в Петропавловске-Камчатском, я видел на московских гастролях. К тому времени, когда театр обрел географическое место, адрес, труппу, он уже имел свой почерк. Теперь он имеет имя. И еще у этого театра стало приятно узнавать актерское лицо, а не только постановочный стиль.

Так чем же театр этот меня-то тешит – потешает, утешает?

Здесь мне, будто в зеркале, (или мной) открывались в разное время архетипы и мифы нашего, т. е. близкого мне круга людей, советского бытования. Скажем, такие мифы нашей юной и молодой поры, как Д'Артаньян и три мушкетера, герои Ремарка и команда Кристофера Робина. Или привычные атрибуты нашего всесоюзного бытия и их ипостаси: *лагерь* – военный, пионерский, социалистический, наконец, *Гулаг*, – *барак, забор, колочка, вышка...* Это та каша из мифов и стереотипов быта, которая питала послевоенное поколение; разруха, полуголодное существование, воровство, блатной форс, парадный

шик (все в шинелях – студенты, лесники, речники, железнодорожники, летчики, судейские) и соцромантика (и такое имело место: ведь ехали на целину, на комсомольские стройки не только за рублем). Среди извращенных реалий социалистического было и вполне достойное человеческое. Думается, отчасти и это продолжает привлекать сегодня к театру молодого зрителя. Этот театр – далеко не Кастилия, и не ее Игра в бисер. Мы вытянуты на Восток, и его философия и культура – тоже один из советских интеллектуальных мифов. Из тех, что духовно насыщены.

Планета спектакля

Планета простая, почти круглая. Может быть, чтобы я чувствовал себя в любом месте на вершине.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Юрий Погребничко, как и всякий творческий режиссер, обречен бороться с текстом пьесы.

Константин Мамаев. «Предисловие»

Почему в репертуаре театра за единичным исключением приживаются только всем хорошо знакомые пьесы или сюжеты? Почему Погребничко завязку и развязку авторской интриги пускает на самотек и наслаивает обилие характерных постановочных эффектов, таких, как подчеркнутые пластика и жест, символизация сценических атрибутов, демегафоризация драматургического текста, внедрение постороннего текста и многое другое? Понятно ведь, что

не для завлекухи, не для зрелищной потребности публики или эпатажа, как может показаться спервоначала. Если отрешиться от внешних перипетий сценического действия, можно заметить, что акценты зрительского внимания задаются у Погребничко не драматургией, не ее мотивировками или образным и событийным рядом, а неким специфическим *умыслом*, на который работают все участники спектакля, весь комплекс постановочных средств. Высокий произвол (или же воля) Погребничко-режиссера заключен прежде всего в этом умысле, а уж потом в акте. Что же это за умысел, если для него не является источником ни образный, ни событийный ряд драматургического материала?

В человеческой жизни имеют место события двух родов: рядовые и выходящие из ряда. Незаурядные события происходят или из стихии, вносящей в жизнь коллизии, или из складывающихся в самой жизни коллизий, они имеют смысл социально-исторический и, следовательно, литературно-художественный. Заурядные события – это намеченные или поворотные точки в круговороте жизни, имеющие смысл в обряде или ритуале. Вместе с тем, событие только тогда Событие, когда оно содержит коллизию, противоречие, конфликт, в исходе или разрешении чего оно и заключается. Обряд или ритуал для того и существует, чтобы привнести или инсценировать в заурядное событие коллизию и сделать из него Событие. Это уже очень похоже на театр.

Режиссерский умысел Погребничко в том и состоит, чтобы в течении сценического (не драматургического) действия *наметить* или задать коллизию.

Однако амбивалентность коллизии, ее противоречия сами по себе неразрешимы, констатация коллизии не несет в себе катарсиса, но Погребничко к этому и не стремится, он не собирается даровать нам облегченный вздох. Следующей задачей его умысла является *развитие* коллизии, но не доведение ее до кульминации, а ее вскрытие, он как бы останавливает и растягивает коллизию на составляющие ее противоречия. В развитии, в разъятии коллизии неизбежно находится режиссерское отношение к ней или оценка противостоящих сторон – это режиссерский подтекст спектакля. Собственно, развитие коллизии и есть выявление отношения через разъятие заданного противоречия. Эта операция не столь уж безболезненна для иного зрителя (если только он эту намеченную режиссером коллизию замечает). Подчас это обескураживает и отталкивает, задевает самолюбие обманувшегося в ожиданиях зрителя. Зритель же, склонный к рефлексии, напротив, воспринимает проделанное с удовольствием. Поэтому главная цель режиссерских усилий в сценическом действии – спровоцировать зрителя на сотрудничество с умыслом режиссера, вместе с участниками спектакля помочь ему разъять и оценить коллизию.

Проще говоря, развитие коллизии может выявиться через последовательно переживаемую оппозицию чувств, например: «комическое – трагическое» или «трагическое – комическое». Подобные пары оппозиций имеют противоположные оценки, поскольку решающей в отношении является та часть оппозиции, за которой последнее слово. Эти примеры легко обнаруживают и оценку коллизий: в первом

случае, готовый засмеяться зритель вынужден подавить смех, во втором же – наоборот, готовый заплакать проглатывает слезы и смеется. Хотя развитие коллизии провоцирует переживание зрителем оппозиции некоторых комплексов чувств, это не отменяет и не подменяет развитие сюжета или интриги – они лежат в разных плоскостях или сферах восприятия. Черета таких режиссерских коллизий в сквозном сценическом действии и создает содержание спектакля (не ущемляя при этом общих требований целостности и гармонии действия). А посему спектакли Погребничко не имеют внутренней завершенности, их версии (термин Погребничко!) не окончательны, и каждая новая постановка дает продолжение новому ряду коллизий. Поэтому одна и та же коллизия может иметь место в драматургически разных спектаклях. Не стану приводить примеры. Но примером того, как один сюжет может вылиться в три совершенно разных постановки (три ряда коллизий), равно присущих именно этому театру, могут служить «Три мушкетера», поставленные в Новокузнецке (1970), в Красноярске (1972) и в Москве (1994).

Из Дао – вся тьма вещей

Театр, черт, трудно сделать. Давай организуешь, будешь главным режиссером, я к тебе актером приеду.

Юрий Погребничко.

Из писем к Ю. Кононенко

Погребничко, в отличие от Ю. К., не остановился на двоичной середине формулы развития Лао-

цзы, он решил охватить и края. Но это оказалось не просто. Вот что он писал Ю. К. в 69-ом: «Никогда не проникнуть людям в мир друг друга. Да и зачем?» Через четверть века в интервью телевидению (не знаю, было ли это в эфире) он также убежденно констатировал: «Истина недоступна». Однако на этом не остановился: «Думаю, что важно хотя бы определить направление пути к истине, тогда о ней можно догадываться». То есть оказаться ОКОЛО истины. Видимо, название театра выбрано было не случайно, как не случаен столб в декорациях множества спектаклей: ОКОЛО – ОКО КОЛО – КОЛ. Что символизирует этот столб – совершенно неважно, он равно архаичен и актуален. Важно другое: действие всегда происходит ОКОЛО чего-то сокровенного. Потому что НИЧЕГО не происходит, как ПОЧТИ ничего нет на сцене – всегда ПОЧТИ один и тот же ПОЧТИ хлам.

Все же, несмотря на «чернуху» реквизита сцены, озорство, местами откровенную иронию к внешней канве действия и болезненное раскрытие режиссерских коллизий, за всем этим улавливается тончайший лиризм, угадывается неизменная приязнь к вечным и человеческим идеалам любви, добра, справедливости. На идеалах вины нет. Это-то и примиряет театр и зрителей, старых и юных.

Примечательная особенность спектаклей Погребничко и в том, что сценическое время в них необратимо – как действительное. Повторный просмотр не дает вступить в ту же реку, не возвращает испытанного воздействия, и даже не потому, что зрелище в повторе лишено новизны, нет, это будет по-новому

новый спектакль, и не потому, что повтор не абсолютен, а потому, что весь континуум слоев сценического действия, взаимосвязанных с режиссерским умыслом, зрительно неисчерпаем. Это свойство отличает подлинную поэзию.

Может показаться, что режиссер Погребничко соотносится с актером приблизительно так же, как и с драматургическим материалом, из которого он строит свой сценический мир. Материал должен быть податлив. Значит ли это, что и актер должен быть марионеточно обезволен? Нет, скорее, это мы – зрители и граждане в одном лице – марионетки, если посмотретья в зеркало такого спектакля, как «Гамлет». Спектакли Погребничко предъявляют чрезвычайно трудные требования к актеру и не по части муштры, а по внутреннему настрою на режиссерский умысел наряду с необходимостью создания сценического образа. Без такого духовного напряжения актера невозможно спровоцировать зрителя на восприятие режиссерского подтекста спектакля. Поэтому-то среди актеров этого театра (не только по сцене «ОКОЛО») его рыцари, такие как – светлая им память – Анатолий Серенко, Николай Алексеев, Валерий Прохоров.



*Март 1996,
март 1998*



Владимир
ГОРБЕНКО

Зелёное вино

ВОКЗАЛ

Рижский перрон,
рижский вокзал.
Поезд ушел,
я не сказал.
Я не сказал,
что люблю.
И не сказал бы...
Взглядом ловлю
в желтых квадратах
контуры девичьи,
окна мелькают
колесиком беличьим.
Красная точка
нежданным событием.
Но далеко, в темноту,
из-под ног
пара стремится
серебряных нитей,
словно, чтоб я на мгновение мог
все удержать...
И не понять
этим рельсам изъезженным,
что не хотел бы вернуть я ее.
Пусть так останется,
пусть не состарится
самое чистое,
самое нежное
вспоминанье мое.

Рига, 1960

* * *

Хочешь, я тебе подарю
изумрудную горную струйку?
Хочешь, я тебе подарю
облаков розоватую стайку?
Хочешь – инистый эдельвейс,
ветвь кораллов в брызгах соленых?
А захочешь – я мир тебе весь
принесу в своих росных ладонях?
Только ты так паришь высоко,
что не слышишь меня в вышине.
Мир в ладонях держать нелегко –
возвращайся на землю ко мне.

Академгородок, 1962

* * *

Вдруг ворваться неожиданным,
свет рукой заслоня,
заглянуть под ресницы
и увидеть себя...

На остывшем асфальте
своей тенью лежу.
Я тогда тебе нужен,
когда уйду.

Академгородок, 1962

УТРО

Грызу цветок и жмурюсь свету.
Красив и прост знакомый мир.
Бездумное вдыхаю лето,
и только где-то там, внутри
тревожно жду увидеть чудо –
сейчас,
за поворотом!
И тогда...

Я утром вышел ниоткуда,
иду дорогой никуда.

Академгородок, 1962



ПАЛЬЦЫ

Бокал хрусталится
лучистыми обводами.
Вино качается
под желтую мелодию,
и звуки томные
тромбонят пустоту,
и пальцы тонкие
змеятся по стеклу.
Певичка нежная
с фигуркою Ассоль
на раны бережно
ссыпает соль.

Мне все равно, кто он –
хороший или сволочь,
пьет в упоенье
золотую горечь.
И кто она,
откинувшись на спинку,
из голубых зрачков
роняет льдинки.

Я лишь смотрю,
не в силах оторваться,
на пальцы тонкие,
что по стеклу змеятся.

Им не держать
тяжелого ножа,
на спусковом крючке
им не дрожать.

Они не травят и не сушат,
такие ласково задушат.

Академгородок, 1961

ТАСКАНСКИЙ БЛЮЗ

Ухожу с караваном в Таскан –
тяжким грузом моя тоска.
Я увижу тебя только осенью,
горы гор между нами бросили,
даль сибирскую, небо с проседью.
И лишь звезды нам той же россыпью.
Ухожу с караваном в Таскан –
тяжким грузом моя тоска.

Длинной тучей покрылся Таскан,
это бродит моя тоска.
Верным псом по горам в тишине
по ущельям со мной спускалась,
где короткое имя осталось,
светлой фреской на черной стене.
Длинной тучей покрылся Таскан,
это бродит моя тоска.

Покидают тучи Таскан –
не уходит моя тоска.
Долог путь оленьей тропой,
все мне кажется – за тобой.
Там в долине на желтом мысу,
на руках я тебя понесу.
Покидают тучи Таскан –
не уходит моя тоска.

Саха, 1962

СОН ОБ АКАДЕМГОРОДКЕ

Гудит в ночи сирена шало
и тонет в теплой тишине,
на илистом завязнув дне.
Лишь в теле баржи обветшалой
чуть-чуть гудит.
И сон разбит...
А миг назад я брел бетонными,
давно знакомыми дорогами,
мне ветви слепо щеки трогали,
лежал на листьях свет оконный,
дрожа пыльцой.
Я встал лицом
к проспекту, к ветру, с моря дувшему,
и молодые длинноногие столбы
со мной под небом темно-голубым.
Они сумели протоптать дорогу в душу мне,
пожалуй, навсегда...
Прощай, Алдан,
прощай Тампо, Анелло, Сакырыр, –
мои лесные заклинанья,
планшетки, стертые до дыр.
Из голубых глубин сибирских расстояний
мой Китеж-град
уже зовет назад.

Хандыга, 1962

* * *

Мне хочется теплых губ,
с которыми был так груб,
которые так ласкал,
которым «не верю» сказал.
Откуда мне было знать,
что камни умеют ждать,
а реки веками течь
и чистую воду беречь.
Что каждый в ночи костер
для грешника – костел.
За каждым годом печать.
У времени ж – нет ключа.
Не надо, не надо кричать,
послушай, как горы молчат.
Здесь много протоптано троп,
здесь разный бродил народ.
Не каждый, кто приходил,
громадами принят был.
Но тот, кто искал и добыл,
тот кроме чистой воды,
в жизнь уносил с собой
кристаллов прозрачных соль.
И если вернусь я вдруг,
я буду по-прежнему груб,
но ты ощутишь моих губ
горько-соленый привкус.

Академгородок, 1961



* * *

И все-таки друзья прощаются.
Ладоням без пожатья стыть.
Друзьям предательство прощается –
им надо в путь, им надо жить.
Пустеют улицы послушно,
они друзей мне не вернут,
повсюду шариком воздушным,
ношу в охапке пустоту.
Мой мир погаснет вполовину.
Один, без поданных, царьком,
и только в сумрачных витринах
я отражаюсь целиком.
Меня ломают отраженья,
кладет морщины кисть дождя.
Все отраженья без движенья,
я – племя, племя без вождя.
Дороги нас разводят в стороны,
разлуки выбор добровольный.
Но стены брошенного города
удержит память горько, гордо.
Нет, мы нашли друг друга не случайно,
скрепили судьбы мы не чашкой чая.
Теперь уже бессильны расстояния,
но как жестоко расставание –
потерянного не вернешь назад.
Мы знаем – встретиться случается,
сместятся временем – объятия и взгляд...
И все-таки друзья прощаются.

Академгородок, 1964

ПРОЩАНИЕ

Рукой загорелой
(царапин полоски)
в кармашек ковбойки
«кукушкины слезки».
На память
кусочек вечернего неба –
метнулась лишь зелень
упругая следом.
Обуглится небо,
в кармашке завянет –
останется память.
Как в сказке:
камень, две дороги –
все впереди!
Но памяти осколок
впился зазубренным ребром.
Я бережно несу в груди его,
боясь потрогать.

1962



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Добрый, собачий нос звонка
осторожно рукой потрогал...
Долгие, пыльные дни, пока!
Оставляю вас за порогом.

Мне откроют, и я войду в полумрак,
скрипнет старый диван пружиной,
подмигнет из гостиной рояля лак,
и – в ладони тепло вложили.

Академгородок, 1962

АПРЕЛЬ

Апрель ударился о землю утром,
и прель земли под перламутром снега
вдруг ощутилась.

И ты кружилась
в плавном и весеннем танце
под кастаньеты почек.

Дороги, скованные глянцем
ушедшей ночью,
тянулись к солнцу.

Ты танцевала на дорогах
под снега тающего шорох.

Ты мне несла весны начало
и мне ручьями отвечала.

И музыкой капли ртутной
апрель ударился о землю утром.

Академгородок, 1962

НОЧЬ

Дышит ночь, как синяя корова,
лизет Землю теплым языком.
В шерсть густую стога лугового
врылся месяц сточенным клыком.

Я покоем распят в этой сини.
Полон мир серебряных подков.
И слегка затронул лунный иней
край нейлонно-легких облаков.

И не надо, ничего не надо,
не буди дождем обычных слов.
Рассыпают звезды мириады
тонких лучиков – мгновенных снов.

Академгородок, 1964

РОМАНС
(Катилене в дорогу)

Прости и уходи,
не надо больше слов,
не мне уже лечить твою усталость.

Прости и не гляди
ты на остатки снов,
на то, что от безумия осталось.

Не надо говорить,
меня ты не спасешь.
Любимых страстно убивают сразу.
Когда-нибудь поймешь,
не надо говорить
мне на прощание придуманную фразу.

Как прежде посмотри,
и обманись на миг.
Дай, как слепцу, лицо твое потрогать.
Прости и поцелуй,
сдержи рожденный крик,
дай твоего тепла с собою на дорогу.

Сними ладони с плеч,
прости себя, прости.
Любви для двух на свете не бывает.
Вдвоем не уберечь,
вдвоем не пронести,
один всегда под ношей погибает.

Академгородок, 1964

ЗАСТОЛЬНАЯ ГЕОФИЗИКОВ НГУ ВЫПУСКА 1966 ГОДА

Налей, налей зеленое вино
в дешевые, граненые стаканы.
Налей, налей – нам все равно,
мы все равно не будем пьяны.

У трезвых трезвость нам не занимать,
а души – это не карманы.
Мы будем наших женщин обнимать,
и все равно не будем пьяны.

За тех, в чьих жилах кровь, а не вода,
за вас, бродяги и смутьяны,
налей, налей – мы пьем до дна
и все равно не будем пьяны!

Налей, налей зеленого вина
в дешевые, граненые стаканы.
Налей, налей – мы пьем до дна,
и все равно не будем пьяны!

Академгородок, 1965

Зелёное вино

На-лей, на-лей зе-лё-ное ви-но в де-ше-вы-е,
гра-не-ны-е ста-ка-ны. На-лей, на-лей, нам всё-рав-но, мы
всё рав-но не бу-дем пья-ны! пья-ны!

СКАЗКИ

БАБОЧКА

(Африканская история)

Эта девочка родилась и жила в небольшом африканском селении. Я точно не помню его названия, селение находилось где-то в восточной части Центральной Африки, но зато я прекрасно помню историю и само девочку, которая затеяла ее.

Итак, я уже говорил, что селение находилось вдалеке от городов в бескрайней саванне. Вблизи от крайних хижин начинался довольно густой лес, где водилось немало львов и других зверей. В селении не было ни машин, ни генераторов, а из огнестрельного оружия имелось одно ружье, к которому давно кончились заряды, потому и шумно бывало только по праздникам, да в дни удачной охоты. Но зато в самой большой хижине находилась маленькая школа, где учились коричневые мальчики и девочки.

Учил детей не очень старый, но добрый и грамотный Учитель. Он тоже в свое время родился в этом же селении. Но ему кто-то помог уехать в Город, где он выучился на учителя, пожил там год или два, а потом вернулся в свое родное селение и стал учить детей. Учил уже три года, но не женился (к большому неудовольствию местных женщин), как это делают мужчины в его возрасте. Он был таким добрым, что казался старше своего настоящего возраста. Наверное, он и сам себя считал пожилым человеком и ходил, всегда сгорбившись и как-то неуверенно. Большинство жителей селения привыкли к нему и звали



просто Учителем. Но на собраниях старейшин племени, где обсуждались охотничьи, военные и другие житейские дела, его знания пока не пригождались, и Учителя не часто звали туда, поэтому он мог много времени уделять детям. Учитель старался научить их писать и читать, чтобы дети могли не только охотиться, как их отцы, или собирать корни, как матери, но и заниматься другими полезными делами.

Почти все дети охотно слушали Учителя, особенно, когда он читал им книжки про невиданных людей и зверей. Но больше всего мальчишки любили играть в войну и ходить со своими отцами на охоту, а девочки играть в «Дом», да пеленать деревянных кукол. Учитель терпеливо учил детей грамоте и любил всех, но часто ему приходилось, вздыхая, корить их за невнимательность или пропущенные уроки. Не раз он пытался убедить родителей не брать так часто мальчиков на охоту, а девочек каждый день отпускать в школу. Родители соглашались с Учителем, но для виду. Они ведь никогда не учились, и не знали, какая польза будет их детям от грамоты.

Может, так, потихоньку, и налаживалась бы новая жизнь, вытесняя старую, если бы не девочка по имени Анну. Она отличалась от всех жителей селения своим независимым характером и рассудительностью. Казалось даже, что она родилась где-нибудь в другой стране, такой передовой и смелой она была. Отец ее в свое время принимал участие в освобождении страны от поработителей, а когда страна стала свободной, вернулся домой. Но он занимался различными общественными делами и поэтому часто уезжал. Анну слышала от отца о событиях прошлых

лет, о том, что происходит сейчас в стране и о том, что надо делать для счастья всего народа. Однажды она даже ездила с отцом в далекий Город, где не только никто из детей никогда не был, но и многие взрослые не видели его. Так что и среди мальчиков у Анну был авторитет, потому что она больше всех знала про войну. А еще, у нее у единственной было белое платье. С пышной короткой юбочкой, открытой шейкой и рукавами фонариками платье было таким красивым, что когда Анну одевала его по праздникам, жители смотрели на нее, как на картину.

Анну ужасно любила всяческие торжества. Глупо надевать единственное белое платье каждый день, зато в праздники она наряжалась и сама себе казалась совершенно другой. Вы только подумайте, в селении, где правят старейшины, где женщинам пока не позволялось быть на собраниях и обсуждать законы, эта девочка могла приходить и заявлять собранию старейшин о маленьких правах всех детей селения. Может быть, старейшины терпели эти визиты из-за ее ученого и сильного отца, а может быть, старым неграм было приятно, когда в их скучной полутемной хижине появлялась Анну вся в белом, как бабочка.

Однажды, на совете старейшин решали, как задобрить старого Льва, который в последнее время стал пугать женщин в лесу, разгонять дичь на местах охоты и задирает домашних животных сверх меры. Этот Лев, как и его отец, дед и прапрадед, жил близ селения, и все жители его боялись и уважали. Боялись, потому что Лев был громадным и забирал регулярно часть стада, принадлежащего жителям, уважали, потому что львы издревле считались покровителями



племени. Ни один из обитавших вблизи никогда не убивал людей из селения, но в последнее время Лев, которого знали уже лет пятнадцать, стал сварливым и даже опасным. Жители не могли понять, чем разгневали своего покровителя, хоть и догадывались, что Лев постарел, что у него есть маленькие львята, и он беспокоится за них. Ведь кто-то из его детей в будущем должен стать хозяином этих мест. Как быть маленькому племени? Мудрые старики и опытные воины сидели в полутемной хижине и не могли придумать, как умилостивить или окоротить нервного хозяина. Были, например, предложения от колдуна: принести Льву внеплановое жертвоприношение, заодно и богам, чтобы колдун основательно поговорил с ними и попросил о помощи. Но, во-первых, Лев и сам драл скотину, когда хотел, а во-вторых, события революционных лет несколько поколебали веру людей во всемогущество богов, хотя вслух никто в этом не признавался. Были предложения и от воинов: заманить Льва приманкой-козленком в сетку или ловушку, и если не убить, то сильно поранить. А Учитель вообще предложил обратиться за помощью к отцу Анну, который через своих революционных друзей мог пригласить стрелков, вооруженных не только дальнобойными ружьями, но и пулеметом. Впрочем, эти опасные и не очень умные идеи были отвергнуты. Уничтожать Льва старейшины категорически отказались. Они-то знали, что Лев не успел подрастить себе настоящую смену. А если край останется без хозяина, то начнется такое, что не только люди, но и боги не поймут, как жить дальше, кому приносить жертвы, а кому дань платить, где охотиться без опас-

ки, и кто защитит их от чужих львов. Думали, думали три дня, и придумать ничего не могли.

В тот день в школе уроки закончились поздно, потому как начинались в конце дня. Днем стояла жара, и никакие знания не укладывались в голове. Днем можно было только купаться или спать в тени. Уроки закончились, и учитель сразу ушел на Большое Собрание. Но школьники не разбежались по хижинам, а расселись в прохладной темноте возле школьного крыльца и несмело передавали друг другу новости, которые им удавалось узнать от старших братьев или отцов. Последней из школы вышла Анну. Она прибирала в классе, как всегда по своей воле, потому что любила чистоту и не дожидалась, когда наступит ее очередь быть дежурной по классу. У нее было прекрасное настроение, но когда Анну увидела молчаливых и оробевших школьников, своих товарищей, сердце ее затрепетало от желания сделать их храбрыми и решительными. Она остановилась на крыльце, взмахнула рукой, правда, в темноте это мало кто заметил – рука у нее тоже была темная, но звонкий голос заставил встать почти всех детей, сидевших на корточках и на траве.

– Как вы можете бояться Льва? Почему вы думаете, что он Бог и покровитель нашего племени? Так говорят все родители? Но они выросли в старое время. А сейчас молодым мужчинам должно быть стыдно... – Анну хотела сказать что-нибудь обидное для мальчиков, но вспомнила отца и продолжила, как продолжил бы он: – Мы разбили наших угнетателей, которые во много раз сильнее Льва, и стали жить свободными. Так почему же мы должны бояться зверя?

Школьники молчали.

Тогда Анну решила:

– Завтра я сама пойду ко Льву и скажу ему, чтобы он прекратил пугать наших детей и женщин и без причин наскокивать на охотников.

От изумления и испуга школьники не могли произнести ни слова в ответ. Только маленький негренок из первого класса пропищал:

– А если он тебя съест?

Сжалось сердце Анну, но она ответила твердо:

– Он не имеет на это права! И я ему об этом завтра скажу. Вот увидите!

И чтобы не слушать новых возражений, она быстро спустилась с крыльца и ушла к своей хижине. Обсуждая слова Анну, дети тоже разошлись по домам, и вскоре уже все в селении знали о безрассудных словах смелой девочки. Из всех детей только маленький мальчик из первого класса не пошел сразу домой, он вприпрыжку помчался к Большой хижине, где проходил Совет. Мальчику очень нравилась Анну, и он живо представил себе, как будет ему плохо жить на свете, если Лев ее съест. И хоть сердце колотилось от страха и волнения, он нашел щель между листьями в стене Большой хижины и шепотом позвал своего Учителя. Испросив у старейшин разрешения, Учитель вышел к ребенку. Он увидел полные тревоги глаза мальчика и не стал ругать его за нарушение порядка, а выслушал и проводил домой.

На Совет Учитель не вернулся. Он понимал, что в душе его любимой ученицы поселился неукротимый дух отца, и Совет старейшин едва ли сможет укротить его. Учитель присел у входа в свою

одинокую хижину, закурил трубочку и так просидел, не двигаясь, все время, пока в селении не заснули. Но как только все вокруг затихло, учитель осторожно направился в черные, затаившиеся заросли. Он шел охотничьей тропой к месту ночлега львов и думал:

– Может быть, мне посчастливится встретить первым старого Льва, и я выскажу свою просьбу? Можно даже попытаться убить его, но он наш покровитель! Это навлечет беду на все племя. Нет, я не нарушу закона предков. О Боги, не покиньте меня!

Вдруг страшный рев остановил Учителя. Он сразу узнал властный голос старого Льва. Учитель торопливо заговорил:

– О, повелитель леса и покровитель племени, я осмелился придти к тебе, чтобы просить за маленькую девочку. Она завтра утром собирается найти тебя и попросить, чтобы ты не пугал наших женщин и детей, не мешал охотиться мужчинам и не драл наш домашний скот. Но кому же в голову придет такая дерзость, кроме как маленькому глупому ребенку? Ты же понимаешь. Ты прости ее. Мы принесем тебе и твоей семье много даров и покорно просим не убивать нашу глупую, всеми любимую девочку. Убей лучше меня, если...

Лев зарычал, прервав причитания Учителя:

– Я могу раздавить тебя как жука! Я могу разорвать тебя как козленка! – вообще-то он не собирался этого делать. Во-первых, худой старик не вызывал аппетита, во-вторых, от него пахло табаком, в-третьих, убивать немощного человека было ни к чему. Правда, припугнуть стоило.

– Молись за мою удачу и подаренную тебе жизнь – с утра мы загнали антилопу. Я и моя семья настолько сыты, что мои мальчишки и их мать не вышли сегодня на охоту. Убирайся к себе домой и научи эту девчонку законам леса, перед которыми должны трепетать и звери и люди. Научи ее так, чтобы запомнила на всю жизнь, иначе жизнь ее окажется слишком короткой.

Проревев это, Лев скрылся в чаще.

Учитель встал с колен и, шатаясь, побрел домой.

К рассвету он добрался до своей хижины. Трясущимися руками набил трубочку и, продолжая плакать, прилег на жесткую циновку.

– Боги, как слаб человек!

Наутро все в селении знали о немислимом решении Анну. Неужели она так и поступит? Мужчины, даже не пошли на охоту и слонялись между хижин. Дети собирались кучками и галдели, споря «пойдет она или не пойдет». Женщины, как всегда в это время, готовили еду, но поминутно выходили или выглядывали из хижин. Только Учителя и Анну нигде не было видно.

Но вот разом стихли шум и разговоры. Все увидели, как Анну вышла из дома, и следом за ней плачущая мать. Девочка обернулась к ней, сказала какие-то успокаивающие слова и, не останавливаясь, направилась на утоптанную площадку посреди хижин, где проходили все праздники. Непостижимо быстро там оказались большинство ее соплеменников. Они сгрудились посередине площади и молча смотрели на идущую к ним Анну. За их спинами уходила в лес основная тропа, и похоже было, что жители селения

решились ни за что не пустить Анну в лес. Не сбавляя шаг, девочка решительно приблизилась к толпе. Она была в своем белом платье, такой белизны, что при солнечном свете на него смотреть было больно.

– Я пойду к Льву и от имени жителей селения скажу ему все!

Люди молчали, и Анну добавила:

– И не беспокойтесь за меня. Теперь мы будем жить по-другому!

Тогда люди молча расступились, и Анну пошла по направлению к лесу. Никто не удерживал ее, не уговаривал вернуться. Старейшины тоже молчали. Может, им было стыдно за свой страх, а может, они думали, что в девочку вселился злой дух. Негритенок из первого класса неуверенно проковылял за ней несколько шагов и остановился. Все смотрели ей в след. Анну уходила все дальше по тропе. В сумраке густых деревьев уже нельзя было различить ее коричневых рук и ног, и казалось, что это большая белая бабочка, трепеща крыльями, улетает в глубину леса.

А Лев пребывал в отвратительном настроении. Уже светлело небо, а он все еще не спал, все бродил между кустами и деревьями, тяжело опустив голову. Не нравился он себе, совсем не нравился: пропустил ночную охоту, опустился до разговора с каким-то сморщенным жуком, а тут еще к нему, Льву, собирается явиться какая-то девчонка. Подумать только – для «переговоров»! Какой пример он подаст львьятам, что подумает о нем львица? И самое неприятное, Лев не мог четко сообразить, как вести себя дальше. «Нет! – думал он. – Только злость, настоящая злость может восстановить мое душевное равновесие». Он ходил все

быстрее, иногда резко вскидывал голову с глухим рычанием. «Пусть только явится, – продолжал яростно думать он, – прихлопну, как муху. Сегодня же переломаю хребты пяти коровам, а по пути такое натворю, что кровь остановится в жилах у этих людишек!»

И все-таки, окончательной уверенности Лев не чувствовал.

– Так не годится! Необходимо лечь и поспать. В голове нет ясности – сплошной шум. А голова не для того, чтобы сомневаться, а чтобы повелевать.

Он покрутился в поисках удобного места и лег, вытянув передние лапы. При этом он с удивлением заметил, что в то время, как тело его закрывал большой куст, передние лапы высунулись слегка на тропинку, почти на том же месте, где встретил его прошедшей ночью глупый, дрожащий человек. Видимо, Лев успел заснуть, потому что легкие шаги босых ног послышались почти рядом. Он выскочил из-за куста на тропинку. Не привыкшие к свету глаза различили ослепительное белое пятно, буквально в пяти шагах. Мгновение спустя Лев увидел глаза маленькой девочки. И услышал звонкую уверенную речь:

– Лев, я пришла от имени всего нашего племени сказать тебе...

Не помня себя от возмущения, Лев заревел во всю глотку, его мышцы напряглись и изготовились к прыжку, желтые, полные ярости глаза встретились с черными, не сморгнувшими, глазами дерзкой девочки. И внезапно в горле у Льва ужасно пересохло. «Разве жертва такой бывает? – мелькнуло у него в голове. – Почему она не боится? Где ее страх, где мольбы о пощаде?»

– ...Мы больше никогда не будем жить так, как жили прежде!

– А как будете? – чуть не спросил эту козьявку Лев. Мысли его скакали и метались. Может, я простудился, даже подумал он. Она же ничего не понимает в жизни! Не понимает, что одним ударом лапы я сломаю ей хребет, разорву на части. Он так думал, а в горле у него кололо. И постепенно мышцы сами собой расслабились, хвост повис, Лев судорожно зевнул и ушел в чашу.

Откровенно говоря, мало кто в селении ожидал возвращения Анну, но и оплакивать ее еще было рано. Только первоклассник носился от края селения к лесу, заглядывал в его сумрак и мчался обратно к хижинам. И вдруг, раздался его крик: «Анну идет к нам! Она жива-а-а-я!!!» Жители поспешили к тропе, кто-то поверил, что Анну возвращается, а кто и нет. Но вот все увидели, что из глубины леса показалась Анну. Она бежала так быстро и легко, как будто большая белая бабочка летела к селению.

На три дня в школе отменили все занятия, три дня продолжался праздник. Все в селении поверили, что Анну говорила со Львом, ведь за три дня не пропала ни одна корова, хотя женщины видели в зарослях львицу с львятами, а кто-то из охотников слышал ворчание самого Льва. На третий день праздника приехал отец Анну. Он привез скромные подарки: табак в пачках, припасы к ружью, еще какие-то хозяйственные мелочи. Все это в большой коробке вручил главному из старейшин, чтобы тот по справедливости разделил их между жителями. Конечно, со всех сторон ему рассказывали об отважном поступке Анну.

И отец при всех сдержанно похвалил ее за смелость. А потом объявил всем, что скоро в селение привезут маленькую, но настоящую электростанцию, и тогда в селении начнется другая жизнь.

А Лев лежал в уютном углублении на краю большой поляны, мордой к лесу. За его спиной резвились львята. Когда им это надоедало, они валились на сухую траву, и до льва доносилось их приглушенные рыканья:

– Да, постарел отец...

– Что и говорить, сдает старичок, не прихлопнул безоружного туземца...

– Да и девчонку не смог проучить. Мог бы нас позвать – справились бы сами...

– Ну, ничего, подрастем, наведем порядок...

– Глупые котята, – слушая их болтовню, думал

Лев. – Вы никогда не узнаете, что именно я увидел в глазах маленькой девчонки. Похоже, в самом деле прошлой жизни приходит конец. Я здесь последний Лев. Я царствовал и знал вкус власти, а вы уже не будете царями, даже свободными львами едва ли останетесь. Бедные котята...

И Лев заворчал от огорчения и жалости.

Шикотан, 1968

НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Самые лучшие новогодние сказки – веселые, и концы у них счастливые, но эту грустную сказку тоже нужно кому-нибудь рассказать. Так тоже бывает.

В большом, спокойном лесу, где снег зимой никогда не был разлинован лыжами, а ягоды и грибы летом

собирали лишь птицы да звери, жила сосна, совсем юная, с нежными, пушистыми ветвями и тонким золотистым стволом. Только нынешней осенью ее перестали называть «молодой порослью». Она так выросла за лето, что превратилась в Юную Сосну с нарядом и прической, как у взрослых. Наконец-то, наконец-то, как у взрослых! Хотя совсем недавно она была похожа на мохнатый шарик с косичкой, торчащей вверх, и ее бдительно опекали старые сосны. Они прикрывали ее широкими лапами от палящего солнца и шлепали приговорно сердито, когда она высовывалась на холодный ветер. Маленькой сосне всегда хватало тепла, света и сказок, которые рассказывал ее прапрадед, большой Обгорелый пень, самый древний в лесу.

И вот наступила удивительная осень. Все дольше, нахохлившись, спали старые сосны, – не радовали их приближающиеся холода. Примолкли птицы, поскучнела лесная жизнь, и только Юная Сосна не горевала. Она могла не спать хоть до полуночи и слушать шуршание падающих листьев. Все вокруг удивляло и радовало ее, словно она впервые увидела лес. Она полюбила раскачиваться без усталости в порывах дождя и ветра и осыпать брызгами опавшие цветы. Ей нравилось слушать завистливый шепот полуголых осин, разглядывавших ее дивный наряд. Она благосклонно принимала багряно-золотистые дары грустных, влюбленных кленов. Подолгу смотрела на свое отражение в зеркале осенней лужицы и наслаждалась своей молодостью и красотой. Прощались и улетали последние журавли, покрылось резной крышкой зеркало – лужица в ложбинке. По утрам заиндевелая трава светилась и переливалась в лучах остывающе-



го солнца. И однажды ночью с необычайно светлого неба на лес тихо упал снег.

Это пришла зима. А с ее началом в лесу поселились извечные супруги: деловитый крепкий мороз и ветреная, нервная метель. Сколько живут бок о бок – столько и ссорятся, и редко появляются вдвоем в одном месте. Жителям леса больше по душе морозные дни. Тогда светло и спокойно в лесу. Мороз похозяйски расхаживает между деревьев, поскрипывая крепким настом, наводит порядок и красоту. Не жалеет красок на зимний день: розовым – утреннее небо, золотом – стволы сосен, синим отливом – снег на закате дня. А морозные ночи – с ослепительно яркими звездами, низко подвешенными в непроницаемо черном небе. Но вот если Метель... Страшно вспомнить, какой она, порой, врывается в лес – мутная, злющая, непредсказуемая. Не то воет, не то поет и хрипло, и визгливо, задирает одежды сосен, может сломать ветку, а то и вовсе свалить. В непонятной ярости устраивает такую снежную кутерьму, что Обгорелый пень только свистит от удивления. Но случаются и такие дни, когда Метель можно увидеть кроткой и нежной. Легким вихрем снежинок она неожиданно возникает на лесной поляне, и начинает неслышный танец. Плавно изгибаясь и кружась, Метель обходит поляну и приглашает всех к танцу. То обовьет ствол сосны, рассыплется снежной пылью и пропадет, то появится вновь, перебежит пуховую поляну и не оставит следа, а в тех местах, где она особенно долго и самозабвенно кружится, остаются пушистые холмики снега.

Только-только посветлело небо, а Юная Сосна уже проснулась. Она протерла запорошенные глаза,

осмотрелась – нет, платье не помялось за ночь, ведь сосны спят стоя, – повела затекшими ветвями.

– Здравствуйте...

– Ой! Кто это?

Сосна с удивлением увидела под своими нижними ветками снежный холмик.

– Откуда ты такой?

– Как откуда? Я же Сугроб. Ночью сюда наведывалась Метель. Она мечтает стать царицей какого-то новогоднего бала, потому почти до рассвета пела и разучивала танцы. Посмотри, сколько сугробов намела. Так и я появился. Неужели ты ночью ничего не слышала?

– Она танцевала всю ночь... – прошептала Сосна. – Какая счастливая...

И, обращаясь к Сугробу, проговорила:

– А мне всю ночь снились ветер и незнакомое, бесконечное небо. А я кружусь, лечу, сама не знаю куда. Может, это я танцевала во сне?

– Не знаю. Мне пока ничего не снилось, – вздохнул Сугроб. – Я же только что появился.

– Какой ты забавный! – рассмеялась Сосна. – Смотри, смотри, вся моя родня просыпается. Сейчас я представлю тебя им.

Новый житель леса ничем не нарушил размеренной жизни леса. Да и новым он был только для Юной Сосны. Взрослые Сосны снисходительно на него поглядывали, да жалостливо вздыхали, глядя, как новые друзья о чем-то подолгу разговаривали. Многозначительно кричал Обгорелый пень. Ведь не знал бедный Сугроб, что не снится ему ничего потому, что у него нет прошлого.

О чем только не переговори́ли новые друзья в первые дни знакомства! Юная Сосна рассказывала о своем беззаботном детстве, о том, что она любит весну, восходящее солнце и ландыши, и терпит мокрый снег и муравьев, какие звери и птицы живут у них в лесу. Сугробу о себе нечего было рассказать, зато он знал все лесные новости и старательно их запоминал, чтобы утром передать Юной Сосне. Ведь сугробы не спят ночами, а ночью в лесу событий ничуть не меньше, чем днем. Но самое главное, он слушал на рассвете, как в запутанных кустах снегири читают стихи. Это была звонкая поэзия! Сугроб старательно запоминал стихи, а потом медленно, с чувством пересказывал их Сосне. Каждое утро терпеливо ждал, когда проснется Юная Сосна. Тихонько, чтобы не разбудить ее, измерял высоту своего роста. В короткое время он подрос выше нижних ветвей Сосны, и очень надеялся вскоре стать ростом не ниже ее. А Сосна так привыкла к Сугробу, что уже не представляла себе, как можно проснуться и не услышать: «Доброе утро! Я рад твоему пробуждению», и не рассказать Сугробу свой сон, не погрузить под снегирины стихи.

А дни летели.

Они летели, как снежные хлопья.

– Раз, два, три... – бубнил в тишине Обгорелый пень. – И еще немножко...

– Деда, ты это о чем? – встрепенулась Юная Сосна.

– Вычисляю, сколько дней до Нового года осталось.

– Ну, и сколько?

Не ответил внучке Обгорелый пенёк и снова принялся считать дни. Вычислять не очень-то просто, даже ему, древнему и опытному пню. Сосна не очень на него обиделась. Подумаешь! Но стало грустно, и она принялась мечтать вслух. Ах, как хотелось бы ей стать такой, как Метель, гибкой, обаятельной и грозной. Правда, нет у Метели стройного ствола и пахучего зеленого наряда. Но если бы она превратилась и стала сразу и Метелью и Сосной! Ну, почему такое невозможно?

Что мог сделать для нее верный Сугроб? Он только слушал и сочувственно вздыхал.

– Вот, если бы... – говорила Сосна, и вдруг что-то совсем близко пронеслось мимо нее, вернулось, закрутилось вихрем на одном месте. Сосна с любопытством всматривалась, но ничего различить не могла. Только когда вращение вихря замедлилось, верхняя часть его расширилась и Сосна увидела глаза удивительной синевы, густые брови, затем все лицо и голову с копной светлых волос, плечи в дымчатой накидке и обнаженные сильные руки. Всю остальную часть тела скрывал крутящийся вихрь. «Он улыбается мне глазами, как будто давно знает меня, – удивилась Сосна. – Но я никогда его не видела. Кто он?»

– Меня зовут Ветерок, – представился незнакомец. – Едва ли Вы знаете меня. Я недавно в этих местах. Но наверняка вы знакомы с моей мамашей. Ее зовут Метель. Ее здесь все знают.

– И я знаю, – робко сказала Сосна. – Она сейчас танцует в поле. Говорят, там будет праздник...

– Верно, я только что удрал оттуда. Ужасная скука! Я не могу высидеть и дня в обществе взрослых.

Эти пожилые метели только и знают, что разговаривать о нарядах, знакомых да детях или намечают праздничные столы. А мужчины-морозы режутся в карты в ожидании праздника, да посасывают винный лед, как будто в праздники они будут делать что-нибудь совсем другое.

– А где же ваши друзья?

– Разве вы не знаете? У нас еще не начались каникулы. Вся молодежь сидит по интернатам, а я сбежал на неделю раньше. Мы учимся в разных местах мира – в Антарктике и в Сахаре, на Северном полюсе и на островах Атлантики. Там заслуженные мастера передают нам свой опыт. Кроме того, там просторно, и есть где попробовать свои силы. Но почему все я, да я говорю? Каким болтуном я вам кажусь. Отчего Вы совсем замолчали?

– Мне кажется, кто-то вас зовет...

– Ну, конечно! Это матушка разыскивает меня. Ох, и тяжело бывает с родителями, тем более, что я совсем отвык от опеки. Хотя, что скрывать, за время учебы успеваю крепко по ним соскучиться. Что ж, придется лететь. Но я вернусь завтра утром и буду слушать только Вас. Обязательно-о-о-о ! – издали прокричал Ветерок.

– Странный он какой-то, – думала Юная Со-сна. – Но слушать его интересно. Пообещал завтра прилететь. Хорошо-то как! Хорошо родиться в родном лесу, быть молодой и красивой, всеми любимой, смотреть в глубокое небо и ожидать чего-то необъяснимого и прекрасного.

– Ну, как он тебе понравился? Привлекательный, но, в общем, поверхностный, да? Или я ошиба-

юсь? Ни секунды не стоял на месте. У меня до сих пор в глазах рябит.

Сосна не поддержала разговора, и Сугроб обиженно замолчал.

А на следующее утро... Ну, конечно, Юная Сосна сделала вид, что ее интересует все на свете, только не обещанная встреча.

– Ах, это вы? Здравствуйте.

– Доброе утро! Неужели я вас разбудил? – смутился Ветерок. – Я могу вернуться попозже...

– Нет-нет, я уже проснулась! – в свою очередь заволновалась Сосна.

– А я, знаете, не спал всю ночь. У меня и раньше случались бессонные ночи, – обрадовано сказал Ветерок, – и тогда я читал или бродил до рассвета, а затем спокойно засыпал. А в эту ночь я думал о нашей встрече. Я даже представлял, как...

– Милая моя, ты уже умывалась, – многозначительно пропела Тетушка-сосна.

– Да, конечно, тетя, – заглушая смятение, откликнулась Юная Сосна.

– А вы как спали? – чуть слышно спросил Ветерок.

Да разве возможно было сознаться, что и она заснула только к рассвету.

– Я чудесно выспалась!

Ветерок не нашелся, как продолжить разговор и замолчал.

– Расскажите-ка мне, пожалуйста, чем вы занимаетесь, как проводите время, что вас интересует? – спасая положение, спросила Юная Сосна тоном хорошо воспитанной девушки.



Ветерок оживился, начал лихорадочно вспоминать свои подвиги, невероятные случаи, но не находил ничего достаточно интересного и значительного.

– Да я ничем особенным не занимаюсь. Когда маленьким был, носился по полям, радовался и расстраивался по пустякам. Когда подросток, делал всякое. Опылял цветы, вытачивал скульптуры, крутил мельничные крылья и флюгеры, таскал по морям тяжеленные суда, наметал снег на поля – всего и не перечислишь. Не говоря о том, в какие проказы и авантюры мы пускались с друзьями. Но главного в жизни я еще не нашел. Люблю забираться в незнакомые места или на морских просторах раскачивать волны. Как говорит мой отец, «кручу хвосты дымам». Вот, как и в прошлый раз, я только о себе говорю, – огорченно продолжил Ветерок. – Откуда у меня такая несдержанность?

– Рассказывайте, мне интересно.

Но тут встрял в разговор Сугроб:

– Так вы рискуете прожить совершенно бесцельную жизнь. А не кажется ли вам, что все ваши прекрасные мысли это лень-матушка.

Бедный Сугроб! Изо всех сил он старался сдержаться, но обида душила его. Разве не он стоит в этом лесу с начала зимы и считается здесь своим? Разве сварливые тетки-сосны не говорят о нем: «Молодой, а какой рассудительный»? Сам Обгорелый пень расположен к нему, потому что Сугроб может выслушать сто его историй и не заснуть, когда старик мается ломотой в корнях. А для кого он учит снегириныные стихи? А новости? Все для нее одной, все для нее! А она...

Не дав Ветерку ответить, Сосна раздраженно обратилась к Сугробу:

– Что это с тобой сегодня? Ты никогда не был таким.

– Да прав он, – грустно заметил Ветерок. – Так же мне и родители говорят.

– Не слушайте его! – почти закричала Сосна. – Он чужие слова повторяет! Лучше вы что-нибудь расскажите.

Но разговор не задался. Ветерок попрощался и улетел. Юная Сосна примолкла, погрустнела, и без слов было ясно, что лучше оставить ее наедине с собой. А Сугроб страдал: «Боже мой, как нелепо я нагрубил! Как мог я обидеть ее? А если она не простит мне? Что же я буду тогда делать?»

Но напрасно Сугроб горевал. В предпраздничные, заполненные приятными заботами дни, не было места мелким обидам. Юная Сосна уже не притворялась, что не ждет встреч с Ветерком. Она счастливо смеялась, когда он прилетал к ней, смотрела на него сияющими глазами и хорошела сама под влюбленными взглядами. Она давно все простила Сугробу и, как прежде, велись между ними дружеские беседы. Разве что Юная Сосна бывала теперь часто рассеяна и меньше, чем прежде, уделяла Сугробу внимания. Он же, хоть и переживал, но виду не показывал и жил надеждой, что случится однажды что-нибудь такое... И поймет Юная Сосна, что нет для него на свете никого, кроме нее... Да вот признаться в этом Сугроб никак не решался. Переживали за него старухи-сосны, сочувствовал Обгорелый пень. Чем еще можно помочь? А Сосна и Ветерок были полны друг

другом и счастливы, и им казалось, что все вокруг тоже счастливы.

– Сегодня последний день старого года. Что у нас делается – ужас! – возбужденно рассказывал Ветерок. – Вот сейчас – слышишь? Это наши репетируют новогодний концерт на танцевальном поле. И мои друзья там. Все-таки нет праздника лучше Нового года!

Заметив, что Сосна погрузилась, он наклонился к ней и горячо зашептал:

– Хочешь, я не пойду на праздник? Мы будем встречать его здесь вместе. В полдень я полечу в-о-о-н к той звездочке и в полночь вилету ее в твои волосы. И не будет прекраснее сосны во всех лесах! Только ты ожидай меня.

Он наклонился совсем близко и повторил:

– Ты будешь ждать меня?

– Да... Хоть вечность... – задыхнулась от нахлынувшей любви Юная Сосна.

Ветерок легко прикоснулся губами к ее чудесным волосам и умчался в поле.

А потом пришла долгожданная Новогодняя ночь! Какой добрый волшебник придумал эту ночь! Есть множество праздников в разных странах, у разных народов, на одних отмечают победы, на других вспоминают героев. Но только Новый год празднуют все и радуются беспричинно. Новый год обходит Землю, как рассвет, не забывая никого, и дарит надежды на исполнение желаний, на счастье. Дети в нетерпении торопят ночь – утро Нового года обрадует их подарками, а взрослые всю ночь звенят бокалами и веселятся, позабыв о заботах.

О, что творилось в лесу в Новогоднюю ночь! Если до полуночи многие еще поспешно готовились к празднику, и шуметь было некому, то после наступления заветного часа смены года поднялся невообразимый гам. Зашумели Сосны, поздравляя друг друга и всех соседей, белки, зайцы и мыши с писком и визгом уселись за общий стол, уставленный зимними запасами. Волки и лисы угощались сушеными грибами и ягодами. И все хохотали так, что из берлоги высунула голову Медведица и попросила вести себя потише, чтобы не разбудить маленьких.

А потом пришли в лес Метели и Морозы со своими чадами. Они поздравляли жителей леса с Новым годом, обсыпали их конфетти из отборных снежинок, пели и танцевали. Веселились долго, лесные жители даже устали – где им угнаться за хозяевами зимы! А те попрощались и двинулись танцевать в чистое поле. Обгорелый пень затянул было старую песню, да заснул. Поскрипывали старухи-сосны во сне. В темноте тяжело вздыхал Сугроб. Тихо стало в лесу, лишь из далекого поля изредка доносились обрывки музыки. А Юная Сосна и не собиралась спать. Она ждала и ждала, поглядывала на далекую звезду, надеясь вот-вот увидеть летящего к ней Ветерка.

«Я его обязательно дождусь, – думала Сосна. – Ведь он обещал прилететь». Она поводила ветвями, оправляя свой наряд, и опять всматривалась в звездную черноту неба. «Почему он так долго не возвращается? Напрасно я согласилась с ним. Лучше бы он не улетал, а остался со мной. А может быть, он забыл,

что обещал вернуться?» Ей стало холодно и одиноко. Глаза слипались. Сосна зябко прижалась к Сугробу: «Я дождусь его, обязательно дождусь, только чуточку прикрою глаза... Как хорошо, что Сугроб всегда со мной... Такой добрый и верный... Может быть, Ветерок прилетит завтра...»

И так уснула.

А Сугроб тихонько укутал Юную Сосну.

«Вот так бы всю жизнь. Ничего мне больше не нужно», – с нежностью думал он.

Вдруг светлое облачко появилось на небе. Оно приблизилось, превратилось в косматый клубок, качнуло верхушки деревьев, и перед Юной Сосной опустился Ветерок. В руках его билась голубая звезда. Она то вспыхивала, то угасала, и резкие тени металась по снежной поляне.

– Я принес тебе звезду! Я не мог вернуться быстрее, пришлось далеко лететь. Почему ты молчишь? Разве я не так сделал? Милая, ответь мне!

– Только бы не проснулась! – в отчаянии молил Сугроб. – Я ей потом расскажу, что Ветерок прилетал. Скажу, что люблю ее больше жизни. И пускай она возненавидит меня, но я всегда буду рядом. А он, он ей не пара – никогда не найдет она с ним счастья».

Юная Сосна не откликнулась, а Ветерок растерянно повторял:

– Почему ты не хочешь отвечать? Ты меня больше не любишь?

Сосна сквозь сон слышала, что кто-то зовет ее, но никаких сил не было открыть глаза, так было тепло и уютно.

– Прощай... – тихо сказал Ветерок, и разжал руки, держащие звезду. Звезда, словно пузырек воздуха в глубоком омуте, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее понеслась к мерцающему своду.

«Прощ-а-ай!» – донеслось в последний раз издалека.

Юная Сосна встрепенулась, очнувшись ото сна, разом все поняла, рванулась на голос, но ощутила только тяжесть земли и снега. Боль сдавила ее сердце. Окликнуть? Может быть, услышит? Но горе ее было безмолвным, как ночь.

Спит зимний лес.

Стынут янтарные слезы на теплом стволе Сосны.

Холодный свет звезд вспыхивает в них голубыми искрами.

Новосибирск, 1960

ИСТОРИЯ ПРО КУЗНЕЧИКА

Смуглый Мальчик в голубых стареньких шортах лежал в траве и смотрел в небо. Трава жарко пахла, а в белесом от зноя небе громоздились облака. Сонно стрекотали кузнечики, шуршала трава. Сквозь стрекотание Мальчик слышал школьный звонок.

Школа, где он учился, была недалеко – если с этой лужайки пройти через картофельное поле, то упруешься в забор пришкольного участка, дальше через лаз в заборе, напрямик через кусты и клумбы выйдешь к парадному. Мальчик лежал на спине в высокой траве, которая закрывала все, кроме неба. Он уже окончательно решил не ходить сегодня на уроки, сколько бы там ни звонили.

Мальчику было лет двенадцать. Он был длинный, у него были узкие бедра и маленькие коленки, а когда закидывал руки за голову, под загорелой кожей обозначались гладкие ребрышки, как следы ряби на речном песке. Глядя в небо, как на поле боя, Мальчик сражался с громадным облаком, похожим сразу и на замок и на крейсер. Он подводил маленькие облака своего войска, вытягивал руку и беззвучно стрелял в грязно-желтый бок замка-крейсера, и вскоре уже дымились надстройки вражеского укрепления, медленно меняя свои очертания. Он увлекся игрой, но все равно его покалывала одна мысль. «А что завтра „классной“ сказать? Пропустить три урока – незаметно не получится. Надо что-нибудь придумать. Вот если бы...» И Мальчик представил, как он входит утром в класс в костюме космонавта. Прощается с ребятами и с девчонками, кивает всем, и классная растерянно смотрит на него. Она понимает, как была не права, но поздно, поздно: на школьном дворе сигналит черная «Чайка»...

В это мгновение в траве послышался слабый треск, и на грудь Мальчику шлепнулась какая-то штучковина. Не поднимая головы, сильно скосив глаза, он увидел – чуть выше солнечного сплетения сидел кузнечик. Небольшой, с глянцево-зеленой головой и черными глазками, он сидел и шевелил челюстями, как будто жевал или принюхивался. Первое, что пришло Мальчику в голову: поймать кузнеца, привязать к лапке нитку – пускай попрыгает. Он даже начал поднимать руку, но кузнечик неожиданно прыгнул чуть вперед, подобрал свои длинные ноги и замер. Теперь смотреть на него приходилось, силь-

но скашивая глаза. Мальчик легонько подул на кузнечика. Тот отвел усики назад, и Мальчику показалось, что тупая мордашка кузнечика с широко расставленными бусинами глаз приобрела хитрое выражение. «Хорошо им, – подумал Мальчик. – Они свободны. Раз, и прыгнул через куст. Два, и покачался на какой-нибудь травинке. Три, опять прыгнул».

Гигантские кузнечики в бесконечных прыжках смешивались в фантазиях Мальчика с Тарзаном, летающим на лиане, с птицами величиной с самолет, и с космическими ракетами. И вот он уже сам в полете, открывает кабину, прыгает, но не падает, парит в пространстве, как космонавт, только совсем без корабля и неуклюжего шлема. Восторг свободного полета захватывает дыхание. Мальчик даже приподнялся на локтях от возбуждения. И снова вспомнил про своего гостя. А кузнечик полз по гладкой коже, слегка цепляясь за нее острыми лапками. Потом, от испуга или неудобного сидения, прыгнул вверх и пропал в траве, как будто его и не было. Осталась только капелька темной смолки, которую кузнечик сронил с челюстей. Мальчик попытался стереть капельку пальцем и размазал ее на коже, понюхал палец и замер. Ему уже ничего не сочинялось. Он лишь ощущал, как удивительно легко и радостно его наполнили тишина, запах травы и свет неба.

Издали опять донеслось дребезжание звонка, звонка с последнего урока. Мальчик натянул на себя клетчатую рубашку, поднял сумку с книгами и побрел к школе. Он шел, опустив голову, хотя смотреть под ноги необходимости не было – знал дорожку, как облупленную. Шел и в который раз обдумывал свое

нелегкое житье-бытье. Сейчас, после окончания уроков, необходимо явиться домой – мама приходит на обед. Обедаем вместе – это закон. Сразу же: «Как у тебя дела в школе? Займись уроками, или каким-нибудь другим полезным делом до моего прихода с работы, а потом уж гулять пойдешь». А завтра, хочешь – не хочешь, опять в школу. И что придумать «классной», чтобы она сразу отстала? Еще целых две недели до экзаменов, а после – к бабке на лето.

Вообще-то у бабки неплохо, но сколько можно ездить в одно и то же место? А что если на поезде проскочить мимо... Мальчик неожиданно для себя остановился, как будто наткнулся на преграду. Он поднял голову, до забора еще оставалось метра четыре (он хорошо знал эту тропинку) и взглядом отыскал оторванную доску лаза. И тут, не успев даже подумать, что делает, он рванулся вперед, пробежал три-четыре шага и прыгнул. Ветки тополя мягко хлестнули его по лицу, и Мальчик очутился прямо в цветочной клумбе, уже за забором, и перед его носом торчали разноцветные гладиолусы. Он провел рукой по лицу и посмотрел на тополя. Ветка одного из них все еще раскачивалась. «Метра два с половиной до нее», – промелькнуло у Мальчика в голове. Странно ощущал он себя, как будто нырнул в глубину – все движения замедлились, звуки растворились в толще, и в то же время он хорошо слышал, как хлопали двери, как школьники с визгом и гамом вываливались во двор и расходились по домам.

Мальчик выбрался из клумбы и присел так, чтобы его не было видно со школьного двора. Невероятность произошедшего не укладывалась в голове. Он,

не отрываясь, смотрел на забор. «Как же я через такой перепрыгнул?» Мысли скакали бессвязно, но одновременно в глубине души возникала уверенность, что так бывает. «Хотя такая высота...» Мальчик посмотрел на белые доски, плотно пригнанные друг к другу, выше которых было только небо. Потом, все так же, не отрывая взгляда от верха забора, выпустил сумку, которую все еще сжимал под мышкой, и попятился. Ощувив под ногами твердость дорожки, выпрямился, рванулся вперед и снова прыгнул. Правый башмак слегка чиркнул по верху доски, а сам он свалился в картофельную ботву недалеко от забора. «Все равно перепрыгнул!» Радость обрушилась на Мальчика потоком, унося все разумные мысли. Он не стал размышлять, почему второй прыжок вышел похуже, но почувствовал, что еще раз прыгать не стоит. Отодвинул доску, протиснулся через дыру, поднял сумку с книгами и быстро пошел через двор к выходу.

Давно затихли мамины шаги, и щелкнул за стеной выключатель – мама заснула. Растворились вдалеке голоса поздних прохожих. Ночную тишину нарушал только шорох шторы, которую пошевеливал ветер сквозь открытое окно. Мальчик осторожно встал, натянул рубашку и шорты, выгреб из карманов мелочь и перочинный ножичек, отодвинул нижний край шторы и выскользнул через окно на улицу. Он шел уверенно и бесшумно. Без тяжелых башмаков ноги, обутые в домашние тапочки, сами несли его по асфальту. Этот путь был намечен Мальчиком еще днем. Конечно туда, к лесу. Только там он сможет поверить в свое необыкновенное и загадочное превращение. Он завернул за угол высокого кирпичного



дома, прошел в калитку и почувствовал под ногами мягкость земли.

Дома остались за спиной. Мальчик остановился. Пустырем или парковой зоной это место едва ли можно было назвать. Довольно большое поле, чудом еще не застроенное домами, где все, кому не лень, играли в футбол и выгуливали собак. С одной стороны поля столпились высокие новые дома, с другой – окопались частные домики, которые сейчас ночью растворились в темноте, и поле, казалось, простерлось до самого горизонта. Луна светила неярко и тепло. Звезды проглядывали сквозь пелену лунного света, и не было пугающей черной пустоты за ними. Мир безграничный и сияющий спокойно ожидал и принимал Мальчика и, казалось, обещал, что все его неясные фантазии сбудутся.

Мальчик поднял руки и оттолкнулся от земли.

Был ли это полет или плавное скольжение? Словно мягкое течение увлекало Мальчика. Он чувствовал, как свет проходит сквозь него, что он сам в одно и то же время – и мальчик, и свет, и упругий прохладный воздух. Вот тепло коснулось его ног, легкий толчок ногами – теперь он летел в сторону высоких домов. Видны были огни бакенов на реке, сигнальные огни на трубах и телевизшке, гирлянды фонариков вдоль центральных улиц. Опять наплывала теплая чернота земли, толчок – и полет нескончаем. Мальчик кружился, повисал в вышине. И странное дело, он понимал, что можно лететь и быстрее и выше, но сам не хотел нарушить чувство гармонии...

Внезапно он оказался у калитки темного дома.

Полусонный, пересек улицу, влез в окно, и, не раздеваясь, уснул.

Утро началось вполне обычно, разве что Мальчик проснулся раньше мамы, а такое случалось очень редко. Он ощущал себя так здорово, что успел умыться, повозиться с гантелями и собрать портфель, пока появилась мама. Мальчик внимательно посмотрел на нее. Нет, она ни о чем не догадывалась и не замечала ничего особенного. Спросив по привычке, как он спал, она, не ожидая ответа, принялась доставать что-то из холодильника.

Днем ночные полеты показались Мальчику просто фантазией.

Он шел по улицам и всматривался в лица прохожих. Они видели что-нибудь необычное в его лице, в его походке? Да нет. Никто не смотрел на него как-то особенно, только тайная радость наполняла его. Не буйная, рвущаяся наружу, а спокойная, ждущая своего часа. Мальчику вдруг захотелось слегка подпрыгнуть, пролететь вдоль тротуара над спешащими по своим делам прохожими, приземлиться метров через двадцать и, не оглядываясь, пойти дальше. Но он удержал себя, сознавая, как это получится чудно – мальчик, летящий над толпой озабоченных людей. Да они же бросятся с перепуга ловить его и вызовут милицию. А когда Мальчик зашел в класс, уселся за свою парту, в голову пришло: «А может, кто-то из ребят тоже умеет летать?» И тут же: «Может, мне все привиделось?» Ага, привиделось. А кто тогда перемахнул через высоченный забор? Да все бы попадали от удивления, если бы я перелетел через школу, а то и через мост, а то и... В этот момент математичка ехидно пропела:

«А за окном ответа на новые примеры нет!» Да-а, это точно, подумал Мальчик, и с отчаянной готовностью принялся переписывать с доски примеры на дробь. Занятия подходили к концу, а на уроке физкультуры, который был последним, произошли неожиданные события.

Мальчик сидел на одной из скамеек, которые размещались вдоль стен большого физкультурного зала. Вместе с другими учениками он ожидал своего «подхода» для прыжка в высоту. Учитель физкультуры, или Физрук, как его коротко звали, время от времени поправлял веревочку, которую натягивали между двумя стойками мешочки с песком, и что-то отмечал в журнале. Мальчик с интересом следил, как старательно прыгают его товарищи, и тревожно ждал своей очереди. Прыгать ему панически не хотелось, сказать точнее, он боялся прыгать, потому что совершенно не представлял, как это все произойдет и что будет потом. И когда Физрук назвал его фамилию, Мальчик неожиданно для себя уверенно сказал, что он растянул вчера ногу. Физрук задумчиво покивал головой, и разрешил уйти домой. Мальчик было поднялся, но почему-то снова сел на скамью. Он с удивлением замечал сегодня такое, на что раньше не обращал внимания. Вот Физрук перевешивает веревку на пять сантиметров выше, вот разбегается и прыгает очередной ученик. Как мучительно напряглись его мышцы, как натужно тянутся руки и шея к заветной веревочке. Мальчику казалось, что прыгун всеми силами только и старается отобрать у бесконечной высоты ее маленькую часть, отмеренную высотой веревки. Ему захотелось крикнуть: «Да не так! Свободней надо, свободней!..»

Прыжки закончились, и мальчишки перешли к брускам, которые стояли в дальнем конце зала, а девочки сгрудились в кружок у «шведской» стенки и, как всегда, самозабвенно что-то обсуждали. У стоек остался один Физрук. И тут Мальчик стремительно рванулся вперед и прыгнул. Как высоко он взлетел, оценить ему было трудно – сознание на миг отключилось, но когда он шлепнулся на мат, то тотчас увидел полуоткрытый рот и круглые, непонимающие глаза Физрука.

– Ты... чего... это?..

Мальчик испугался, но все же, запинаясь, ответил, что прыжками занимается давно.

Физруку стало легче, он выговорил:

– Самостоятельно занимаешься? И нога не болит?

Мальчик ответил, что болит, но не очень. Тогда Физрук сказал:

– Ты вот что... Ты останься после урока... Поговорить мне с тобой надо...

Он торопливо закончил урок, выпроводил ребят из зала, закрыл дверь на крючок и подошел к стойкам. Веревочку он повесил на высоте метр семьдесят и обратился к Мальчику:

– Попробуй прыгнуть.

Мальчик подумал: «Только бы не прыгнуть высоко, только бы сдержаться!» Но сдерживаться ему не пришлось, он преодолел высоту с совсем небольшим запасом. Физрук поднял веревку на метр восемьдесят, но мальчик и ее перепрыгнул. Так же молча Физрук принялся перевешивать мешочки еще выше, в глазах его мелькнуло диковатое сомнение. Но он справился с собой, поставил высоту два метра и хрипло скомандовал:

– Прыгай!

Странная вялость навалилась на Мальчика, вид провисшей веревки вызывал в нем усталость и отвращение. Он медленно разбежался, прыгнул, зацепил веревку и упал на мат. Но Физрук смотрел на него с неподдельным восторгом.

– Два метра... Куда же это, два метра... Ведь только двенадцать лет... Это же феноменально... – Он то похлопывал Мальчика по спине, то потирал ладони. – Значит, так. Тренироваться теперь будем отдельно. Время я тебе потом назначу. До конца учебного года меньше двух недель, а там спартакиада. Вот мы сюрпризик и преподнесем! Заберем кубок! А летом устрою тебя в спортлагерь.

Но когда прощались, Физрук предупредил:

– Только пока никому о тренировках. Это наш с тобой секрет.

Мальчик молча кивнул.

Дни теперь тянулись тягостные и однообразные. Тягостные от того, что тайна рвалась наружу, а доверить ее маме или даже друзьям Мальчик не решился. Он готов был рассказать о ней, но кому? А однообразные дни были потому, что каждый из них был ожиданием ночи, и все прежние привязанности и увлечения бледнели перед его ночными полетами. Каждый день любимыми путями Мальчик старался избежать встречи с Физруком. Если бы не конец года, имел бы он крупные неприятности с участием «классной», директора и наверняка мамы. Пока проносило, но в голове не было ясности. Мальчик с нетерпением ждал спасительных каникул. И все же каждую ночь вылезал в окно и уходил в мир, известный только ему.

В этот жаркий день Мальчик сдал последний экзамен. Он шел по опустевшему школьному двору. Мысленно он еще давал блестящие ответы на вопросы преподавателя, чего не было в самом деле, а в душе росла неясная тревога. Вдруг он увидел Физрука, который торопливо направлялся прямо к нему. Бежать было поздно. Как ни в чем не бывало, Физрук поздоровался с ним, и доверительно положил руку на плечо:

– Хорошо, что я тебя встретил. Идем!

И, не спрашивая согласия, подтолкнул к калитке.

Они вышли на улицу. Сперва Физрук задавал обычные вопросы про учебу, да про планы на лето, будто забыл, что предлагал поехать в спортивный лагерь. Мальчик односложно отвечал, и неинтересный разговор сам по себе прекратился. Они остановились перед деревянной оградой в крупную клетку, сквозь которую были видны корты, игровые площадки и стена бассейна. Мальчик знал, что это территория Городского спортивного общества, но внутри ее никогда не был, и сейчас с любопытством смотрел по сторонам. Он даже не сразу заметил, как Физрук скрылся в красивом деревянном здании. Мальчик оглянулся – до ворот было недалеко, но в это время на крыльцо вышел полный с лысиной человек в спортивном костюме. Мальчик узнал главного Тренера городской команды легкоатлетов. Физрук шел следом за ним.

– Ну, здравствуй, здравствуй, молодой человек! Значит, талантливый самоучка? Что ж, посмотрим...

Тренер пошел к площадке, где желтела яма с опилками, приглашая Мальчика и Физрука с собой.

Физрук на улыбку Тренера хмурился, а Мальчик думал: «Конечно, он ему все рассказал... Только ведь не о том первом прыжке... Эх, если бы можно было поговорить откровенно с этим добрым на вид толстяком... Нет, не получится... – Мальчик чувствовал, как его сковывают уверенные движения Тренера. Он догадывался, что тот уже определил его судьбу – прыгать через планку, хочет он этого или нет. И других предложений не будет.

Тренер сам положил на штыри стоек легкую планку.

– Давай-ка, покажи, дружок, на что ты способен.

Дрожащая планка... Желтые опилки,.. Ласковая просьба...

Мальчик сбросил сандалии, и, не глядя на планку, с короткого разбега прыгнул.

– Великолепно, малыш! Просто великолепно! Никакой техники, и какая прыгучесть! – Толстяк обратился к Физруку: – Сколько тренировок с ним провели? Только на уроках? Вот что, дорогие, никаких спортлагерей! Малыш едет с нами на сборы, на юг. – И, посмотрев на недовольное и вопросительное лицо Физрука, чуть снисходительно, но твердо добавил: – Школа дает нам кадры, а мы уж, как говорится, высшая школа. Тем более, что это юное дарование может стать достоянием не только нашего города, но и вполне возможно, всей страны. Ну-с, а теперь попробуем еще разочек...

Физрук нехотя двинулся к яме переставлять рейку. В тот же момент Мальчик быстро нагнулся, подхватил сандалии и бросился к открытым воротам. Он не расслышал, кричали ему что-нибудь вдо-

гонку или нет, слезы сами лились по щекам, всхлипывания прерывали дыхание: «Теперь все кончено! Ни в школе, ни в городе... Нигде нельзя появиться...» Мальчика охватило такое отчаянное одиночество, что ему захотелось забиться в какой-нибудь угол, закрыть голову руками, и ничего не видеть, ни о чем не думать. Только близость дома заставила его придти в себя. Дома – мама, она ждет его сегодня с экзаменов. Мальчик увидел ее на лавочке в маленьком палисаднике. Он надел сандалии, которые все еще держал в руке, тихо прошел в кухню и ополоснул лицо. Потом встал у мамы за спиной, осторожно обнял ее и попросил:

– Мама, мамочка, можно я сегодня уседу к бабушке. У меня все в порядке, я сдал все экзамены, нас уже отпустили на каникулы. Можно?

Мальчик сидел и смотрел в окно вагона. Умчались назад, к городу, длинные вереницы огней, потом стремительно пронеслись отдельные редкие огоньки, и вот за окном ничего не стало видно. Стекло приятно холодило лоб, и духота, и людской гомон, вязнувший в тусклом свете, не тяготили Мальчика. Все гнетущее, пережитое осталось позади. С мамой он не собирался расставаться надолго, все приобретенное было с ним, а впереди – полная надежд дорога. Не торопясь, Мальчик выпил стакан чая с мамиными пирожками и залез на свою любимую вторую полку. Поезд быстро и уверенно уносил его из сегодняшнего дня. Лежа на спине, Мальчик закрыл глаза и перестал чувствовать тяжесть могучей машины и своего тела. Они летели вместе в ночном небе.

С утра Мальчик опять сидел у окна за столиком бокового места, опустевшего за ночь. Он пил уже второй стакан чая и с нетерпением ожидал и вглядывался в каждый новый город, пытаясь что-то угадать. Про себя он решил твердо, что у бабушки появится попозже, а пока незаметно сойдет с поезда, но где и зачем – не очень себе представлял. Соседи по купе толковали вполголоса о нем, что, вот мол, какой любознательный и умный мальчик. А сам он все время думал, как бы обмануть бдительную проводницу, которой мама поручила присмотреть за сыном.

В полдень поезд остановился на небольшой станции. Из окна вагона виднелось большое деревянное здание вокзала. Всю его верхнюю часть скрывали кроны громадных лип. На пустом перроне стояли два-три человека, правда, по широкой деревянной лестнице с перилами, идущей от вокзала, спускались несколько пассажиров с узлами и чемоданами. Мальчик выглянул из тамбура и увидел свою проводницу, которая стояла спиной к нему у соседнего вагона. Тогда он быстро взял заранее собранный чемоданчик, прыгнул с подножки и, не оглядываясь, пошел к лестнице. Его никто не окликнул, и редкие пассажиры, идущие вниз по лестнице, не обращали на него внимания. Мальчик также быстро прошел через вокзальное помещение прямо к дверям с надписью «Выход в город». Ему открылась совершенно безлюдная привокзальная площадь с единственной, тоже необитаемой автобусной остановкой. Мальчик в нерешительности остановился. «Может быть, успею обратно?» – в смятении подумал он. И в это время раздался длинный гудок и приглушенный стук вагонов отходящего поезда.

На противоположной стороне площади Мальчик увидел старомодную тумбу, оклеенную афишами. Издалека можно было прочесть большое красное слово: ЦИРК. В афише сообщалось, что приезжий цирк дает последние три представления: сегодня днем – для детей, и вечером – для взрослых, но вечером билеты дороже, а завтра вечером – одно прощальное представление.

Городок оказался не маленьким, его низкорослые дома, почти полностью скрывались за густой зеленью палисадников и деревьев, высаженных вдоль бесконечных и по-деревенски тихих улиц. Редкие прохожие не могли толком объяснить, где в их городке находится цирк, и только махали себе за спину, мол, иди – там и найдешь. Действительно, вскоре Мальчик увидел выше деревьев на фоне голубого неба необычный светло-зеленый купол. Открытое пространство, на которое он вышел, оказалось слегка заросшим футбольным полем. Над ним возвышался не купол, а высокий брезентовый шатер, установленный на круглом деревянном основании. Шатер, похоже, давно не обновляли, он весь выгорел и даже был зашит в нескольких местах. На всем пространстве перед главным входом стояли, сновали, бегали друг за другом и непрерывно галдели представители разновозрастной молодежи, в тенечке стояли и сидели прямо на траве молодые и пожилые тетки с совсем маленькими детьми. Мальчик купил билет, аккуратно засунул его в кармашек рубашки, прихлопнул его ладонью, чтобы билет не вылетел оттуда ненароком и отправился к тележке с мороженым, которая стояла на краю поля в тени деревьев. Так, с чемоданчиком

и с мороженым он принялся расхаживать вдоль стены цирка так, чтобы центральный вход оставался все время на виду. На афишах прыгали звери, улыбалась отважная гимнастка, кривлялись размалеванные клоуны, но Мальчик ждал представления. Он никогда раньше не бывал в цирке.

Раздался первый звонок. Раскрылась дверь, из полутемного проема пахло прохладой и затхлостью большого нежилого помещения. Между тайной, скрытой внутри, и нетерпеливой толпой стоял уса-тый человек и проверял билеты. Мальчик немного волновался и не сразу нашел свое место на длинных лавках, которые ступеньками поднимались вверх.

Прозвучал второй звонок, и вспыхнул яркий свет. На арене появились люди в униформе и стали разворачивать ковровую дорожку. С этого момента Мальчик не отрывал глаз от арены, а все вокруг перестало существовать. С третьим звонком свет в зале потух, арена засветилась ярким кругом, а разноцветные лучи прожекторов, как гигантские спицы, начали перебирать темную пряжу безразмерного пространства. Под громкую и энергичную музыку на арену выходили артисты, возбужденные зрители приветствовали их щедрыми аплодисментами. Мальчик не раз слышал подробнейшие рассказы счастливых, побывавших в цирке, не говоря уж о том, что читал о цирке в журналах, смотрел в кино. Но сейчас он был ошеломлен таким реальным и в то же время сказочным карнавалом. Какими ловкими и красивыми казались ему все эти люди: в свете прожекторов, в разноцветных костюмах они без видимых усилий бесстрашно управляли своими телами. Все в их ис-

полнении выглядело обычно и необычно: обычно потому, что эти номера исполняли люди, значит, такие возможности есть у всех, необычно потому, что сразу становилось ясно, что сделать так никто, кроме циркачей, не сумеет. Мальчику нравились все: канатоходцы и прыгуны, жонглеры и фокусники, дрессированные звери, но особенно он ждал главного номера – полета под куполом цирка.

Мужчина и женщина в сверкающих костюмах легко выбежали на арену. К ним из темноты купола спустилась небольшая красная ракета и начала двигаться по кругу. Вначале мужчина и женщина бежали по арене, держась за ракету, затем ловко оседлали ее, продолжая все быстрее раскручиваться, как в люльке на воздушной карусели. Они летели по кругу, поднимаясь все выше и выше. Их фигуры то вспыхивали, то погасали, пересекаясь с лучами разноцветных прожекторов в разных точках полета. Они были прекрасны в полете, как инопланетяне. Но у Мальчика нехватило дух, скорее, он воспринял зрелище, как знакомое, к тому же успел разглядеть, где крепятся лонжи, страшющие гимнастов. Именно во время этого, казалось бы, самого фантастического номера, Мальчик впервые окинул взглядом зал и он увидел, как его соседи, да и все остальные зрители с восторгом и боязнью, восхищением и завистью следят за покорившими их артистами. Они участвовали в узаконенном чуде. И уже вместе со всеми Мальчик стал следить за воздушными акробатами. Он даже вдруг представил себя – летящим рядом с красной ракетой.

– Бис!

– Молодцы!

Соседи Мальчика вскочили с мест. Зажегся яркий свет. Шумно обмениваясь впечатлениями, люди потекли к выходу. Арена опустела, погасла, почти растворилась в полутьме. Опустив голову, Мальчик мелкими шагами двигался в толпе, затем по инерции еще прошел некоторое расстояние за группой мальчишек, и только когда они разошлись в разные стороны, увидел, что снова очутился у билетной кассы. В окошке горел свет. Мальчик, не раздумывая, купил билет на вечернее представление. Так же, как днем, он кружил вблизи входа, припоминая до мелочей каждый номер программы. Думать о том, где ему придется ночевать, он не хотел.

Трещали звонки. Не торопясь, заходили и рассаживались на скамьях взрослые. Пахло духами и табаком. Поведение и смех были раскованнее, чем в театральном зале, наверное, оттого, что взрослые смущались своего любопытства и пытались как-то скрыть это. Но хлопали они дружно и нетерпеливо, ожидая, когда опять вспыхнет арена.

Акробаты... Фокусники... Звери...

Скоро полет... Совсем скоро... Мальчик напряженно ждал...

И вот опять под купол взлетели на красной ракете воздушные акробаты. Мужчина, зацепившись ногами, повис над бездной вниз головой, держа в руках невидимую нить, на которой крутилась сверкающей игрушкой его партнерша. Она то вытягивала руки, то разводила их в стороны, замедляя скорость вращения...

Представление закончилось, а Мальчик сидел на своем месте до тех пор, пока все зрители не по-

кинули цирк. Служители скатали дорожки, унесли с арены ракету и больше не вернулись. Погасли проекторы. На полутемную арену вышел усатый контролер с лопатой и метлой и принялся неторопливо убирать опилки. Тогда Мальчик стал медленно спускаться по широкому проходу к арене. Усатый, казалось, не замечал его, но потом неожиданно громко окликнул:

– Ты что потерял, парень?

– Да нет, ничего. Просто мне нужен Директор цирка.

– Директор? Он там, – указал усатый на темный проход.

Мальчик решил ждать. И дождался. На арену неторопливой походкой вышел худой, высокий человек. Неторопливость явно не была главной чертой его характера.

– Вы ко мне?

Глаза у Директора были спокойные, светло-синие глаза, они будто светились на рыжеватом лице. И тут Мальчик по настоящему испугался. Но, боясь, что Директор уйдет, быстро заговорил:

– А можно мне выступить в вашем цирке? Вообще-то я еду к бабушке на лето, а осенью опять пойду в школу. Я не насовсем прошусь к вам. Только выступить.

– А что ты умеешь делать?

Мальчик взглянул в глаза Директору.

– Я умею высоко прыгать и... немного летать...

Не обратив внимания на последние слова, или, может, не расслышав их, Директор указал рукой:

– Прыгай!

«Прыгать, но куда?» – пронеслось в голове Мальчика.

Но объяснений не последовало. Тогда он сделал несколько шагов, оттолкнулся одной ногой, пролетел над ареной и опустился у самого ее края. Директор оставался стоять в центре. Казалось, он нисколько не удивлен.

– Попробуй выше.

Он указал на темный купол шатра.

Когда, не чувствуя своего веса, Мальчик на мгновение завис под куполом, то увидел глубоко внизу светлый круг арены, а посередине Директора с закинутой головой. Черты его лица были неразличимы, но Мальчик ощущал взгляд Директора так остро, будто стоял рядом с ним. И медленно опустился на арену.

– Хорошо, – сказал Директор. – Очень хорошо.

И, не глядя на Мальчика, спросил:

– Где живет твоя бабушка?

Мальчик ответил.

– Пойдем со мной.

Обняв Мальчика за плечо, Директор провел его темным коридором и ввел в маленькую светлую комнату. В ней стоял стол, на столе полочка с книжками, раскладушка и две табуретки.

– Пей чай. Печенье и сахар в столе. И ложись спать. Я приду утром, и мы обо всем договоримся. Сторож закроет тебя в цирке, но ты не бойся.

Мальчик сел на раскладушку, ему захотелось свалиться на подушку, не раздеваясь. Но он еще некоторое время смотрел на афишу, на ней танцевала

смуглая женщина в белой развивающейся юбке. Все же он встал, выключил свет и уснул.

Для последнего вечернего представления новый номер был задуман следующим образом. Название «Прыжок в космос» не должно было отличаться от традиционных названий программы цирка. Мальчик в облегающем блестящем голубоватом костюме с непокрытой головой под медленную музыку должен выбежать и остановиться у борта арены. Поприветствовав зрителей, он, когда музыка смолкнет, пролетит над ареной и опустится у ее противоположного борта. Раскланяется, и тут же, под нарастающий темп музыки, сделав прощальный жест, пробежит до центра арены и прыгнет под купол. Проекторы проводят его до определенной высоты и остановятся, скрестившись в одной точке, пелена света скроет мальчика и верх шатра от зрителей. Под куполом будет висеть площадка с поручнями, на которой он и останется. На овации и «бис» выходить не следует.

Директор начертил схему придуманного им номера. Мальчик, сидя на табуретке, следил за карандашом. Слушал доверчиво, но не вдавался в подробности своего выхода на арену и в сложности музыкального сопровождения. Он понимал главное. Сидящий перед ним взволнованный человек дарит ему то, о чем раньше он не имел никакого представления. И все будет так, как сказано. Правда, при словах «на овации и бис не выходить» Мальчик поднял глаза на Директора, но ничего спросить не успел.



– Когда усядешься на площадке, прожекторы будут освещать арену и зрителей. Ты все увидишь сверху. Я сейчас уйду, а ты дождись нашу балетмейстершу, она даст тебе небольшой урок пластики. После урока отправляйся погулять в город. Посмотреть есть на что, да и река красивая. Деньги есть? Отлично. Смотри, не переешь мороженого. Я жду тебя в девятнадцать часов. Одежду для выступления найдешь в этой комнате.

Уже стемнело, когда Мальчик подошел к цирку со стороны подсобных помещений. Мимо клеток с животными, которые возились и дышали в полутьме, он направился к открытой двери дощатого строения. Изнутри доносились шум и приглушенные голоса. В длинный коридор выходили двери костюмерных комнат, они открывались и закрывались, пробегали полуголые и одетые к выступлению мужчины и женщины – представление шло полным ходом. В одной из комнат через приоткрытую дверь, яркий свет из которой резко пересекал коридор, Мальчик увидел женщину. Она стояла перед зеркалом в короткой полосатой кофте без рукавов. Чуть покачиваясь на крепких загорелых ногах, она расчесывала длинные пряди светлых волос, которые струились по плечам и груди. Ее фигура и блестящий костюм на спинке стула помогли Мальчику узнать ее: это она летала под куполом. Неожиданная зависть к ее партнеру обожгла Мальчика, но волнение перед собственным выступлением не позволило разыгаться его фантазиям.

В «директорской» никого не было. На раскладушке лежал костюм, а на полу – легкие спортивные тапочки. Убогость комнаты вернула Мальчику чувст-

во реальности. Он в нерешительности застыл посреди комнаты. Но в это время скрипнула дверь, Директор вошел и быстро подошел к Мальчику.

– Я был уверен, что ты уже одет.

Он внимательно посмотрел в глаза Мальчика:

– Переодевайся. Через десять минут твой выход, твой полет. Ты готов?

Мальчик кивнул. Через пять минут они торопливо прошли по проходу и остановились у занавеса. Тяжелая ткань колыбалась, их обдавало то теплом, то прохладой. Были слышны щелчки бича, смех и ровный гул зрителей. Затем выплеснулись аплодисменты. Сердце Мальчика отчаянно заколотилось, и он взялся за руку Директора. Занавес открылся, мимо прошли наездники, ведущие под уздцы лошадей. На арене все стихло, только в зале раздавались покашливания, да редкие восклицания. Возникшая музыка и громкие слова конферансье, которых Мальчик не расслышал, заставили его еще крепче сжать руку Директора.

– Смелее! Я с тобой.

Мальчик отпустил руку и выбежал на арену.

В первые секунды Мальчику показалось, что он потерял направление и сейчас упадет в бездонную темноту зала. Она надвигалась на него вместе с бесчисленным множеством бледно-желтых лиц, которые расплывались и терялись в пространстве. Но на самом деле, Мальчик, подчиняясь ритму музыки, плавно бежал по кругу арены, и та же музыка остановила его в нужном месте. Теперь он не видел ничего, кроме противоположного борта арены, и не слышал ничего, кроме приказаний музыки. Ритм нарастал.



Мальчик наклонился всем телом вперед. Еще мгновение, и он взмыл под купол.

Свет сразу остался внизу, купол медленно падал на него всей своей прохладой и темнотой, как ночное небо. Лучи прожекторов находили Мальчика, но уже не слепили глаза. Мальчик парил над залом, лица зрителей различить было невозможно, но он ощущал, как гигантский, единый, блестящий в напряжении глаз обращен к нему, как единый полуоткрытый пересохший рот сдерживает дыхание. И страх исчез, как исчезла связь с удивительным Директором, поездкой к бабушке и всеми другими обычными делами. Плавно кружась, он по крутой дуге пролетел под куполом и медленно опустился в намеченном месте арены. Стояла глубокая тишина, но когда Мальчик повернулся к залу и поднял в приветствии руки, раздались нерешительные хлопки, а затем крики и самый настоящий обвал аплодисментов. Остро вспыхнули в душе мальчика радость и гордость. Он готов был броситься в зал и обнимать, обнимать всех этих незнакомых людей за их понимание счастья и красоты полета. Может, раньше ему не хватало именно такого сопереживания и участия в его ночных полетах? Если бы можно было продлить этот миг! Но он уже понял, что медлить нельзя ни минуты – теперь он полетит не только для себя, но для всех них, а они вместе – за ним. Он еще раз в приветствии взмахнул руками, пробежал до середины арены и ринулся вверх, прогнувшись, откинув назад голову и руки. Взметнулись лучи прожекторов за сверкающей фигуркой и, когда она пропала в темноте купола, медленно опустились на арену.

Шумящие, взбудораженные зрители выходили из цирка. Поклонники толкались в коридоре, заглядывали в костюмерные – искали маленького акробата или Директора. Но, наконец, в цирке остались только артисты. С сумками и чемоданами они собрались в коридоре, обменивались впечатлениями, восхищались неожиданным номером. Внезапно среди них возникло некое беспокойство. Раздались голоса:

– А кто этот мальчик?

Несколько человек направились к директорской комнате.

Но Директор сам появился перед ними. Он тихим голосом произнес:

– Товарищи, не беспокойтесь, поезжайте в гостиницу, а завтра утром прошу не опаздывать. Билеты на поезд заказаны.

Он помолчал. А потом добавил:

– Знаете, я иду в милицию. Мальчик пропал.

Цирк опустел. Тусклая лампочка освещала арену. Из открытой двери тянуло ночным холодом, вверху виднелся кусочек звездного неба. Усатый контролер сметал опилки в кучу. Вдруг он остановился и нагнулся над кучей опилок. Там сидел маленький кузнечик, его выпуклые неподвижные глаза мерцали неясно отраженным светом. Усатый контролер усмехнулся и тронул кузнечика концом метлы. Кузнечик неуклюже спрыгнул с арены на пол, сделал еще несколько легких прыжков и уселся на пороге. Снова послышалось мерное шарканье метлы. Кузнечик подбрал лапки, оттолкнулся и исчез в темноте.

Новосибирск, 1962

... И стукнут стулья
без света днями,
и книжный чей
момит томами.

Портретов тени
на стеклах тусклых,
в глазах пыль тлена
и мнени чужих.

Скрип половиц,
цветок в стакане,
и только снится,
что каплет в ванне...

А на роле,
среди старых кот,
хвостом пегали
играет кот.

В.М. ШУЛЬМАНУ.
Осень. 1962 год.
Г. Прага



Геннадий Львович Поснеров



Валентин Михайлович Шурман



Вагмур Боиноб



С Вагман Фамурован (срѣба)

С Дагман Шурбекум (срба)



Мирза

Со Србаој Сеџинићем (срба)



Браќунуј Топења



С Пранкевићем и Јукићем



Рисунки Юрия Петрусева



Варога Штерн

АТО
 Тудеев!
 710 том хора
 публично
 и свободно!

Стихи Байкова

Живиме!

Бобин

Солнце было асе
 Пальцы были синие
 Мирада была расева
 А Манья - герт с уресея!

Какже расходи отрамне
 Улицы освещают
 Электр - пометко - ирестван
 Я бы кепрунанных гонев
 Ководных Тирашке - знагип. еверу
 Весея светить кя стамб.

Варога Горбенко

Варога Байков



И внаше
 сейреже
 Лукину
 и утку
 в Африку



Вова 10 лет
 после
 Мин абведническу

Сам
Семью Библейскую мена, Цудо, ивезд
Хрестия, уравнил.

Нам не дано сражаться Хрестия,
Высеме и мотке одица,
И лупим аромн "Цудо
нам Бичие, тем дивнишии при Хрестия

Ему возмг незгод нехрестия,
Светом итфрешем криватаи усеа,
А он цем, и на мотке тфрешон-
Осауничко слова "цудо":

Его перим искаемн в тфимале
Восмомликатем о светивае геме
"Все Бож мило не так, совсем не так!"

Цудо тфеа порфрешем во шак,
Но тфеа еме замонит, хрестияции:
"Я гавко сам - цудо слов хрестияци."

И Шахот.

Современное
Везде гоме Кино
Но чиме Воровско
Делушка и, кимале
Имаем Воровско

Смодро на нем, новорке слова
"Рожнер" и "Лосоронер"

И Шахот

Стиму Захарова

Сраба Жупабера



И Шахот
Вот
Кривичишн
Кривичишн
Кривичишн
Кривичишн

Варвара Шахот

Машинный
Зритель
Восприятие



Децимбо.

Нам прощае тэмнн мнаткам, елеме-
Силка, итфрешем цудо
И Децимбо итфрешем нам итфрешем
В серебренико цудо
И Децимбо цудо нам
И мотке цудо

Мотке цудо итфрешем цудо-
Нам цудо итфрешем цудо,
Ситфрешем в итфрешем цудо.
И, мотке цудо, итфрешем в итфрешем цудо
Итфрешем цудо итфрешем цудо,
Но цудо итфрешем цудо итфрешем цудо
Итфрешем цудо итфрешем цудо,
Во итфрешем цудо итфрешем цудо
Итфрешем цудо, итфрешем цудо,
И итфрешем цудо, итфрешем цудо,
К итфрешем цудо,
Итфрешем цудо итфрешем цудо,
Итфрешем цудо - цудо итфрешем цудо,
Итфрешем цудо итфрешем цудо,
И итфрешем цудо - цудо итфрешем цудо,
Итфрешем цудо итфрешем цудо,
И Децимбо итфрешем цудо,
В серебренико цудо.

И Шахот 20.6.03.



Стиму Захарова

Академиктердин



А. Понкин



В. Захаров



В. Силин

В. Фамурев, Т. Янушев, В. Горбенко, Л. Кисарева



В. Щерба



В. Байсал

исстиглестих



Р. Жупалов



В. Сербин

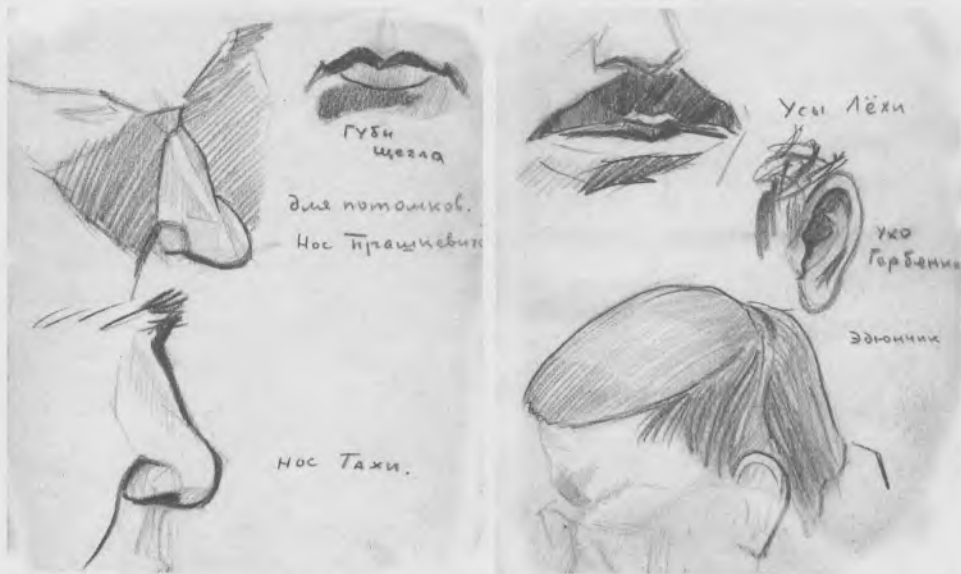


Е. Ваннелскаја

Г. Прашкевич, В. Горбенко



Рисунки Вагима Фамирева



ком 8 В, комнаты 20... 10 зубов ветра. 1962 год. Огерачное засечение среди „Канту“

В этой комнате дым влетает,
под стеклами - рабочий перся,
завидя, морщит нос закурив,
блестит с жидур в критичном моменте,
но рывком свой отшатнув,
прожвав сухую ватушку,
и перахосиде брови сдвинув,
чистиком «Жур» сторирует «сразу».

И сейчас же пост шуррабел
завыл: - Фролявдем кришка!
Вы осмыслили это сами...

И тичней не стали «визну»
Пять минут трапелила тача,
пять минут пролетали ветри,
потому что запихан тлена,
и сошка потиндана метри...

Мастач Жур, шовоачик, фромон,
бигал и ласлом ладочиком,
выпачкал дичные думи,
цоглиция: - С чилокой вачта!

После этого он (случайно
на свою правую руку посто)
ништупа на бойовой чезачик,
не потичеветел вичта этото.

Зачинила бойов по пйот:
- У не самичи ч та пероствичик,
факундичей и лажер лачичи
и добита по мисачик.

Янучевачи шачити чичко,
рот ризичи, малал Вишневачи...
а в чилу йулачичи чевонки,
прядичи поича чичичи.

Почу Гербенко вичичиле сердичи:
- Вичичи с вичичиле чирничей мичи!
Ачиче тич шичи и чиричи
и мичиле чичичи лачичи!

И посто репачил Вишневачи,
бичичиле с чичичи в Тичичи,
и чичи чичичи чичи.

А прочувствоване лачичи,
зичичиле чичи пощичи,
с чичичи табичичи чичи
предчичиле чичи и ричи.

уберичия & едичи тиче,
тефичица шичичи бичи,
это с в чичичи не чичичи тиче,
не доичи чичичи & ричичи.
В чичи зречичи тичи шичичи
ичичи Вишневачи чичи,
но Гербенко шичичи чичи
- Сичичи, бичичи - чичичи.

И потичичиле шичичи
вичи. Бойов, чичичи шичи,
и поичи чичичи чичи мичи,
зачичи по чичи мичи,
в чичи чичичи чичи,
срочи чичи, чичи и ричи,
тичи чичи по чичи чичичи
Ачичи и чичичи.

В этом фильме и чичичи чичи,
ривичичиле чичи чичи,
с перичи чичичи чичи,
ча шачи чичичи чичи,
а чичичи чичичи чичи,
чичичи чичичи чичичи,
вичичиле - чичи чичи чичи
с чичи - чичичи и чичичи?

Всех чичичи чичичи на чичи,
- Чичичи чичичи чичи!

Ч Гербенко чичичиле чичи
на чичичи с чичи - чичи,
но чичи и чичичи,
чичичиле - чичичи чичи!

Чичичи чичичи чичи с чичичи!
- Ачичичи чичи... это - чичи!

но пощичи, их чичичи,
чичичи и чичи чичичи -
Г. Прамисевича чичичи,
и на чичи чичи чичи.

Г. Прамисевич

А. Тагвичи



Тагвичи чичичиле в чичи
чичи А. Тагвичи и
Г. Прамисевич - 1962.



Белоснежными кристальными
 земле завалила,
 Наголемо нам, чейтам мн
 Бродить на волам.
 Нам от ветри наху рау нах
 Чернеть лаву мн,
 еще мнимо не расказано
 в нас ехрочево,
 Нам от мора сивамае,
 солю - емаз нах
 Чюди не до перафривам
 Раме з лаву мн.
 Чюди туи емаз раме
 Каваме каваме
 Чюди рива туоривам

Г. Сулейманов
 1963 г.

В. Байнов.
 Алманрафет

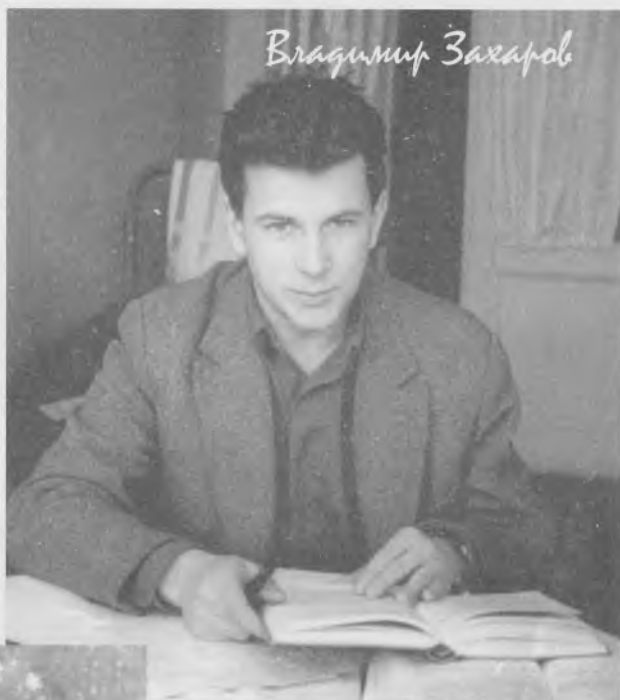


На мнимо каву мн,
 Нам от герзичам.
 Чюди мнимо
 рау мнимо мнимо
 наголемо нам,
 чюди мнимо
 сел игнимо

Г. Пранкелур
 (рис. Ю. Петруцелва)

Рисунок Г. Пранкелура





*С.Г. Пращивичев. Презентация
сборника «Эхо в квадрате»*

Людмила Кучерева



*С.В. Щербаков
и В. Голденко*





Л. Кусерева и Г. Прамиселур



Владимир
ЗАХАРОВ

Пространства
как предмет
поэзии и науки

* * *

На мостах
Лежит мокрый снег,
Здесь ночами встречаются души тех,
Кто погиб под кистями
Мастеров
И висит на холстах.

Разжигают костры,
Достают понемногу хлеба,
И, к огню придвигаясь тесней,
Продолжают несладкую жизнь теней.

* * *

Мне все равно, жива ты или нет,
Глаза закрою и увижу след
От весел, и густой июльский зной,
И дальний берег, синий и лесной,
И ближний берег, и зеленый сад,
Где яблоки хрустящие висят,
И бьют ключи, и белою рукой
Ты даришь мне неслышанный покой.

* * *

Я к окну подойду и открою,
Чтобы в комнату холод влетел
И увяло веселье дурное,
И неискренний смех улетел.

С оголенным осенним пространством
Мы вдвоем постоим – как друзья.
Пусть душа из неведомых странствий
Возвратится на круги своя.

Возвратится, хоть я недостоин
И причастья, и этих молитв,
В милый дом, что так трудно построен
Из молчаний и внутренних битв.

Этот дом – он непрочен и зыбок,
Его крепи легки и слабы,
Сотрясается он от ошибок,
От страстей, от ударов судьбы.

И стена от меня до поступка
Так тонка, что и страшно сказать,
И не хватит ни зла, ни рассудка,
Чтобы эти узлы развязать.

СОНЕТ

Нам не даны страдания Христа,
Высокие и чистые обиды,
И мутная агония Иуды
Понятней нам, чем тяжкий груз креста.

Ему вослед несутся пересуды
И кривятся презрением уста,
И тяжелей креста на нем громады
Осознанного слова – «пустота».

Его черты искажены в гримасе
Вспоминаньем о счастливом часе:
– Все быть могло не так, совсем не так...

Глаза уже погружены во мрак,
Но крик еще доносится – хрипящий:
– Я только сам – исток своих несчастий!



* * *

Ю. Манину

Мы,
Прикованные к формулам,
Распяты на исписанных листах бумаги,
Неожиданно понимаем,
Что могли бы быть неплохими офицерами
В какой-нибудь старомодной,
Справедливой войне.

* * *

Этой сини хватает на всех,
Она целое лето объемлет,
И все лето то дождик, то смех
Изливаются с неба на землю.

И намокшие свищут птенцы,
И под красной закатной стеною
Вдоль дороги сияют торцы
Краснотую и голубизною.



* * *

Что общего у смерти и любви,
Какие нам отпущены сомненья?
По щиколотку в солнечной пыли
Дорога спит – до ближнего селенья.

Туда и путь недолог, недалек.
Прощанье. На прощанье взмах рукою.
И стукнет кровь, и вдруг настанет срок,
И звякнет колокольчик под дугою.



* * *

Я помню о детстве трав,
Редких стеблях зеленых,
О ледяных ветрах,
Мокрых и бурых склонах.

Помню о небесах,
О голубых разводах,
О прозрачных лесах,
Желтых весенних водах.

Помню о хмуром дне,
Крике и птичьей драке,
О прошлогоднем костре,
Сквозь угли проросшем маке.

Тогда чернели поля,
Но снег еще был в овраге,
Оттаявшая земля
Блестела в зеркальцах влаги.

И затекали следы,
И с горящей щекою
Мальчик выпьет воды,
Мы же глянем с тобою:

Вот он – истинный путь,
Искусства суть и опора.
Достаточно раз взглянуть,
И нет причины для спора.



* * *

Творцу и герою пора на покой,
И вот он уходит, и машет рукой.
Он грузно ступает, уже не вернется,
Из окон распахнутых музыка льется,
И легкий летит разговор, не таясь:
С кирпичной стеною беседует вяз,
Беседует с мокрой кирпичной стеной,
Начнется и кончится дождь проливной.

НА САМОЛЕТЕ

Равнина облаков – как океан,
Когда зимой его недвижны льдины,
Необозримей всех бескрайних стран
Сменяет он застывшие картины.

Слабеет солнце, тени полосами
От облаков легли на облака,
Среди долин, темнеющих лесами,
Как огненная нить горит река.

Как далеко отсюда до земли!
Какая глубина видна в прорывы!
Еще не все минуты протекли,
Какое чудо, что еще мы живы!

* * *

Хорошо бы при жизни прославиться,
Научиться цениться и нравиться,
Чтобы даже Венеры в мехах
О моих говорили стихах.

Укрываться на даче по году,
Изредка появляться к народу
И с высокой трибуны народу
Говорить про любовь и природу.

Чтоб ко мне приезжали к обеду
Рилькеологи и лорковеды,
Чтоб раввины и даже брамины
Поздравляли меня в именины.

Я недаром мечтаю о многом,
Я ведь чувствую связь свою с Богом,
Но не явится *бог из машины*,
Чтоб меня вознести на вершины.

И, скорее, свой век кипяченный
Я отбегаю крысой ученой,
И стихи залежатся в коробке,
Пожелтелы, надменны и робки.

Хорошо еще, если потомок
Будет столь образован и тонок,
Что почтение предку воздаст
И – кто знает! – быть может, издаст.


НОЖ

Эмир казнить и миловать любил,
И мир глазниц взывает из могил.
Глаза бойниц из крепости глядят
И Бога сил и крепости зовут.
И археолог будущих времен
Ничуть тому не будет удивлен,
Что во дворе ташкентского чека
Бетал Калмыкова закопана рука.

Взметая пыль, летят грузовики,
Вздымая прах отрубленной руки.
Клубится пыль у глиняной стены,
Зубцы могил луной осенены,
Сбегают с гор хрустящая вода,
Висит над кроной тополя звезда.

В старинном городе Ходженге,
В том городе, который Файзулла
В припадке верности нарек Ленинабадом,
Арыки льются звонче серебра.

Тот город был великими почтен,
Там пьянствовал когда-то Македонский,
Там пьянствовал и Файзулла с гостями,
Давно знакомыми с московскими вестями.
Давали той, такой, как никогда,
И даже сами, на правах хозяев,
Творили плов Икрамов и Ходжаев,
Хвалили гости – вкусная еда.
Давно их черная пожрала яма,
Не закусить им тост стихом Хайама.



В том городе, в Александрии крайней,
Над быстрой и широкой Сыр-Дарьей,
Рекою теплой, голубой и мутной,
Несущей пену и пучки травы,
Беленые дома глядят во двор,
Сбегает вниз наклонный глиняный забор,
А на базаре, среди арбузных гор,
Цветных платков, бойцовых петухов,
Ларьков, седобородых стариков
Есть кузница – наследница веков,
Летит над нею благородный дым,
Шашлык готовят рядом под навесом травяным.

Войдем же в этот старый дом,
Влачащий тяжесть лет уже с трудом,
И купим нож – изделие мастеров,
Жемчужину ремесленных даров.
Ах, черной рыбкой он лежит в руке,
Есть желобок на тоненьком клинке,
Для истеканья крови желобок –
Как видишь, все предусмотрел Восток.
Теперь пойдем в торговые ряды,
Где пышные наставлены плоды.

Не соблазнимся ни нагой хурмой,
Ни грушею, ни сливою тугой,
Но дынею – красавицей полей, –
И, как любовью, насладимся ей.
Она душна, прохладна и нежна,
Она – бахчи прекрасная княжна.
Ее густой, медовый, липкий сок
По кованому лезвию истек
На пыль дорог – тысячелетний прах,
На вечный прах, клубящийся в ногах...

Здесь мясо называют «гушт»,
И воздух слаще воздуха Алушт.
И город зелен, будто город-сад,
Перед горкомом лозунги висят:
Рабочий и солдат, и вся страна,
И в ситец облаченная жена.
Над ними горы дальние висят,
Почти к вершинам подступает сад,
И тень дает высокий абрикос,
И высоко взбирается покос...

КИЕВ

*Светлой памяти математика,
члена-корреспондента АН СССР
Бориса Николаевича Делоне,
по мотивам рассказов которого о детстве
написано это стихотворение.*

Как траурный гусар лежал в шинели,
Об этом помнят годовые кольца.
Большие куклы взрослыми любимы,
Старухи черный берегли стеклярус,
Морщины старика подобны трещинам коры.

Он сединой напоминает зиму,
Все выжившие липы на бульваре
Хранят в себе свинцовые отметки
Старательным ученикам войны.

Они припоминают сквозь дремоту
Как хлопает оторванная ставня,
Как дико стынет месяц над предместьем,
Когда с пустых просторов победитель
Уносит жертвы уличных боев.

На карте в кабинете у отца
Наколот был театр военных действий,
Красавица-сестра шуршала бантом,
И всех спасла,
Когда пришли расстреливать семью...

* * *

Как мусор по реке времен
Мы проплывем с тобой,
И прежде, чем прикроет Бог
Свой балаган земной,

Старушкой скверной станешь ты,
Я – скверным стариком,
И будет вечно от меня
Припахивать вином.

Как мусор по реке времен,
Как горсть сухой листвы,
Но не счастливей будет он,
Наш добрый друг, увы.

Сей благородный человек,
Удачливый сверх мер,
Сей твой возлюбленный навек
Изящный кавалер.

В гостях у нас пока он спит –
Подруга, не шурши! –
Ему, пока наш чай кипит,
Я насулю в тиши,

Чтоб вся пустая жизнь моя
Пошла ему во зло,
И все со мной его друзья,
Кому не так везло.

Чтобы и он, чтобы и он
За все его труды
Как мусор по реке времен
Скользнул среди вражды.

А то, что зависти цветы
Неистребимы в нас,
О том судить не смеешь ты,
Судить не смеешь нас.

Об этом ты всегда молчи
Во сне и наяву,
Не то тебе в глухой ночи
Я глотку перерву!

ВРЕМЯ

Наступает наше время,
Наступает время наше,
Отступает ваше время,
Отступает время ваше,

Наступает наше время,
Отступает время ваше,
Наше время, наше время
Будет веселей и краше!

Ваше время было легче,
Наше время будет круче,
Наше время будет лучше,
Наше время будет круче!

Наше время будет звонче,
(ваше время было жиже),
шубка снега будет тоньше,
небо будет – злей и выше!

1989

ПРОСТРАНСТВО КАК ПРЕДМЕТ ПОЭЗИИ И НАУКИ

*Особое место ученым
Из редкой породы зануд,
Которые черное черным,
А белое белым зовут.*

А. Цветков

1. Пространство – крайне многозначное слово, если употреблять его с определением или дополнением. Откройте любую газету, и вы найдете там многочисленные «пространства». На первых страницах будет «экономическое пространство» или «таможенное пространство». Слава Богу, «жизненное пространство» сегодня не в моде. На последних страницах, где об искусстве, вы встретите «сценическое пространство» или «пространство рисунка». Можно найти и более утонченные примеры. Скажем, у Германа Гессе есть «духовные пространства Аквината». Или «пространство между душой и спящим телом». Это строчка из стихотворения Бродского «Большая элегия Джону Донну».

И все же то многообразие смыслов, которое может вложить в слово «пространство» гуманитарно образованный человек, – просто ничто перед тем количеством «пространств», которыми оперирует математика. Здесь их многие десятки. И новые открываются постоянно. Я вспоминаю конец пятидесятых годов, ранние студенческие годы. Тогда вышла в свет монография Гельфанда и Шилова «Пространства основных и обобщенных функций». «Загляните в

нее, – говорил мне один из моих учителей, скромный доцент математики Ф. В. Широков*, – и вы найдете в ней целый зоопарк интереснейших пространств!»

Большинство математических пространств имеет узкоспециальные названия. И все же, многие математики мечтают, чтобы какое-нибудь из вновь появившихся на свет пространств было названо их именем.** Потому что главные пространства, изучаемые в математике, названы именами великих. Таково, прежде всего, «пространство Евклида». Таковы «пространство Гильберта» и «пространство Банаха» (первое является частным случаем второго). Таковы же и «пространство Римана», «пространство Лобачевского», «пространство Эйнштейна». Эти последние нам еще понадобятся, потому что они имеют прямое отношение к основному предмету настоящей статьи – к пространству без определений и дополнений, к «просто пространству», к «Пространству» с большой буквы.

Давайте не будем углубляться в философскую схоластику, а примем точку зрения «наивного реализма». То есть, признаем безоговорочно, что это пространство существует, что мы в нем живем, и что оно, наряду со временем, является первой из данных нам данностей. Относительно него мы можем ставить чисто естественно-научные вопросы. Как это пространство устроено? Что мы о нем знаем? К какому классу пространств, используемых в математике, оно принадлежит?

Существуют и другие вопросы, относящиеся к сфере гуманитарной культуры – почему слово «пространство» занимает такое исключительное место в

нашем языке, во всех языках, почему оно столь широко используется в абсолютно разных сферах человеческой деятельности, почти не имеющих между собой пересечений? Почему мы его так часто употребляем? Попробуем ответить сначала на второй вопрос. Ответ кажется довольно очевидным и состоит в следующем. Мы относимся к пространству весьма эмоционально. Иначе невозможна была бы ни скульптура, ни архитектура, ни живопись. Пространство интимно близко нам. Каждую минуту это ощущают только люди с психическими отклонениями, для которых пространство является источником беспокойства и страха. Существует «клаустрофобия» – боязнь замкнутого пространства, существует и «агорафобия» – боязнь открытого пространства. Здесь показывает свою вершину необъятный айсберг эмоционального отношения к пространству, скрытый в нашем подсознании. Именно этот эмоциональный айсберг и заставляет нас постоянно обращаться к слову «пространство» в нашей речи, именно его существование делает пространство предметом искусства.

Чтобы ответить на первый вопрос и продвигнуться дальше, мы должны сделать одно утверждение, избежать которого не удастся. С любой точки зрения – и с рациональной, и с эмоциональной – основным атрибутом пространства является протяженность, длина. И мы сознательно или бессознательно сопоставляем ее с размерами нашего тела. Отсюда идут все старинные меры длины. Фут – это просто foot, нога (в данном случае – ступня), а миля – тысяча двойных шагов римского легионера. Конечно,

метр – по замыслу его изобретателей – одна десяти-тысячная доля четверти земного меридиана. Здесь дышит совсем иной дух – дух просвещения, дух энциклопедистов. Но, в конце концов, это ведь тоже около трех футов.

Такой выбор мер длины определился удобством и практическими нуждами.

Но соотношение размеров пространства с нашими обыденными длинами имеет и концептуальное значение. Эмоционально мы совершенно по-разному воспринимаем пространство размером с чайную чашку и пространство размером с Тихий океан. С точки зрения физики тоже совершенно не очевидно, что пространство размером с атомное ядро имеет те же свойства, что пространство масштаба звездных расстояний. Между этими масштабами разница, как минимум, в тридцать порядков величины. И тем не менее, оказывается (это эмпирический факт), что свойства пространства столь разных масштабов вполне тождественны. Всюду это одно из простейших с точки зрения математики пространств – трехмерное ортогональное вещественное пространство Евклида. В нем выполняется теорема Пифагора и справедлив пятый постулат – через данную точку можно провести только одну прямую, параллельную данной прямой. Иначе говоря, в нем справедлива та геометрия, которую мы учили в школе.

В сущности, школьная геометрия – это физика нашего пространства. Вместе со временем оно составляет несколько более сложный объект – пространство Минковского или четырехмерное псевдоевклидово пространство сигнатуры «один-три».

Геометрией этого пространства является специальная теория относительности. Некоторые люди, даже имеющие достаточное образование, до сих пор ее опровергают, хотя эта теория подтверждена огромным количеством фактов, в том числе неопровержимым феноменом существования работающих ускорителей элементарных частиц.

Итак, мы ответили на вопросы «первого уровня». Теперь возникают вопросы «второго уровня». Почему все обстоит именно так, как оно обстоит? Почему наше пространство – это пространство Евклида, а не, скажем, пространство Лобачевского, то есть, Риманово пространство постоянной отрицательной кривизны? Или, наоборот, Риманово пространство постоянной положительной кривизны (трехмерная сфера)? Почему оно вообще трехмерно? Сколько фантастики написано о четвертом пространственном измерении! А может быть, оно действительно существует?

Все это трудные вопросы, из числа тех вопросов «о началах и концах», которые так не любил герой Фазиля Искандера мальчик Чик. Проще всего сказать, что это метафизические вопросы, и что наука на них дать ответа не может. «Так установил Господь!» – сказал бы Фома Аквинский.

И все-таки наука, отнюдь не возражая этому тезису, никогда на этом уровне не остановится. Она всегда будет стараться понять «вторичную причину» (по выражению того же Фомы Аквинского), то есть механизм, при помощи которого оказалось, что мы живем именно в этом пространстве, а не в каком-нибудь другом. Всегда найдется два-три знающих пред-

мет профессора, и вокруг каждого – стайка пытливых мальчиков, постарше Чика. И эти мальчики за несколько лет выучат все, что знает их учитель, а затем употребят весь свой талант и молодой пыл для того, чтобы придумать нечто новое, и если не решить, то, по крайней мере, отодвинуть эти метафизические вопросы, подняв их на новый уровень и поставив совсем по-другому. Сегодня этим мальчикам совсем неуютно в России. Им не платят денег и не особенно считают за людей. Но они знают, куда поехать. Можно в Принстон к Виттену, Вильчеку или Саше Полякову. Можно в Бонн к Юрию Ивановичу Манину, можно в Кембридж – к Пенроузу или даже к самому Хокингу. Есть в мире и другие места. Но хватит об этом.

Следующие вопросы «второго уровня» относятся к гуманитарной сфере. В чем причины нашего эмоционального отношения к пространству? Можем ли мы дать какое-нибудь «топографическое описание» мира эмоций, который связан с переживанием человеческим индивидуумом феномена пространства?

Второй из этих вопросов целиком относится к области искусствоведения.

От уважаемых мною людей (например, от Константина Мамаева) мне приходилось слышать мнение, что пространство не является темой поэзии вообще. Я должен сказать, что совершенно с этим не согласен. Пространство есть естественный предмет поэзии, желанный гость в лаборатории любого активно работающего поэта. Оно может быть дружелюбно, или нести в себе вызов, но его присутствие всегда возвышает. В написанных мною стихотворениях есть много таких, где так или иначе звучит тема про-

странства. Но вместе с тем надо признать, что тема о взаимодействии пространства и поэзии – это очень непростая, хотя и значительная тема. Несомненно, она заслуживает отдельной книги. Представленный ниже текст неполон и схематичен. Он был бы лучше, если бы я писал его в России, имея доступ хотя бы к собственной домашней библиотеке.

2. Нужно побыть еще в мантии ученого-естественника, чтобы обсудить вопрос о происхождении нашей эмоциональности при отношении к пространству. Этот вопрос относится к психологии и тесно связан с психофизикой зрения. Наш (да и многих других животных) зрительный аппарат – одно из чудес природы. Внешний мир, проецируясь на сетчатки двух глаз, создает две двумерные, перевернутые вверх ногами и весьма искаженные картины. Затем существующий в мозгу – не только людей, но и каких-нибудь осьминогов – компьютер перерабатывает всю эту информацию во вполне адекватную картину трехмерного мира, позволяющую всем нам (не говоря уж про хищных птиц) в этом мире существовать.

Сегодняшняя наука весьма далека от понимания механизмов переработки зрительной информации в мозгу и способов формирования в нем трехмерных образов. По оценкам специалистов, в этом процессе участвует до сорока процентов нервных клеток нашего мозга. То есть, переработка нашей зрительной информации является одной из важнейших функций мыслительного аппарата. Неудивительно поэтому, что ощущение и переживание пространства зани-

мает такую огромную роль в нашем подсознании, делая возможным существование изобразительных искусств.

Еще на рубеже шестидесятых годов, когда появилась кибернетика и компьютеры стали интенсивно внедряться во все области жизни, была сформулирована амбициозная программа создания искусственного интеллекта. Как программа-максимум, она предполагала и рациональное постижение эмоций. С точки зрения чистой науки здесь ничего невозможного нет. Но если это произойдет, весь стиль нашей культурной жизни изменится совершенно кардинально. Уже сегодня имеются компьютеры, играющие в шахматы лучше среднего гроссмейстера. Почему бы не появиться компьютерам, которые пишут картины, сочиняют стихи или музыку лучше художников, поэтов и композиторов? Это всем надоевший вопрос, но я сознательно касаюсь его, хотя и предвижу бурю возражений, и прямо-таки вижу выражение физического отвращения на лицах некоторых моих друзей.

Что делать! Позиция страуса, прячущего голову в песок, недостойна человека. Человек, живущий в мире иллюзий, и отказывающийся смотреть правде в глаза, подобен гуляке, который после бессонной ночи в кабаке боится заглянуть в собственный кошелек и пересчитать оставшиеся там деньги. Следует задавать себе любые вопросы, в том числе и «всем надоевшие», и идти, по выражению Бертрانا Рассела, туда, куда ведет тебя аргумент.

Для нашей отечественной культурной традиции характерна фигура «учителя жизни», человека больших амбиций, дающего всем «смелые советы».

Например, отменить точные науки вообще. Такие люди в России иногда добиваются значительного влияния. Без всякой эмоциональной оценки, просто в виде констатации факта, я должен сказать, что сегодня очень мало шансов для того, чтобы это влияние распространилось за пределы России и оказало какое-то воздействие на ход развития мировой цивилизации. Надежда на это есть рецидив имперского мышления. Мы составляем сегодня два с половиной процента от населения планеты, а наш вклад в мировое производство – и того меньше. И оба эти вклада продолжают уменьшаться. В западных университетах еще функционирует по инерции множество Russian departments, основанных во время холодной войны. Но им дают все меньше денег, и они хиреют. А Билл Гейтс, владелец компании «Микрософт», тратит три миллиарда долларов в год на программу создания искусственного интеллекта, и будет продолжать это делать, не слушая ничьих советов, а паче того – советов из России.

И все-таки я должен успокоить – и современных луддитов, и самого себя. До создания искусственного интеллекта еще далеко. Конечно, процесс усовершенствования компьютеров происходит очень быстро. Их общая мощность удваивается каждый год, и лет через десять компьютер, равный по мощности знаменитому «Крею», будет стоять на столе у каждого студента. Но одного прогресса компьютеров недостаточно. Нужно еще понять, как работает человеческий мозг. А это – крепкий орешек. Физиологи до сих пор не знают, как хранится и обрабатывается информация в мозгу живых существ. Пока еще не-

возможно скопировать нервную систему мухи, не то, что мозг человека. Можно идти по другому пути и, не копируя живую природу, попытаться по собственному разумению построить роботов, выполняющих отдельные функции людей. Так, собственно, и поступают, и на этом пути есть некоторые успехи. Но они ограничены. Компьютеры уже очень хорошо играют в шахматы, но еще не создана компьютерная программа, способная обыграть даже средней руки игрока в го – японский аналог шашек. Хороший игрок в го легко побеждает самый совершенный компьютер. Это связано с тем, что го – стратегическая игра, цель которой состоит в овладении пространством противника, а компьютеры пока взаимодействуют с пространством плохо. Одной из первой задач, стоящей перед конструкторами искусственного интеллекта, является создание робота, умеющего свободно ориентироваться в пространстве и реагировать на происходящие в нем изменения со скоростью человека. Например, автомобиля без водителя, способного ехать по городу в час пик. Это имело бы огромное гуманистическое значение. Такой автомобиль изменил бы жизнь всех слепых в мире. Особенно в Америке, где без автомобиля жить невозможно. Кроме того, за такого робота отдали бы большие деньги американские военные. Для них жизнь их солдат действительно «дороже любой машины» (в устах Сталина эта фраза была чистой демагогией). И они были бы счастливы иметь танки, самолеты и вертолеты, полностью лишённые экипажей. Можно представить, с какой интенсивностью соответствующие исследования ведутся! Робот, вооруженный двумя телевизи-

онными камерами, уже может вести автомобиль по шоссе. Но ситуация в городе несравненно сложнее. И метко стреляющий робот-полицейский – это пока только персонаж фантастических боевиков.

Один из основателей современной науки и философии Декарт ввел понятие о «врожденных идеях», в том числе о врожденной идее пространства. Врожденная идея пространства тесно связана со зрительным аппаратом, но не тождественна ему. Она существует и у слепых, способных различать пространственные формы посредством осязания. С точки зрения кибернетики «врожденная идея» – это нечто вроде «пакета программ», software, содержащего базисную информацию об одном единственном пространстве – трехмерном пространстве Евклида, в котором мы живем. Этот пакет программ включает в себя полное знание о «группе движений» нашего пространства. Иначе говоря, и зрячий, и слепой распознают, что куб – это куб, независимо от того, под каким углом к нам повернут. Правда, эта программа не лишена ошибок. Вспомните «оптические иллюзии».

Все это достаточно тривиально. Менее тривиально следующее – психологи давно установили, что основные программы, генетически заложенные в человека, заложены, так сказать, в потенции, в виде «архетипов», и для полной их реализации человек нуждается в обучении и упражнении, происходящем в раннем детском возрасте. Поэтому, если человеку, слепому от рождения, вернуть зрение в зрелые годы, то первое время он видит только игру цветных пятен, и потребуются большое время, прежде чем он научится видеть отчетливо.

В связи с этим я хотел бы поставить следующий вопрос. А что если новорожденный человеческий ребенок попадет каким-то таинственным образом из нашего плоского в кривое трехмерное пространство? Например, в пространство Лобачевского, или внутрь трехмерной сферы. Оба эти пространства столь же симметричны и одинаковы во всех своих точках, как наше. В них есть характерная длина – радиус кривизны. Пусть она много больше размеров человека (иначе жить ему будет невозможно), но соизмерима с масштабом его сферы обитания, скажем, километр, или около того. Сможет ли этот ребенок через некоторое время так же свободно ориентироваться в своем пространстве, как мы в своем? Сможет ли он переделать свою «врожденную идею» трехмерного плоского пространства в идею трехмерного пространства постоянной кривизны? Да еще замкнутого, если мы говорим о трехмерной сфере?

Кстати, существует распространенное заблуждение, что в пространстве Лобачевского параллельные линии сходятся. Это заблуждение встречается и в литературе, у Генри Миллера, например. На самом деле, параллельные линии сходятся в трехмерной сфере, а в пространстве Лобачевского все наоборот. Там несправедлив пятый постулат Евклида, и через каждую точку можно провести не одну, а множество прямых, параллельных данной. Знание этого факта есть простейший тест, отличающий человека, профессионально изучавшего математику. То, что данное заблуждение живуче и сохраняется в течение полутора столетий – интересный социологический феномен. Он показывает, насколько эзотерично сообщество

математиков даже в такой традиционно ценящей образование и образованность стране, как Россия.

Еще более интересные мысленные эксперименты можно было бы представить себе, если бы наше трехмерное пространство было гиперплоскостью в четырехмерном, и мы могли бы «видеть» хотя бы ближайšie к нам гиперплоскости – другие трехмерные пространства. Но я не хочу превращать свою статью в научно-популярный текст. Я только замечу, что если бы удалось построить видящего робота, то не было бы большой проблемой дополнительно научить его ориентироваться в кривом пространстве. И даже в четырехмерном.

3. Вернемся к теме взаимоотношения пространства и поэзии. Лучше всего начать с примера. Вот одно из ранних стихотворений Пастернака:

*Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветише висят.*

*И, как в неслышанную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь, обветшалого-серый,
Завесил лунную межу,*

*Где пруд как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой,
Где сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.*

Это – классическое стихотворение о пространстве. Именно оно, а не майские жуки, не сад, не

пруд, не тополь является здесь главным действующим лицом. Пространство, вмещающее все описанное, переживается Пастернаком как одушевленное, высшее существо, настолько значительное, что его собственная внутренняя жизнь отходит на второй план.

Это – ключевой пример. В данном случае поэт испытывает к пространству благоговейное чувство и почти готов ему молиться. Это достаточно типично, но бывают совсем другие примеры. Например, Бродский, мизантропический поэт, и к пространству относится без симпатии. За передвижение в пространстве надо платить, и Бродский сравнивает пространство со скрягой:

*Пусть время взяток не берет,
пространство, брат, сребролюбиво.*

В стихотворении Бродского «Осенний крик ястреба» пространство вообще выступает как внешняя, беспощадная, враждебная сила. Оно отвергает земное бытие героя стихотворения (птицы, ястреба) и неумолимо выбрасывает его за пределы Земли:

*...Но как стенка – мяч,
как падение грешника – снова в веру,
его выталкивает назад
его, который еще горяч!
В черт те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад...*

Последняя строчка представляет собой достаточно адекватное описание реального космоса. Это – одна из замечательных интуиций Бродского.

Об этом дальше, пока важно сравнить приведенные примеры. При всем их несходстве, их объединяет одно. Пространство в них – как минимум равноправно соотносится к «лирическому герою», если не превосходит его.

Пространство в поэзии начинается там, где оно выходит за пределы личных проблем, где оно перестает быть сценой и декорацией, и становится действующим лицом. Для того, чтобы ввести пространство в поэзию, поэту необходимо выйти из круга своих внутренних переживаний, сколь бы значительны они ни были. Пространству нечего делать внутри внутреннего мира Человека.

В прошлом веке было модно сравнивать Пушкина и Лермонтова – кто более великий поэт? Давайте сравним сегодня, но только в одном аспекте – по отношению к пространству. Возьмем самые хрестоматийные стихи, знакомые каждому со школьной скамьи. У Лермонтова:

*Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом. –
Что ищет он в стране далекой,
Что бросил он в краю родном?..*

...

*Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой: –
А он, мятежный, просит бури,
Как будто в бурях есть покой!*

У Пушкина же выберем стихотворение, на первый взгляд, на сходную тему.

*Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шумы, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, могучий океан.*

...

*Лети, корабль, неси меня к пределам дальним,
По грозной прихоти обманчивых морей;
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей.*

...

Я вас бежал, отечески края...

...

*И вы, наперсницы порочных заблуждений,
Которым без любви я жертвовал собой,
Покоем, славою, свободой и душой,
И вы забыты мной, изменницы младые,
Подруги тайные моей весны златья,
И вы забыты мной...*

Бессмысленно спорить, какое из стихотворений лучше. Оба пережили смену многих поколений и доказали свое право на существование. Дай Бог всем, пишущим и публикующим сегодня стихи, написать хоть одно такое стихотворение. Большая часть того, что пишется – это трава, судьба которой, отмерев, удобрить произрастание будущей травы. это еще не худшая судьба. Многое из написанного в каждую данную эпоху, в том числе и стихи весьма ценимых поэтов, просто исчезнет без следа. К сегодняшнему времени, когда единая литературная среда отсутствует, и любители поэзии разбиты на

непересекающиеся группочки, это относится более всего. Я восхищаюсь приведенным стихотворением Пушкина. Написать с такой высотой о «наперсниках порочных заблуждений» мог еще разве только Блок. Недаром Тынянов использовал выражение «изменницы молодые» в своем романе о Пушкине. Но вот «могучий океан», да и вся морская тема – это фигуры речи, чистая условность, сцена и декорация на сцене, где действующие лица – сам автор и «изменницы молодые».

Напротив, в стихотворении Лермонтова автора как бы и нет. Его примысливали потом. На самом деле, главным героем стихотворения является море. Если прислушаться, можно буквально услышать шипение воды у бортов корабля, несущего «парус одинокой». Таков весь Лермонтов. Чего стоит одна строчка:

Люблю я цепи синих гор...

Для одних поэтов пространство – это естественная тема, другие полностью погружены в мир, в котором пространству делать нечего. Это лишь одной стороной связано с «уровнем» поэта. Оценивать стихи с точки зрения взгляда на пространство – интересный и независимый взгляд на поэзию. Плохой поэт написать о пространстве не может. В то же время даже очень крупный поэт может его не замечать. Таков был, например, Даниил Хармс. В то же время Александр Введенский, его ближайший друг и литературный соратник по «Обериу» был поэтом пространства, начиная с первых опубликованных абсурдистских строчек:

*...небо грозное кидает
взоры птички на Кронштадт...*

до «Элегии», где автор предощущает пришествие времени, в котором пространству не будет места в поэзии:

*Где лес глядит в полях просторы,
в ночей неслышные узоры,
а мы глядим в окно без шторы
на свет звезды бездушной,
в пустом сомненье сердце прячем,
а в ночь не спим, томимся, плачем,
мы ничего почти не значим,
мы жизни ждем послушной.*

*Нам восхищенье неизвестно,
нам туго, пасмурно и тесно,
мы друга предаем бесчестно
и Бог нам не владыка.*

*Цветок несчастья мы взрастили,
мы нас самим себе простили,
нам, тем, кто как зола остыли,
милей ора гвоздика.*

Это было написано перед войной, в 1940 году, но звучит в полную силу и сегодня. «Мы нас самим себе простили» – это про наше время, лучше не скажешь. Имморализм, ставший нормой, пустые надежды на приближение некоего лучшего будущего, которое неизвестно откуда возьмется.

Готовя эту статью, я перелистал антологию «Строфы века», подготовленную Евтушенко и Витковским. Это серьезный труд, достойный многих по-

хвал. Но поразительно, как мало в данном огромном томе стихов, в которых звучала бы тема пространства! Зато ощущение той тесноты, о которой писал Введенский, присутствует повсеместно. В современной русской поэзии пространство – редкая тема. Из пишущих сегодня поэтов можно назвать немногих, которым она близка, – Ивана Жданова, Александра Кушнера. Зато в прежней русской поэзии тема пространства прямо-таки царствовала. Возьмите Державина, Фета, позднего Некрасова. Возьмите Тютчева, наконец.

*Дайте Тютчеву стрекозу –
Догадайтесь, почему!*

(О. Мандельштам.
Стихи о русской поэзии)

4. Вполне тривиально утверждение, что в эмоциональном отношении к пространству, как к предмету искусства, основную роль играет его размер по отношению к нам и к нашей среде обитания. Если эти размеры сравнимы, то пространство есть предмет для пластических искусств, для дизайна, для архитектуры. В поэзию пространство входит, когда оно достаточно велико, по крайней мере, – поле и город. Здесь с ней еще соревнуется живопись. Предметом исключительно поэзии является еще большее пространство – страна, планета, дальние страны. И, тем более, звездное небо, космос, вселенная. Уместно вспомнить слова, этимологически родственные слову «пространство» в русском языке. Это, например, «простираание», «сторона», «странник». Непосредственно «пространство»

происходит (см. Фасмер, Этимологический словарь русского языка) от слова «простор». «Простор полей» – не только общее, и потому заезженное, место в традиционной русской поэзии. Оно может служить источником очень тонких переживаний. Возьмем опять самые хрестоматийные примеры:

*Проселочным путем люблю скакать в телеге
И, взором медленным пронзая ночи тень,
Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге,
Дрожащие огни печальных деревень.*

(М. Лермонтов)

*Где бодрый серп гулял и падал колос,
Теперь уж пусто все – простор везде,
Лишь паутины тонкий волос
Блестит на праздной борозде.*

(Ф. Тютчев)

Или вот лаконичный шедевр Юрия Иваска:

*Поле, поле, поле,
Пули, пули, пули,
Пели, пели, пели,
Пали, пали, пали.*

Это стихи о гражданской войне, о совершенном напрасно подвиге самопожертвования. Но пространство, поле, присутствует здесь как самостоятельный субъект. Это вообще характерно для «военной поэзии». Со времен былин «чистое поле», в котором происходит сражение, никак не есть просто неодушевленное и безразличное место, а всегда молчаливый и грустный наблюдатель людского безумия.

Здесь мы все время говорим о пространстве, охватываемом нашим взором – так сказать, о пространстве до горизонта, или немного дальше. Такое пространство – одна из любимых тем поэзии Пастернака, звучащая во многих его стихах. Как всегда, у Пастернака пространство не просто одушевлено, оно, как минимум, эмоционально равноправно человеку или даже превосходит его.

*Известно ли, как влюбчиво
Бездомное пространство,
Какое море ревности
К тому, кто одинок,
Как по извечной странности,
Родимый дух почувствовав,
Летит в окошко пустошь,
Как гость на огонек?*

(«Лейтенант Шмидт»)

Или:

*Пространство спит, влюбленное в пространство,
И город грезит, по уши в воде,
И море просьб, забывшихся и страстных,
Спросонья плещет неизвестно где.*

(«Спекторский»)

Сравнимый подход к пространству звучит у любимого Пастернаком Рильке. Пастернак немного переводил Рильке, и вот, в одном из переводов:

*Сквозь рощу рвется непогода,
Сквозь изгороди и дома,
И вновь без возраста природа,
И дни, и вещи обихода,
И даль пространств – как стих псалма.*

*Как мелки с жизнью наши споры,
Как крупно то, что против нас.
Когда б мы поддались напору
Стихии, ищущей простора,
Мы выросли бы во сто раз.*

Тема пространства не оставляла Пастернака до старости:

*Нет, надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы, в конце концов,
Завоевать любовь пространства,
Услышать будущего зов.*

Подобные примеры можно приводить до бесконечности. Анализ восприятия пространства крупными русскими поэтами занял бы множество страниц. Были случаи, когда один и тот же поэт воспринимал пространство по-разному в разные периоды своего творчества. Ранний Заболоцкий эпохи «Столбцов» не похож на поэта пространства. В центре внимания – ирония над «наличным» бытием большинства и стремление решать чисто по созданию новых форм стиха. И все же, тема пространства возникает – и в «Знаках зодиака», и в «Поэме о времени».

*Легкий ток из Чаши «А»
тихо льется в Чашу «Б»,
вяжет дева кружева,
пляшут звезды на трубе.
Поворачивая ввысь
Андромеду и Коня,
над Землею поднялись
кучи звездного огня.*

Пока поэт только кокетничает с ней. Но она уже заняла место в его сердце. Дальнейшее так же неизбежно, как приход любви. Через некоторое время тема пространства буквально взрывается в Заболоцком, захватывая его едва ли не целиком. Он становится великим поэтом пространства. Чего стоит стихотворение «Где-то в поле, возле Магадана»! А «Путешествие Рубрука к монголам» – это прежде всего потрясающая сага об огромном, разоренном и выстуженном пространстве, одна из поэм о трагическом и бескрайнем пространстве России. Отнесение действия в тринадцатый век позволило автору обойти цензуру.

Вот еще строки Заболоцкого из стихотворения «Гурзуф»:

*В большом полукружии горных пород,
Где, темные ноги фазуов,
В лазурную чашу сияющих вод
Спускается сонный Гурзуф,
Где скалы, вступая в зеркальный затон,
Стоят по колено в воде,
Где море поет, подперев небосклон,
И зеркалом служит звезде.*

Естественным жителем пространства является ветер. И это – меньше всего банальная тема:

*Я живу на важных огородах,
Ванька-ключник мог бы здесь гулять.
Ветер служит даром на заводах,
И далеко убегает гать...*

*Чернопахотная ночь степных закраин
В мелкобисерных иззябла огоньках...*

(О. Мандельштам)

Это поразительно, какими изобразительными возможностями при предельной краткости формы обладает поэзия! Одна строка «ветер служит даром на заводах» стоит целого романа. Ветер – это, кроме всего прочего, – еще и творец пространственных форм:

*Ветер гуляет по пустырю,
не отыскав ночлега,
не для того, чтоб смутить зарю
новым порядком снега.*

(И. Бродский)

Или:

*Скажи мне, чертежник пустыни,
Арабских песков геометр,
Ужели безудержность линий
Сильнее, чем дующий ветр?*

(О. Мандельштам)

5. Здесь впервые поэзия соприкасается с наукой о пространстве – геометрией. Геометрию, как и вообще науку, открыли древние греки, хотя кое-что знали уже и египтяне. Иначе они не построили бы своих пирамид. Исторически геометрия была первой наукой в современном, точном смысле этого слова. Разработанный здесь метод рассуждений (аксиомы, теоремы) был кодифицирован в «Началах» Евклида, книге написанной много раньше Нового Завета, за триста лет до нашей эры. «Начала» – это целиком и полностью книга о пространстве. Она оказала огромное влияние на развитие цивилизации. В девятнадцатом веке, во времена Гаусса и Гете, она была

реальным университетским учебником. В Новое время такие крупные философы, как Декарт и Спиноза, писали свои книги по образцу «Начал» Евклида. Их философия оказала большое влияние, но «геометрический метод» в философии не прижился.

Философия по традиции любит называть себя «наукой», но сложившийся способ писания философских текстов имеет мало общего с канонами, принятыми в позитивной науке, опирающейся на факты, будь то физика, лингвистика или история. При сравнении столь базисных составляющих нашей цивилизации – философии, науки и искусства (религию мы пока оставим в стороне) – полезно обратиться к исторической традиции.

Древние греки весьма уважали философию, но совершенно отделяли ее от искусства. Математика, геометрия, напротив, считались формой искусства. Этот взгляд на вещи сохранился и в средние века. Арифметика, геометрия и астрономия, наряду с музыкой, составляли «квадриум» – вторую ступень «семи свободных искусств». Философия в их число не входила.

У греков была специальная муза, покровительница геометрии и астрономии, – Урания. Она изображалась с циркулем и глобусом в руках. (Древние греки с очень давних времен знали, что земля – шар!) По существу, Урания – муза пространства. По мнению Евгения Рейна, Урания – самая холодная из муз. Рейн – мой близкий друг, но здесь я возражаю. Я согласен с Бродским, что Урания древнее, чем Клио, муза истории, но почему холоднее?

Вот передо мной лежит прекрасно изданная *Chronicle of the Roman Emperors*, от Августа до Кон-

стантина. Автор – Крис Скарр, ведущий сегодня в США популяризатор античной истории. Возьмем для примера главу про императора Каракалла. В 210 году нашей эры Каракалла пытался заколоть ударом в спину своего отца, престарелого императора Септимия Севера. Только крики окружающих помешали ему сделать это. На следующий год Септимий Север скончался, и Каракалла стал править вместе со своим младшим братом Гетой. В том же году Каракалла зарезал Гету в присутствии их общей матери, на ее руках Гета и умер. Через четыре года Каракалла поехал в город Александрию и, по неизвестным причинам, (возможно, просто дурное настроение), учинил там резню, убив тысячи человек. В 217 году он заболел расстройством желудка, хроническим поносом, какой-то формой дизентерии. Оттого во время поездки по нынешней Сирии, он остановил повозку и пошел в кусты, сопровождаемый своим телохранителем. Там он и был поражен им, «одним ударом меча в тот самый момент, когда снимал штаны». За этим стоял заговор, но телохранитель имел личные причины. В свое время Каракалла отказался произвести его в центурионы.

И такова вся история, во все времена, вплоть до происходящего сегодня в России. И вы хотите сказать, что это живее и интереснее математики и физики? Вспоминаются стихи Бродского, посвященные Евгению Рейну:

*Скучно жить, мой Евгений. Сколько ни странствуй,
жестокость и тупость скажут тебе – здравствуй!*

*Вот и мы! Скучно пихать в стихи их,
как говорил поэт – и на всех стихиях,*

*Далеко же видел, сидя в своих болотах!
Про себя добавим – и на всех широтах!*

Нет, Урания не холоднее Клио, не холоднее и других муз. Ей знаком «жар холодных числ» и соблазн «пылких теорем». Те немногие, которые генетически предназначены для профессиональных занятий точными науками, переживают предмет своих исследований не менее эмоционально, чем переживают свое творчество поэты, художники и композиторы. Мне рассказывали о мальчике, которого неразумные родители мучили игрой на фортепьяно, и который, убегая от них, складывал камешки и рисовал фигуры, и однажды самостоятельно доказал теорему Пифагора. Это был несчастный мальчик. Ему так и не разрешили стать профессиональным математиком. Эмоциональная жизнь профессиональных математиков вряд ли описана в литературе. Некоторое, хотя и очень приблизительное, представление о ней может дать набоковская «Защита Лужина», в которой с блеском изображена внутренняя жизнь профессионального шахматиста. Но шахматы и наука – это очень разные вещи.

Есть еще одно общее у науки и искусства. Как искусство окружено шлейфом любительщины, графомании, всяческой «художественной самодеятельности», так и поодаль от науки всегда была, есть и будет псевдонаука, «патология науки», по выражению Л. Д. Ландау. Каждое новое поколение – это *tabula rasa*, оно должно учиться всему заново. В том числе и точным наукам. В мозгу каждого индивидуума онтогенез должен повторить филогенез. Эта дорога

не всем по плечу. Для многих трудности оказываются непреодолимыми. В большинстве случаев такие люди просто не выбирают науку в качестве профессии. Но иногда берут верх амбиции, и тогда формируются псевдоученые, отрицатели теории относительности и квантовой механики, изобретатели машин времени и доморощенных теорий элементарных частиц. Имя им легион. До недавнего времени в их числе были «ферматисты» – доказатели великой теоремы Ферма. Два года назад теорема Ферма была, наконец, доказана. Это сделал не любитель, а профессор Принстонского университета Эндрю Вайлс, высокий, худой, симпатичный, скромный и довольно молодой человек.

Графоманы и художники-любители, как правило, безвредны и никому не угрожают. В отличие от них люди, отрицающие науку, могут быть агрессивны и социально опасны. Трое моих друзей, профессоров математики (двое в Греции, один в США), были застрелены, причем своими бывшими студентами, недоучившимися бездарями. Случаи нападения из идейных соображений на представителей науки происходили и в России. Так что, псевдонаука – отнюдь не безобидное явление. Есть и более серьезные причины относиться к ней с жесткой непримиримостью. Поскольку каждому новому поколению приходится учиться заново, преемственность поколений зависит от качества и здоровья социальных институтов, осуществляющих поддержку образования. Потеря этой преемственности может привести к возвращению варварства, если не в масштабах всего человечества, то, по крайней мере, в некоторой отдельно взятой стране. Мы слишком беспечны, когда, гордясь собст-

венной культурой, думаем, что ей ничто не угрожает. Очень даже угрожает. Вполне может случиться, что пройдет время, и вся русская словесность станет лишь неким файлом в некоем суперкомпьютере будущего.

6. Вернемся, однако, к предмету настоящей статьи. Родственными к слову «пространство» являются: «страна», «странный», «странствовать». «Муза дальних странствий» – не только изобретение Гумилева. Она вдохновляла поэзию с древнейшего времени, со времен песен о Гильгамеше, шумерском герое, совершившем поход в страну ливанского кедра и достигшем края света в поисках волшебной «травы бессмертия». И «Одиссея» – это не только гимн человеческому хитроумию и предприимчивости. Это еще и сага об Океане, который пространственно огромен и одновременно тесен, ибо буквально наполнен неведомыми островами, от острова лестригонов до острова феаков, и к тому же персонифицирован отнюдь не благожелательным богом Посейдоном.

*И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился,*

пространством и временем полный.

(О. Мандельштам)

Русские мало путешествовали по океанам, и в нашей современной поэзии тема «дальних странствий» представлена, пожалуй, только Гумилевым, хотя кое-что есть и у других поэтов. Вот у Блока:

*Случайно на ноже карманном
Найди пьиминку дальних стран,*

*И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман.*

Зато в английской поэзии тема дальних странствий – одна из осевых. Здесь были специальные «морские» поэты, для которых эта тема была основной. Таков, например, Кольридж, чье главное произведение «Сказание о старом мореходе» – образец романтической поэзии, соединение мистики с географией. Хорошие переводы на русский язык этой поэмы мне неизвестны, хотя ее, конечно, переводили. Зато в тридцатые годы И. Кашкин очень хорошо перевел другого, более близкого нам по времени, «морского» поэта Джона Мейсфилда (1878–1967). В отличие от Кольриджа, он, в самом деле, в молодости был матросом, хотя впоследствии стал оксфордским профессором. Вот один фрагмент из него:

*Опять меня тянет в родные моря,
К просторному солнцу и морю,
И нужно мне только, чтоб свет заслоня,
Руль направляли звезды и зори.
И взмахи кормы, и маятник рей,
И ветром наполненный парус,
И мгlistый туман на глади морей,
И мгlistых рассветов пожары.*

Тема огромности планеты и, вместе с тем, какой-то близости всех ее частей, доминирует у Киплинга. Это, конечно, естественно для певца империи, над которой никогда не заходило солнце. В фильме Н. Михалкова «Жестокий романс» в качестве цыганского романса исполняется перевод из Киплинга («Ворсис-

тый шмель на душистый хмель» и т. д.). В подлиннике это стихотворение действительно называется «Цыганский путь» (The Gipsy trail), но по сути дела не имеет ничего общего с нашей цыганщиной. Это вообще одно из самых империалистических стихотворений Киплинга. Герои его – никакие не цыгане, это «младшие дети» аристократических английских фамилий, которым не достается майорат и которые должны стремительно объехать весь мир, чтобы найти подходящее место для своей будущей процветающей плантации. Где-нибудь в Австралии или на Гвиане. Пафос стихотворения Киплинга состоит в том, что у молодого человека, затеявшего подобное дело, всегда найдется достойная подруга. А потом – весь мир у их ног. (And the world is at our feet.) Кстати, Киплинга за его империализм нигде, кроме России, не любят.

7. В русской поэзии место огромности земного шара занимает тема пространственной огромности России. Это – трагическая тема. Вот у Андрея Белого:

*Века нищеты и безволя,
Позволь же, о родина-мать,
В сырое, в пустое раздолье,
В раздолье твое прорыдать...*

.....

*Туда, где смертей и болезней
Лихая прошла колея, –
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!*

Или – одно из лучших стихотворений Блока, все наполненное ощущением пространства России:

*Когда в листве сырой и ржавой
Рябины заалеет гроздь, –
Когда палач рукой костлявой
Вобьет в ладонь последний гвоздь, –*

*Когда над рябью рек свинцовой,
В сырой и серой высоте,
Пред ликом родины суровой
Я закачаюсь на кресте, –*

*Тогда – просторно и далеко
Смотрю сквозь кровь предсмертных слез,
И вижу: по реке широкой
Ко мне плывет в челне Христос.*

*В глазах – такие же надежды,
И то же рубище на нем.
И жалко смотрит из одежды
Ладонь, пробитая гвоздем.*

*Христос! Родной простор печален!
Изнемогаю на кресте!
И челн твой – будет ли причален
К моей распятой высоте?*

Оба эти стихотворения написаны задолго до Первой мировой войны, во времена, которые кажутся нам сегодня вполне благополучными. Россия бурно росла экономически, была уже Дума, и не было еще Распутина. Нам трудно понять, почему для современников это были «страшные годы России»? Когда настали, действительно, страшные годы, тема трагической обреченности русского пространства зазвучала уже во всю силу:

*Расплясались, разгуделись бесы
По России вдоль и поперек,
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный Северовосток.
Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоёмов,
Красных туч и пламенных годин.*

(М. Волошин, 1920)

В советское время тема трагической огромности России стала запрещенной. Ее еще мог позволить себе Есенин. («Пугачев», «Сорокоуст», да и множество других прекрасных и пронзительных стихов, «В том краю, где желтая крапива...», например). Но Есенин, по крайней мере, до смерти Сталина, был гвоздем в сапоге у официальной литературы, выдернуть который не удавалось из-за его огромной популярности. Тема пространства не вызвала доверия. Даже Леонид Мартынов, воспринимавший пространство скорее романтически и оптимистически, был нежелателен. Впрочем, эту подозрительность можно понять:

*Но посылали вы
Сюда лишь только тех,
Кто с ног до головы
Укутан в темный грех.
Ведь, правда, было так?
Труби, норд-ост, могуч,
Что райских птиц косяк
Летит меж снежных туч.*

*Косяк безгрешных душ
Ему наперерез.
Пути, зима, завьюжсь,
В снегах Эрцинский лес.
В снегах Эрцинский лес,
В снегах Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес!*

Сейчас уже многое сделано по изучению «подпольной» поэзии сталинского времени, писавшейся не только запрещенными поэтами (как Н. Клюев), но и людьми, формально в «литературу» никогда не входившими. Оказалось, что это большой пласт русской поэзии. На мой взгляд, самым ярким из этих поэтов был Даниил Андреев, весьма популярный сегодня в качестве мистического философа. В его исторических поэмах тема российского пространства и его судьбы была одной из основных. Но стихи Даниила Андреева оставались скрытыми от Читателя еще много лет после его смерти и не оказали на дальнейшую поэзию того влияния, которого они заслуживали.

Так же были неизвестны и сохранились лишь в архивах КГБ поздние стихи Н. Клюева. Они поражают своей пророческой точностью:

*К нам вести горькие пришли,
Что зыбь Арала в мертвой тине,
Что редки аисты на Украине,
Моздокские не звонки ковыли,
И в светлой Саровской пустыне
Скрипят подземные рули.*

*Нам вести душу обожгли,
Что больше нет родной земли.*

О том, что Аральское море погибло, знают все. И теперь уже все знают о том, что в начале пятидесятих годов в Сарове был построен крупнейший в России центр по разработке и производству ядерного оружия.

Вполне естественно, что тема несчастной судьбы российского пространства была одной из главных в эмигрантской поэзии. Здесь были написаны подлинные шедевры.

*Покамест день не встал
С его страстями стравленными –
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю...*

...

*Туман еще щадит,
Еще, в холсты запахнутый,
Спит ломовой гранит,
Полей не видно шахматных...*

...

*И – шифре раскручу:
Невидимыми рельсами
По сырости пушу
Вагоны с погорельцами.*

(М. Цветаева)

Или:

*Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму,*

слово вымолвить, нелепая внешняя политика и, главное, отсутствие свободы, отсутствие возможности поехать за границу, невозможность написать по собственному усмотрению и опубликовать, например, такую статью, как эта. Это недовольство породило литературу протеста, одним из пионеров которой был Бродский, потом – Венедикт Ерофеев. Я сознательно не называю Солженицына, который после своей вынужденной эмиграции перестал оказывать влияние на литературную жизнь России.

Уже у Ерофеева тема протеста против большевиков и их наследников перешла в усмешку над Россией вообще, пока еще трагическую. «Поэма» Венедикта Ерофеева была переведена и многократно издана на Западе, но осталась там практически незамеченной. Зато в России ее влияние было огромно. У многочисленных последователей трагический элемент быстро куда-то исчез, и его место занял брезгливый национальный мазохизм, такое вот высокомерное юродство, вариации на тему: «Дернул меня черт с моим умом и талантом родиться в России!» В результате огромных перемен, происшедших в нашей стране за последние десять лет, литературная богема впала в отчаянную бедность, а национальное самоедство можно было продавать на экспорт. Теперь, после окончания холодной войны, это становится все труднее. Я пишу все это не для того, чтобы кого-то судить. В моих собственных стихах начала восьмидесятых годов есть мотивы горькой насмешки над страной.

Но вот Анна Андреевна Ахматова. 1921 год был годом голода и смертей. И у нее было достаточно и

чисто личных причин презирать и ненавидеть происходящее. Но вот, что тогда было написано:

*Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькало крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?*

*Днем дыханьями веет вишневыми
Небывальи́й под городом лес,
Ночью блещет созвездьями новыми
Глубь прозрачных июльских небес, –*

*И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам...
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.*

Увы, в процветающем сегодня брызгливом мазохизме нельзя усмотреть даже намеков на подобную душевную высоту. Читая многие сегодняшние стихи (еще раз скажу, не хочется их цитировать), я испытываю тот самый «стыд за другого», который Л. Н. Толстой считал самой жгучей формой стыда.

Искусство, в том числе и поэзия, имеет свои законы. Хайдеггер противопоставлял «плебейское чувство обиды» «аристократическому чувству вины». Поэзия, в которой звучит чувство вины, имеет шанс выжить, а стихи, вдохновленные обидой – это даже не «однодневки», это стихи, мертвые от рождения. Особенно, если обида искусственно раздута. А так часто бывает. Интересно, что при любой попытке перевести такие стихи на иностранный язык происходит катастрофа. При пере-

воде неточности моральной позиции усиливаются бесконечно.

Имя Бродского широко известно в США. Его книги можно найти в любом книжном магазине. Но, к моему удивлению, оказалось, что если исключить круг профессиональных славистов, его знают, прежде всего, как политическую фигуру, затем как эссеиста. Как поэта его ценят довольно умеренно. Более всего – «Большую элегию Джону Донну». И это не потому, что Бродский – непере译одимый поэт. Как раз наоборот, как поэт мысли и образа он переводим гораздо лучше Пушкина, поэта ускользающего звука. И он переведен чуть ли не полностью. Но периодически звучащие у него нотки неуважения к людям (как объяснить американцу значение слова «чучмек»?), его непонятное здесь презрение к собственной стране, несовместимы с западной литературной традицией. Мне приходилось тратить немало времени, доказывая, что Бродский был великий поэт.

8. Теперь об отношении поэзии к большому пространству, к Космосу, ко Вселенной. Пока господствовала геоцентрическая, птолемеева, система мира, космоса в его сегодняшнем понимании в сознании людей просто не было. Самым большим на свете был размер Земли. Над Землей были сферы, затем твердь небесная, выше – рай и место пребывания Бога и ангелов. Размеры Земли были вычислены еще древними греками, а размеры сфер подразумевались не намного большими. Человечество лишь очень постепенно стало осознавать подлинные размеры Вселен-

ной. Гелиоцентрическая система Коперника вполне утвердилась только во второй половине семнадцатого века. Тогда же было определено расстояние до Солнца. Оно оказалось в двадцать четыре тысячи раз больше диаметра Земли. Размеры до планеты Сатурн (последней из тогда известных планет) еще примерно в десять раз больше. Эти цифры произвели большое впечатление. Поэты эпохи Просвещения стали писать о физическом космосе.

В то время первых успехов наук отношение к космосу было благожелательное и оптимистическое. Ломоносов, химик и металлург, воспринимал космос как мастерскую Господа, бесконечно превосходящую, но не чуждую подобия его собственной мастерской. Вот что он писал о Солнце:

*Там огненны валы стремятся
И не находят берегов;
Там вихри пламенны крутятся,
Борющись множество веков;
Там камни, как вода, кипят,
Горящи там дожди шумят.*

(Утреннее размышление
о Божием величестве)

Было еще «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния»:

*Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна.
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,*

*В свирепом как перо огне,
Так я, в сей бездне углублен,
Теряюсь, мыслями утомлен.*

*Уста премудрых нам гласят:
Там разных множество светов;
Несчетны солнца там горят,
Народы там и круг веков...*

Это один из редких в русской литературе удачных образцов «метафизической поэзии». И, по моему, ничего лучшего о реальном космосе с тех пор не написано.

Во времена Ломоносова астрономы еще не знали расстояний до звезд. Их измерили в начале девятнадцатого века. Они оказались огромны. Потребовалось ввести новые единицы измерения – световой год, парсек. Световой год – это десять в шестнадцатой степени наших родных метров. Все это вполне поддается рациональному умупостижению, но совершенно несовместимо с нашим подсознанием. Вряд ли это – предмет для будущей поэзии. Разве что, для совершенно бурлескной:

*Один генсек зашел в отсек,
Глядит, а там сидит парсек,
Он голову ему отсек.
Се – Человек!*

(Е. Рейн)

Или:

*Ах, мартышечка моя,
Дорогая Пишек,*

Есть в пределах бытия

Черных дыр излишек.

(С. Стратоновский)

Сколько черных дыр в космосе – точно не известно. Но вполне возможно, что Стратоновский прав, и их довольно много. И не дай Бог приблизиться к такой черной дыре. Они осуществляют «аккрецию», притягивая и поглощая вещество из окружающего мира. И тело, пересекающее некоторый «горизонт», окружающий черную дыру, ни при каких обстоятельствах не может вернуться оттуда. Что с ним произойдет, в конце концов, никто сказать не может. С нашей точки зрения, этот вопрос не имеет смысла. В нашей системе отсчета тело падает на черную дыру бесконечно долго. Но в системе отсчета самого тела это происходит за конечное время. На достаточно близком расстоянии от черной дыры любое тело будет разорвано и превращено в тонкую струю элементарных частиц.

В космосе еще бывают взрывы сверхновых звезд, когда звезда размером с земную орбиту за минуты сжимается до размера в десять километров. При этом выделяется такое количество энергии, что если одна из десяти тысяч ближайших к Земле звезд станет сверхновой, жизнь на Земле погибнет.

Вдали от этих больших катаклизмов, космос – пустынное и неудобное место, воистину «астрономически объективный ад». Самый утонченный из мыслителей семнадцатого века, Паскаль, интуитивно чувствовал это. Его не раздражали размеры родной Франции. Но о космосе он говорил: «Молчание этих пространств пугает меня».

Я согласен с ним. Ломоносов был неправ в одном. Следуя традиции, идущей от Джордано Бруно, он был убежден во множественности обитаемых миров и ожидал от космоса некоего подобия человеческой теплоты. На самом деле, космос холоден, огромен и равнодушен к человеку. Насколько, по сравнению с ним, уникальным и гостеприимным объектом является наша Земля! Несмотря на все существующие на Земле проблемы – экономические, экологические, политические, демографические, этнические и религиозные, Земля есть *единственное место* в обозримом космосе, пригодное для жилья.

И насколько она при этом уязвима для разных потенциальных опасностей!

Кроме взрывов сверхновых, есть скопления космической пыли, кометы, метеориты. Раз в несколько миллионов лет достаточно крупный метеорит поражает Землю. На севере штата Аризона (США), где климат сух и процессы выветривания медленны, прекрасно сохранился кратер от удара такого метеорита (Каньон Дьявола). Это чаша размером более полутора километров. Еще больший метеорит лежит на дне Мексиканского залива. Его падение было столь грандиозной катастрофой, что, возможно, вызвало гибель множества видов живых существ, в том числе динозавров. И такое происходило на протяжении геологической истории Земли десятки раз. Мне кажется, что ощущение Земли как единственного оазиса в космической пустыне до сих недостаточно проникло в сознание человечества.

Одним из любопытных реликтов рационалистической эпохи просвещения является научная фан-

тастика. Сегодня как серьезный литературный жанр она, скорее всего, кончилась и продала свое дело массовой культуре («Звездные войны», «Стартрек»), которая населяет космос всевозможными инопланетянами. Немало людей в это серьезно верит. Можно найти таких, которые думают, что в решительную минуту некий «космический разум» спасет человечество, запугавшееся в своих проблемах. Увы, человечество может помочь себе только само. Реальность такова, что жизнь в космосе – чрезвычайно редкое явление. Во всей нашей Галактике, из ста миллиардов ее звезд, может быть, сотня имеет планеты, подобные нашей Земле, на которых *в принципе* могла бы возникнуть жизнь. Это отнюдь не значит, что она там возникла. Сегодня нет никаких сомнений в том, что жизнь произошла из одной единственной молекулы ДНК, оказавшейся способной к редупликации. Многие ученые считают, что вероятность появления такой молекулы настолько мала, что мы, вообще, одни во Вселенной.

Вряд ли кто-нибудь ответит на этот вопрос в разумном будущем. Но «вблизи» нас, в объеме с диаметром в тысячу световых лет, жизни, скорее всего, нет. Это достаточно достоверно.

9. Ниже будет приведен краткий обзор того, как современная наука представляет себе пространство и космос. Эти представления нельзя считать окончательными. Но к ним следует относиться серьезно. Они представляют собой результат напряженных усилий множества людей – астрономов, математиков, физиков-теоретиков в течение нескольких десятилетий.

Несколько слов о ближнем космосе, о Солнечной системе. Ни на планетах, ни на их спутниках жизни, конечно, нет. Но они – интереснейшие объекты для научных исследований. Например, на спутнике Юпитера Ио – множество действующих вулканов и постоянно идут извержения, тогда как другой спутник Юпитера – Европа – полностью покрыт слоем льда, под которым, возможно, скрывается огромный океан. Что же касается «звезды Венеры» (которая есть «Веспер золотой»), то на ней идут дожди из кипящей серной кислоты, и посылка на нее экспедиции с участием людей ни в каком обозримом будущем не представляется возможной.

Теперь о космосе в целом. Еще в сороковые годы в России полагалось обязательным считать, что пространство вечно, бесконечно и в среднем равномерно наполнено материей. За высказывания иных взглядов профессор университета, особенно провинциального, мог легко потерять работу и подвергнуться репрессиям****. Между тем, еще в прошлом веке было понято, что такое «материалистическое» представление о пространстве является грубо ошибочным и приводит к целому ряду неразрешимых парадоксов. Простейшим из них является «фотометрический» парадокс. Поскольку звезды во Вселенной расположены случайно, любая прямая где-то должна пересечь поверхность какой-нибудь звезды. Значит, куда бы мы ни смотрели, взгляд всегда будет направлен на звезду. Ночное небо должно сиять, как поверхность Солнца. Есть и другие, не менее серьезные парадоксы. Выход из них наметился после двух существенных достижений науки – построения

Эйнштейном общей теории относительности и открытия Хабблом явления «разбегания галактик». Необходимо упомянуть еще работы А. А. Фридмана, построившего математические модели расширяющейся Вселенной. Синтез этих результатов привел в 1929 году бельгийского астрофизика Леметра к формулировке гипотезы «большого взрыва» (Big Bang), которая до сих пор является основой современных космологических представлений. Интересно отметить, что Леметр был не только ученым, но и католическим священником.

Согласно общепризнанной сегодня теории большого взрыва, мир существует конечное время, и имел место момент его возникновения. Это произошло около четырнадцати миллиардов лет назад.

В момент возникновения мир был очень маленьким. С тех пор он непрерывно увеличивается в размере, и успел расшириться настолько сильно, что пространство сегодня является с большой точностью плоским Евклидовым. Вблизи нейтронных звезд и черных дыр пространство кривое.

Рассматривая в телескоп отдаленные объекты Вселенной, мы рассматриваем прошлое. Чем дальше мы видим, тем в более далекое прошлое мы смотрим. Поэтому история Вселенной нам достаточно хорошо известна из астрономических наблюдений (примерно 92% ее времени жизни). На ранних стадиях катастрофические явления происходили во Вселенной гораздо чаще, чем сейчас. Фотографии, которые делаются (конечно, при помощи компьютеров, в синтезированных цветах) большими телескопами, особенно установленными на спутниках,

очень живописны. На них можно увидеть такие грандиозные события, как поглощение черными дырами целых звездных скоплений. Эту живописность еще в 1931 году предсказал отец теории «большого взрыва» Джордж Леметр: «Эволюция Вселенной может быть сравнена с фейерверком, который уже закончился. Несколько струек красного огня, пепел и дым. Стоя на холодной золе, мы наблюдаем угасание солнц и можем только вообразить себе, насколько красочным было начало мира».

Первый миллион лет своего существования Вселенная была непрозрачна для световых лучей. И заглянуть в это раннее время будет очень трудно, какие бы совершенные телескопы люди ни строили на Земле или в космосе. Однако, знание законов физики позволяет восстановить и раннюю историю Вселенной достаточно уверенно. Мы говорим о том, что было в первые минуты, секунды, и даже столь малые доли секунды, когда Вселенная была размером с горчичное зерно. Я советую всем прочесть прекрасную популярную книгу С. Вайнберга «Первые три минуты».

Трудности начинаются, когда мы хотим описать самые ранние моменты существования Вселенной, когда она имела размеры, сравнимые с размерами атомов. Большой скачок в понимании происходивших здесь процессов связан с именем С. Хокинга, одного из самых мужественных людей нашего времени. Это произошло в начале восьмидесятых годов XX века. Согласно современным представлениям, Вселенная первоначально имела размеры, настолько же меньшие размера электрона, насколько электрон меньше светового года. И расширение ее от этого

исходно ничтожно малого размера до размера атома водорода произошло практически мгновенно (так называемая «инфляция»). В это время Вселенная состояла из некоего гипотетического протовещества. Оно, хотя и имело колоссальную плотность, в некоторых отношениях неотлично от вакуума. Поэтому не лишено смысла утверждать, что «Вселенная создана из ничего».

Вопрос о том, что было *до* возникновения Вселенной, по сути дела был решен еще раннехристианским богословом Августином, который учил, что время было создано вместе с миром. То есть, «нормальное» четырехмерное пространство-время возникло только после «акта творения». Каким при этом было пространство? Есть теория, что оно имело тогда десять измерений, но по шести измерениям оставалось свернутым в «трубочку» диаметром порядка планковской длины.

10. Таков реальный космос в глазах современной науки. Он, увы, не очень похож на предмет для поэзии. Допустим, некий будущий поэт примет участие в экспедиции на Марс и захочет написать об этом поэму. Независимо от того, на каком языке он пишет, перед ним встанет труднейшая проблема – как найти слова для описания того, что он видит? В его языке этих слов просто не будет, а все сравнения с земными пейзажами (даже с пустыней в Аризоне) покажутся крайне бледными. Поэзия опирается на «коллективное бессознательное», на генетически закрепленный опыт человеческого рода, причем на ту именно его часть, которая экспонировала себя в язы-

ке. Никакой информации о реальном космосе в этом «коллективном бессознательном» нет. А если бы была, наши предки испытали бы к космосу чувства, подобные чувствам Паскаля. Но над головами людей было *звездное небо*. И возникали такие стихи:

*Выхожу один я на дорогу,
Сквозь туман кремнистый путь блестит,
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит.*

(М. Лермонтов)

Или:

*На стоге сена ночью южной
Лицом ко тверди я лежал,
И хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.*

*Земля, как смутный сон немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь.*

*Я ль неся к бездне полуночной,
Иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной
Над этой бездной я повис...*

(А. Фет)

В этих примерах главное – коммуникация их авторов с пространством, непохожим на «чистое поле», – с «пустыней», с «бездной полуночной», с обителью звезд «живых и дружных». И там, конечно, обитает Бог, с его «дланью мощной».

С тех пор, как человеческий род отделился от животного мира, звездное небо стало волновать его. В известном фильме «Борьба за огонь», где очень тонко описан процесс очеловечивания прачеловека, в последних кадрах первая, уже человеческая, пара молча смотрит на сияющую в небе звезду.

Простой факт существования звездного неба всегда был одним из источников, питающих поэзию. О звездном небе во все времена на всех языках мира было написано множество прекрасных стихов. И, конечно, каждый поэт строил при этом образ космоса по своему усмотрению. Вот у Лермонтова Демон вспоминает о временах:

*Когда сквозь вечные туманы,
Познанья жадный, он следил
Кочующие караваны
В пространстве брошенных светил.*

Заметим, у Лермонтова Демон – «познанья жадный».

А вот космос Мандельштама:

*Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными,
Золотыми обмолвками, ябедами,
Ядовитого холода ягодами –
Растяжимых созвездий шатры,
Золотые созвездий жиры...*

*Сквозь эфир десятично-означенный
Свет размолотых в луч скоростей*

*Начинает число опфзрачненньй
Светлой болью и молью нулей...*

...

*Аравийское месиво, крошево,
Свет размолотых в луч скоростей,
И своими косыми подошвами
Луч стоит на сетчатке моей.*

(Стихи о неизвестном солдате)

Многое в этих стихах звучит как родное нам, физикам и математикам. Мандельштам был одним из немногих поэтов, который живо интересовался современной наукой, имел друзей в ученом мире и, вообще, относился к науке без высокомерия и раздражения, часто присущего литераторам. Возможно, он даже знал о теории «большого взрыва». А может быть, я вообще неправ, считая, что реальный космос не есть предмет для поэзии...

На самом деле совсем неважно, как много поэт знает о реальном космосе. Важно то, что есть в нашем «коллективном бессознательном». А там уже в древнейшие времена звездное небо, под которым выросло человечество, породило устойчивую парадигму существования иных, «неземных» миров. Конструировать эти миры есть одна из высших задач поэзии. И необязательно помещать их в наше физическое пространство. Они вполне могут быть нашему пространству трансцендентны. Например, находиться за «огненной рекой». Вот стихи Ходасевича на смерть кота Мурра:

*В забавах был так мудр и в мудрости забавен –
Друг утешительный и вдохновитель мой!*

*Теперь он в тех садах, за огненной рекой,
Где с воробьем Катулл и с ласточкой Державин.*

*О, хороши сады за огненной рекой,
Где черни подлой нет, где в благодатной лени
Вкушают вечности заслуженный покой
Поэтов и зверей возлюбленные тени!.*

На этом нужно остановиться. Тема «иных пространств» и «иных миров» в поэзии настолько глубока и значительна, что это предмет для отдельной статьи.

«Иные миры» существуют в мифах всех народов мира. Об этом предмете можно справиться в известной и действительно замечательной энциклопедии. Из нее мы узнаем, что кроме «верхнего мира» всегда был «нижний мир», и что проблема иных миров имеет и нравственное наполнение, что, впрочем, очевидно. Так же очевидно то, что все мифы сочинены конкретными людьми, и живи эти люди сейчас, они были бы поэтами. Поэтому и сегодня тема «иных миров» есть постоянный вызов каждому поэту. Отказывающийся откликнуться на этот вызов рискует оказаться ничтожнейшим из всех «детей ничтожных мира», и превратиться в скучного, мелкого честолюбца, живущего в коммунальной ссоре со всем по отношению к нему внешним.

Я хочу привести еще строки Бродского из «Большой элегии Джону Донну»:

*Но этот груз тебя не пустит ввысь,
откуда этот мир – лишь сотня башен
да ленты рек, и где, при взгляде вниз,
сей страшный суд почти совсем не страшен.*

*И климат там недвижим, в той стране.
Оттуда всё, как сон больной в истоке.
Господь оттуда – только свет в окне
туманной ночью в самом дальнем доме.*

II. Осталось вернуться в мир науки о космосе, который столь же романтичен, сколь и рационален, и задать себе деликатный вопрос. А вдруг эти «другие миры» в самом деле существуют? Не является ли наша Вселенная частью некоторого другого, гораздо большего мира? Не являются ли «черные дыры» ходами, пусть чрезвычайно узкими, в другие Вселенные? Не может ли еще раз произойти «акт творения», на этот раз уже внутри нашей Вселенной?

Что же, надо сказать, что профессионалы все чаще обсуждают – с некоторой стыдливостью и самоиронией – подобные вопросы между собой. Ставятся они иногда и в серьезных научных журналах. Вопросы эти трудные, и ответов на них пока нет. Но остановить интеллектуальную любознательность невозможно. Еще более трудными являются вопросы типа «почему»? Почему наша Вселенная такая, а не какая-нибудь другая? Мы уже можем ответить на вопрос – почему пространство плоское (в результате расширения), но отнюдь не понимаем, как объяснить экспериментально найденные значения «мировых констант». С точки зрения любой из обсуждаемых ныне теорий, эти константы могли бы быть и другими. Одно из существующих остроумных объяснений (антропоморфный принцип): «Другие Вселенные, возможно, существуют, но в них не может существовать разумная жизнь. Поэтому их некому наблюдать».

А вот следующий вопрос вообще не имеет ответа – ни с точки зрения науки, ни с точки зрения поэзии. Почему вообще существует пространство? Почему Господу Богу недостаточно было держать наши бестелесные души в своем идеальном мире, но потребовалось поместить их в пространство, дав им телесную оболочку? Нужно будет спросить у Ю. И. Манина и С. П. Новикова****. Они ведь члены не только нашей, но и Папской академии наук в Ватикане. А там такие вопросы, надо полагать, обсуждают.

* Феликс Владимирович Широков был весьма замечательным человеком, и не только потому, что был одним из мужей Светланы Аллилуевой, дочери Сталина. Широко образованный, он знал многие языки, в том числе японский, был одним из главных переводчиков математической литературы. Был также большим знатоком английской поэзии.

** Это мало кому удается. Впрочем, сегодня довольно популярны «пространства Бесова». Их изобретатель, член-корреспондент РАН Олег Владимирович Бесов, живет и здравствует в Москве.

*** Виттен и Вильчек – ведущие фигуры в области теории элементарных частиц и космологии. Оба – сотрудники Института высших исследований в Принстоне. Александр Маркович Поляков – член-корреспондент РАН, профессор Принстонского университета. Юрий Иванович Манин – член-корреспондент РАН, директор Института математики имени Макса Планка в Бонне. Оба, будучи в России, были лидерами научной молодежи. С. Хокинг – крупнейшая фигура в современной космологии, профессор в Кембридже. Ведет активную научную деятельность, будучи полностью парали-

зованным вследствие рассеянного склероза. Пенроуз – также профессор в Кембридже.

**** Смотри роман Галины Николаевой «Битва в пути».

***** Сергей Петрович Новиков – академик РАН, почетный профессор Мерилендского университета, Вашингтон. В течении многих лет был президентом Московского математического общества.



Людия

КУСЕЛОВА

Простые
линии

* * *

Делят землю,
делят небо,
делят Бога.

До чего же
наша жизнь
еще убога!

Все едино –
и земля,
и Бог, и небо.

Не понявший это,
словно бы и
не был.



* * *

Люблю бездумно рисовать простые линии,
из которых неожиданно прорастают
узнаваемые предметы,
как будто из хаоса мне удалось
создать что-то вещественное,
из ничего – порядок.
Сижу и люблюсь им.

* * *

Скоро, совсем скоро
придет Новый Год.
Тысячелетиями ждут его люди
со все той же надеждой.
А как иначе?

* * *

ГЛЯДЯ НА ФОТОГРАФИЮ

Восемнадцатый блок-пост
далеко стоит на Ост.
Восемнадцатый блок-пост
с виду очень прост.
Издалёка-далека
простирается тайга.
Ни тропинки, ни дороги,
деревянный лишь настил –
в гости к другу пригласил.
Осень нынче глубока,
глубока и высока.
В деревянном доме том
славно было б жить вдвоем –
без забот и суеты,
ежедневной масты.
В телогрейке, сапогах,
рюкзачишко на плечах.



* * *

Ничто не мешало мне любить тебя
в это странное лето.
Ни твоя вечная занятость,
ни веселый нрав.
Ни солнце, безжалостно выжигавшее
твою кожу до красноты.
Ни твое философское спокойствие
в минуты отчаяния,
которое я не умела скрыть.

Ничто не мешало мне любить тебя
таким, каков ты есть.
Я любила тебя долго –
длинное, предлинное лето,
а море плескалось у ног...

* * *

Слова беспомощные бьются,
как птицы в клетке.
Как тесно им!



* * *

Господи, я не навещаю тебя в храме.
Сторонюсь толпы, боясь раствориться в ней,
потерять свой голос и волю.

Не это ли ты называешь гордыней?

Господи, я не славлю тебя в храме.
Какой это грех – не знаю,
но не могу восхвалять тебя.

Ведь нет на земле покоя,
и льется, льется кровь людей и животных.

Господи, не сомневаюсь, что ты есть.
Что был на земле среди нас, грешных
и знаешь, каково это.

Господи, не прошу отпустить грехи мои.
Отвечу за них сполна,
но яви милость –
выслушай...

* * *

Капля за каплей стекает время в реку вечности,
нет ему дела до нас,
 рождающихся или испускающих дух,
оно холодно и бесстрастно течет,
не обращая внимания на нас,
живущих.

Неумолимое, как палач, время делает свое дело –
каплю за каплей роняет глухо и равномерно,
только круглая бледная луна внимает ему.

И однажды это понимает каждый.

* * *

Хорошо бы стать точкой,
сжаться до предела,
чтоб душа отлетела
и не болела.

Что же до тела –
ему ждать любви надоело.
Хорошо бы стать точкой...
Да что станется с дочкой?

* * *

Ах, как славно!
Отболело, отвалилось, рассосалось,
ничего в душе бывшего не осталось!

Спокойна и светла моя душа,
небесный свет в нее легко струится.
Все в мире сущее к тому стремится –
гармония
земного
бытия.



* * *

Заварю траву я зверобоя
и немножко на луну повою,
нынче, милый, сладу нет с собою.

* * *

«Хай, госпожа Киселева!»

Из в-таил Ю. Буркина

Я такая же госпожа,
как и служанка.
Привычнее было
нам слышать «гражданка».
Девочкой была,
девушкой была,
женщиной была,
бабушкой стала,
а госпожой вот –
нет.

* * *

В голове сумбур,
и мысли скачут
с одного предмета
на другой.

Неужели это
правда, милый, –
твое сердце
занято другой?

В мире ничего
не происходит.
Так же длится
долгая зима.
Легкая метель
следы заносит
нашего с тобою
бытия.

* * *

Печаль полей,
сирот и вдов печаль,
твой скорбный цвет
сродни оттенку пепла...

* * *

И вот она пришла –
столь жданная свобода.

Что делать с нею?

* * *

Мы мудреем с годами.
Только что с этой мудростью делать?
Ни ее подарить,
ни ее передать,
ни задаром отдать.



* * *

Нет ничего проще – сказать:
«Я люблю тебя».
И мир светлеет.

* * *

Не может быть свободы
у народа,
когда он несвободен
изнутри.



* * *

О, как они томят –
слова в ночи,
пока не лягут на бумагу,
вернув душе покой.

* * *

Слова блуждают,
лепятся,
найти пытаюсь
свой звукопослушный ряд.

* * *

Проходит ночь,
а я не сплю,
как ангел, души близких охраняя.



* * *

Мне не нужны
твои ласки из милости.
Лучше – без ласки,
лучше – без милости.

* * *

Настанет зимний день –
я не надену лыжи;
придет апрель с капелью, в путь маня;
и благодный июль
мелькнет зарницей...
Увы,
все это
будет без меня.

* * *

Как вычеркнуть имя твое
из телефонных списков,
как обратить печаль
в счастливое сознание –
ты был моим самым близким другом?



* * *

Почему я думаю о тебе каждое утро?
Почему я думаю о тебе каждый вечер?
Почему я думаю о тебе?
Почему?



Геннадий
ПРАЩКЕВИЧ

Стихи
для Лидии Киселевой,
написанные
в Академгородке
в начале
шестидесятых

* * *

Дым из труб,
а тропа снежная.

Нежный и грубый,
но больше нежный,
я прихожу в незнакомый дом,
в дом, где мне каждый угол знаком,
где мне говорят: – Ну, как? Поостыл?
Я не остыл. Я просто простыл.
Я изучил от доски до доски
комнату, где шелестят сквозняки,
комнату, где прокурен насквозь
каждый проржавленный рыжий гвоздь.

Мне говорят:
– Успокойся, поэт.
Обидами полон белый свет.
Но кто же увидит, что в сердце моем
Дсва-Обида играет копьем?

* * *

Ко всему и ко всем
я тебя ревновал.
Обмораживал сердце,
в аду побывал.
Шел по снежному следу,
задыхаясь и злясь,
все изведаль –
неверие,
счастье
и грязь.
Но чужого не трогал,
своего не хранил.
Но, теряя дорогу,
вновь ее находил.
От тебя мне не скрыться,
и тебя не забыть.

Мне пришлось покориться,
чтоб тебя покорить.

* * *

Отплясывает вынужденный твист
сорвавшийся с ветвей осенних лист.

Каратами расчислены молитвы,
как карты передергиваю ритмы.

Гроза запаздывает, как нелепый фокус,
в глаза заглядываю, слушаю твой голос.

Роса по пальцам шариками бродит,
глаза печалются и в сторону уходят.

Но небо слышит, верует и видит:
вчера не вышло – сегодня выйдет.

* * *

Я много лет скитался
в краю сухих белил,
обламывая пальцы,
тропу свою торил,
и там, где низкий берег,
под шапкою лесов,
стрелял пушистых белок,
и грелся у костров.

Единственный хозяин,
закон тайги я знал:
ловушек зря не ставил
и зверя уважал,
но снег ложился густо,
стелил тропу мою,
и было пусто-пусто,
и грустно, как в раю.

* * *

Все это так нелепо,
все это так забавно –
опять уходит лето,
забыв сказать о главном.

Дождями утешается
рука эквилибриста,
а нежность замещается
заснеженностью чистой.

Устало удивленные
снут в миру оконном
снежинки, опаленные
сиянием иконным.

А сумерки столетние
рябинами багровыми
нам возвращают летнее
несказанное слово.

МАСТЕРА КРАСОТЫ

Над дельфийским треножником лица пифий тупые. Шли слепые в художники, а в поэты – немые. Рахитичные старцы работали кистью, и под кистью метались опаленные листья.

Вот он – хилый горбун, обнажающий десны, отвергающий глум, приближающий вёсны. Я приветствую ум, мир не взявший на веру! Ты провел нас, горбун, покоровший Венеру. За глухой водоем, утопивший обиду, мы тебе воздаем со времен неолита. Читивший женщин, как чтут только вечное время, как в бинокле, уменьшен, ты – раб на триреме. Ты – прикован, ты – раб, ты сидишь на весле, и тебе подражать не должны на Земле!

Но пылают костры, рвутся пламенем ввысь – Мастера Красоты, проигравшие жизнь.

* * *

В. Щеглову

Ко всем облакам
самолет мой лепился,
ему высоты не хватало,
я злился.
Я снова расшибся,
ушибы болят.
Но звездные нимбы
над нами горят.
Над нами,
кто в сотый
годами
растоптан.
Кто любит войти
в сумасшедший вираж,
меняя пути на красивый вираж.
Но снова вернуться,
со смехом войти
к друзьям,
что смеются:
– Опять по пути?
Над морем вопящим
Поспорить о вящем.
Забытая грусть,
ты чернсеешь от пыли.
Я весело злюсь,
что меня не забыли.

* * *

Дым завитком ломаным плавает в сонме слов. Хочется в эту комнату втиснуть цветы садов. Выбросить сонный, маркий провинциальный бред – стриженный мир парков, долгих ночных бесед. Чтобы тугие лилии, кланяясь не из ваз, были как крылья чайки в зеркале ваших глаз. А лепестки гвоздики, воздух сухой кланя, были ясны и дики, как язычки огня. И посреди комнаты плавали не дымы, а голубые громы нежной, вечной травы.

* * *

Как Ивиковы журавли,
дожди курлычут.
Я обрастаю на мели
тоской привычек.

Как скиф, не в силах умереть,
сквозь пыль и травы,
гоню, как миф, в большую степь
стихов оравы.

Я никогда их не предаю,
но злюсь почету –
дорогам, людям и годам
платить по счету.

* * *

Я прихожу к прозрачной мысли, как одинокие – к цветам, к полотнам строгих реалистов, к неистовству абстрактных гамм.

Я замираю, я встревожен, я тишиной ошеломлен: вдруг этот мир тобою брошен? вдруг этот мир тебя лишен?

Но нет, я этому не верю. Прозрачен мир, как дикий сад, в котором я опять немею и пламенею – как закат.

* * *

Ледышкой, сколами стекла мерцали бледные опалы, томительная тишина была спрессована в кристаллы. Я шел, следя паркет полов, глухими холлами столетий, и сотни каменных голов меня в свои манили клетки. Один неосторожный шаг, я буду с ними, все забуду. Кому необходим чудак, что бьет стеклянную посуду? За отступления друзей я заплачу своим уходом, уйду в заброшенный музей, как водолаз уходит в воду. Спустишь в тот первобытный сток, где вечных истин не искали, в грязи возился диплодок, и птеродактили визжали...

Но тишина меня гнетет. Я ухожу. Я отступаю. Обычный мир вокруг цветет, и с веток яблоки свисают. Мой мир. Мой сад. Тоска дорог. Мои святилища и Трои...

Но наступает где-то срок, и мы опять музеи строим.

* * *

Восстали горы ватные,
а озеро, что щит.
И облако, как яблоко,
над озером висит.

Плывут, легко и плавно,
как перья по воде,
багровые султаны
рябин – в моей судьбе.

Я знаю эти странные
лесные языки.
Над лиственными странами,
над глубями реки
цветут, как жар, сияния,
и темный смутный зной!

И женщина –
Испания,
что выиграна
мною.

* * *

Смеется. Ослепляет свет. Белы наряды.
Отражена в самой себе, зеркал не надо.

Нет зеркала, но два лица – ресницы вдвое.
Нет зеркала, но два кольца – бери любое.

Смеется. Заколдован свет. А ты помайся.
И к чистоте ресниц и губ не прикасайся.

* * *

Промолчит лес,
 промолчит снег,
 промолчит грусть.
Не дойдет весть,
 пропадет след,
 будет лес пуст.
Будут снег, наст,
 звездопад глаз,
 белый дым из труб.
У тебя гостят,
 у тебя грустят
 и хотят губ.

По лесам снег,
 по глазам снег,
 снегопад рад.
Потеряв след,
 берега рек
 сберегут клад.
Тебе всё простят,
 тебя все простят,
 и – меня прости.
У тебя гостят,
 у тебя грустят,
 мир – в твой горсти.



* * *

Осень моя пьяная – мой Ирбит.
Рябиновый, каменный, в глазах рябит.
Светлая, синяя, как стекло, Ница
веткою рябиновой манит сойти с крыльца.
Ветерком гонимые летят с реки
кольца голубые радуги-дуги.
Кольца эти с пальцев Ницы не снять.
А Ирбит шатается, не желает спать.
Ярмарочный, обморочный, пьяный вдрызг,
баночный, бутылочный, слепой от искр.
Брошенный в Ирбитку – утонет? сгорит? –
пьяною кибиткою летит Ирбит.

* * *

В долине семи осин-
осень. Осины в гневе.
Багровым огнем рябин
в небе седом немеют.
Желтый огонь ползет
просеками лесными.
Осень срывает, жжет
листья,
и огневые
ползают облака.
Солнечные ланцеты
врезали их бока
в память о жарком лете.
Чищено все, как есть,
рыжей кирпичной пылью.
Даже церковный крест
выштампован и вылит –
в шелест,
в сиянье,
в хруст.

Осень.
В багровом сонме
листьев
сгорает куст.

Пусто.
Прощай.
Помни.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Но исходив тропу забытую,
изведав боль, изведав ласку,
мы возвращаемся в закрытую
для посторонних взглядов сказку,

где за плетеными порттьерами
переплелись любовь и мука,
где недоверием проверены
сомненья кавалера Глюка,

где только самое случайное
является самим собой
в счастливых словосочетаниях,
оправданных самой судьбой.

ВСТРЕЧА С НАЗЫМОМ ХИКМЕТОМ

В деревне, погруженной в осень
и в меланхолию собак,
на чердаках хранили просо,
муку, жестянки и табак.

Но длинной вытянувшись лентой,
она гордилась шкурой мхов,
и недокуренною кем-то
дешевой книжкой стихов,
в которой сквозь листву сырую
слова рыдали на меня:

Я болен.

Я тебя ревную.

Прости меня.

СТИХИ О ТОМСКИХ СОНЕТАХ

Когда мне было двадцать, я влюбился. Был Томск похож на выцветший лубок. Цвела зима. Прозрачный дым клубился, и снег, звеня, взвивался из-под ног. Я ничего почти что не запомнил, стирает время голос и черты. Лишь случай, ослепительное молний, напомнит вдруг то снежные цветы, то руки... Эти зябнущие руки!.. Я глажу и дыханием их жгу... И что с того, что есть еще разлуки, слова обид и тени на снегу?

Всё прощено. Судьба была не строга. Отняв те дни, она вернула вновь и странную высокую тревогу и странную высокую любовь. Ну, а упреки, жалобы, советы... За всё, чем жил, я заплатил с лихвой...

Но кто вернет мне томские сонеты, сожженные все тою же зимой?

* * *

Тишина не ушла,
тяжелее ста гирь,
навалилась, дыша
на подушку, Сибирь.

Возвращалась с охоты
и застала меня.
Я не думал, что кто-то
мог бояться огня.

Оказалось – возможно.
Нет правдивых начал,
если начал со лжи,
а потом промолчал.

Окружила Сибирь,
а седая метель
ночь истерла до дыр
и продула сирень.

Но сирень, как боец,
свою жизнь отстояла.
Я не верю в конец,
если было начало.

МАЙ ЭТОГО ГОДА

Этот месяц был напитан
ароматом смол и ягод,
и сияющим напитком
опрокинут в дебри сада.

До отказа переполнен
одуванчиковым светом,
он ворвался в хаос комнат,
объявив явление лета.

С ним вошли веселой свитой
настоящие сирены
и сожгли мои обиды
на густом костре сирени,
чтобы дым, клубясь беспечно,
повторял, высок и внятен:
этот месяц бесконечен,
этот месяц непонятен.


* * *

Беспредельную равнину вновь дождем заволокло. Разогнув кривую спину, небо на сады легло. Потянуло теплым паром от избы к другой избе. По дощатым тротуарам я опять иду к тебе. Без причины спотыкаюсь, удивляюсь и смеюсь, но ни в чем еще не каюсь, ни на что еще не злюсь. Ни слезинки я не должен сонму темных облаков. Дождь начнет, а я продолжу, не слезами – ливнем слов. Мы живем не в темном склепе, даже в самый поздний час пусть цветут на темном небе

звездопады

женских

глаз.



Алексей
ПТИЦЫН

Я — лучшая строка
стихотворения

ИЗ РАННЕГО

* * *

Горы, базальт, траппы
Нагромоздились в мозг,
Кислая лава каплет,
Таёт земли воск.
Древних платформ завязь
Зрит помутневший взор,
Мучит меня зависть
К людям седых гор.
Буйная кровь горцев
Прет из моих жил.
Издавна свет солнца
В сердце огонь влил.
Грохот реки горной
С детства ласкал слух,
Бродит тропой торной
Гордый старик – дух.
Манит меня море,
Бьющее в сталь скал,
С камнем седым споря,
Рушится вдрызг вал.
Дедов моих слава,
Горечь былых бед
Чертит пером павы
В летопись свой след.
Выше бокал пенный,
Вон из сердец сор!

Солнечный блин медный
Выглянул из-за гор.
Солнце – король мира –
Гонит лучей-гонцов.
Шепчет моя лира
Славу стране отцов.

* * *

Я хочу быть квартиросъемщиком,
Только ванна пусть будет отдельно.
Чтоб за дверью стояла стремянка,
А на полочках – банки варенья.
Я хочу, чтобы спальная мебель
Занимала положенный угол,
А на кухне не груда посуды,
А покрытый синтетикой шкафчик.
Я готов согласиться, чтоб ежик
Грохотал по ночам по паркету.
Я бы сам ему в синее блюдце
Наливал молоко вечерами.
Пусть на улице ветер буянит,
Зарываясь в опавшие листья.
Лишь бы трубка от ветра не гасла.
Все же ванна пусть будет отдельно.

ВОСХОД

На востоке, там, где всходит
Солнце из пучины моря,
Золотистый цвет восхода
Предвещает дня начало.
И планета оживает
От волны тепла и света,
Как от влаги животворной
Просыпается природа.
Слышен нежный щебет пташек,
Жук отправился по делу
И гудит крылом могучим
Важно и неторопливо.
Суслик, вылезши из норки,
Занимается зарядкой
И старик медведь, зевая,
Моем шею толстой лапой.
Завершив обряд восхода
Из пучины океана,
Солнце зайчиком играет
На волне реки упрямой.



* * *

Быть может, все пройдет и буду –
Спокоен я.
Сейчас преследует повсюду
Любовь меня.
Она подстерегает снами
Меня в ночи,
Копьем обиды сердце ранит,
Велит: молчи.
Она летает черной тенью
Над головой,
И жду со страхом новый день я
И встреч с тобой.
Быть может все это пустое –
Огонь в крови?
И канет в пропасти покоя
Слеза любви?
И успокоившись навеки,
Утратив пыл,
Я снова буду человеком,
Как прежде был?

* * *

В. Горбенко

Жил Горб –
Один, как перст,
В пьянках хриплый голос пробовал,
Пил спирт и нес в лес
Утомленную болью голову.

Жил Горб,
Головой бос,
Строки стихов с языка списывал,
Дьявольски медленно волос рос.
Первый мой тост –
За Горба лысого.

Она пришла из страны грез,
Властно блеснув смотровыми стеклами,
И он ее на руках внес
В мир, освещенный светилами блеклыми.
Эх, холостяк!
Пусть слеза вскачь
Мчится из глаз на щеку грязную.
Горб погибает!
Земля плачь!
Хватит болтать чепуху разную!

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

* * *

В пески тяжелые закованный,
Звеня хрустальной волною,
Необъяснимый, заколдованный
Лежал Байкал передо мною.

Валы тугие легкой поступью
Добравшись до скалы прибрежной,
Родили звезд жемчужных россыпи
И оседали наземь нежно.

Краснел закат, в душе – застенчивый,
А внешне – строгий и суровый.
В тени деревьев, солнцем венчаных
Я встретил демона лесного.

И пусть уста его печальные
Вам повествуют книгу ночи
О том, как гаснут звезды дальние
И филин, ухая, хохочет,

О том, как золото рассветное
Звенит росой в тумане белом,
О том, как эхо незаметное
Призыву вторит неумело.

* * *

Дорога – времени река,
Пересекая континенты,
Нам дарит встречи изредка,
А мы ей платим алименты.
За наши прежние грехи
Или за будущие страсти,
Или за новые стихи
Мы у своих дорог во власти.
Влекомы призраком идей
И суетой непостоянства,
Мы платим золотом наших дней
За бронзу общего пространства.

Я - лучшая строка стихотворенья



* * *

Серый океан туч,
Призрачной ночи мрак
Вдруг порозовел чуть,
Высветив зари знак.
Еду по стране грез,
Чую сердцем гор грусть.
Горбится вдали мост,
Ощущая лет груз.

* * *

Природа спит. Спустилось небо ниже.
На склоне ночи молчаливы люди.
Туманна степь, но скоро солнце слижет
Всю белизну и зелень ярче будет.
Рассвет души, рассвет идеи дерзкой
В четвертом измерении ярится.
И этот свет, как именины сердца –
Журавль в небе, а в руках синица.
И так от веку. Вертится Земля.
Ведь только стоит ухватить синицу,
Как снова видишь в небе журавля
И новая разбужена страница.

«ДАТСКИЕ» СТИХИ
(стихи к датам)

* * *

Т. Янушевич

Бумага! В рукописях древних
Пройдя сумятицу времен,
Ты нам доносишь строк напевных
Неукротимый перезвон.
Нам нужно, как весна грачу,
Как меч бойцу, как деве слезы,
Как подбородок скрипачу,
Дыхание богини Прозы.
Что стих? В нем звукописи ритмы,
В нем неразгаданность души,
Слова, упрятанные в рифмы,
Как в детском доме малыши.
Зато безудержный простор
Метафор и сравнений грозы,
И диалога перебор –
В дыхании богини Прозы.
Прозаик истый – странник вечный
Незримых лабиринтов душ,
Повествователь тайн сердечных,
Грядущий житель райских кущ.
Вся жизнь твоя, твоя свобода,
Твой дом, заботы и курьезы
И слава твоего народа –
В дыхании богини Прозы.

Слова в мозаику романа
Давно вплетают виртуозы.
Внеси и ты свой вклад, Татьяна,
В дыхание богини Прозы.

* * *

Б. С. Соколову

Яркий весенний наряд вспенила юная Эос,
Звучны сосулек ряды, словно органные трубы.
Очи от спячки продрав, грезит о поле геолог.
Тут в юбилейный набат

Зевс-громовержец ударил.

«Славьте, – он грозно сказал, –

мужа неравного многим!

Долгие лета ему в день юбилейный желаю!
Знаю, заслуги его зримы и памятны людям.
Чтил он заветы всегда

пеннорожденной богини,

Музам искусства любовь

часто дарил безвозмездно.

Высшей заслугой его ставлю служение Гее.

Часто от дома вдали

плыл он по бурным потокам

В поисках бледных следов

особей, живших когда-то.

С детства кораллы любя,

робко мечтал о высоком.

Ныне – Большой кораллист,

черного пояса рыцарь.

Ряд пограничных столбов

врыл он в окрестностях Венда.

Крепко на страже стоят
 фауны древней скелеты.
Тщетно противники шлют
 доводов хилые рати,
Выдержит натиск любой
 крепость Сухарихи славной.
Здравную песню поем сыну Сергея Борису,
Чашу хмельного вина
 в честь юбиляра подъемля.

* * *

Э. Шилловскому

Не гляди назад, не гляди,
Бывшие года не тревожь,
Многое еще впереди,
Многое еще обретешь.
Собирай в застолье друзей,
Рюмку иногда заглоти,
Только слишком много не пей
Посреди пути.

* * *

В. Свиньину

Привет, Володя!
В этот день тяжелый
Тебя я поздравляю почему-то.
Минуло время гениальной школы,
Пришла пора писать про институты.
Возьми соху, пласт подними лежалый.
Пусть нижние слои увидят небо.
Что будет, то давно уже бывало,
А то, что есть, уйдет в глухую небыль.
Не суетись! Зачем лохматить нервы?
К чему морщины лишние на роже?
К чему быть первым? Быть опасно первым.
Но и последним быть не стоит тоже.
К чему стремиться?
К славе и блаженству?
К сиюминутным радостям, но часто?
Нет ничего страшнее совершенства.
Что ж в этой жизни привлекает нас-то?
В вопросе этом – сущность человека.
Каким богам о благе ни молись,
Природой установлено: от веку
Нас в этой жизни привлекает жизнь!

24.02.2007

* * *

Л. Киселевой

Пища жизни – потоки энергии,
А бессмертие жизни – душа,
Шевеля языком от усердия,
Мы по жизни идем не спеша.
И куда торопиться, приятели?
Что на финише, там, впереди?
Подходя к юбилею Создателя,
Каждый дрожь ощущает в груди.
Окольцованы круглыми датами,
Словно звеньями длинной цепи,
Мы по встречаем скользим самокатами,
Выражения лиц нацепив.
Мы известны веселыми тостами,
Мы устойчивы к винным парам,
Перспективы духовного роста мы
Разглядели с грехом пополам.
Приближается эра веселая –
Юбилеи один за одним.
В новый мир мы войдем новоселами
И надежду в душе сохраним.
А сегодня за здравие Лидино,
За ее хитроватый прищур
Мы бокалов невидимо-видимо
Опрокинем слегка чересчур.

1999.

ПАРОДИИ

* * *

*Мне мило отвлеченное:
им жизнь я создаю...
Я все уединенное,
Неявное люблю*

З. Гиппиус

В нем что-то тайное мнимое
Что-то такое неявное.
Я бы была его милою,
Все остальное – не главное.
Нравится мне отвлеченное,
Нравится мне непонятное,
Мы бы пошли как влюбленные,
Солнце – дорогу нам пятнами.
Тропами строчек таинственных
Скачут виденья команчами,
Он для меня не единственный,
Но безусловно заманчивый.

* * *

*Настоящие женщины
не поедут за нами...*

Н. Коржавин

Тяжело воскресения
мы проводим с друзьями:
то ли пьем за спасение,
то ль спасаемся сами.
Никакое излишество
Нам не будет излишним,
И совсем не мальчишество –
В воскресенье мальчишник.
А потом в вытрезвителе
Мы себя вспоминаем,
И некстати родителей
Через раз поминаем.
Наши лица увенчаны
Между глаз синяками.
Настоящие женщины
Не приедут за нами.

* * *

*Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.*

П. Коган

*Я с детства полюбил овал
За то, что он такой законченный.*

Н. Коржавин

Поэтов известных немножечко жаль,
Углы и овалы увечны.
Мне по сердцу больше двойная спираль
За то, что она бесконечна.

* * *

Я многого не сохранил...

В. Свиньин

Я многого не сохранил,
Но кое-что осталось все же:
Изгибы реберных стропил
И детская припухлость кожи.
В душе изменчивый огонь
То возгорится, то потухнет,
И верный друг – крылатый конь,
Не взявши трудной рифмы, рухнет.
И я усну во цвете лет,
На лунное сиянье щурясь,
Не забывай, что я поэт,
И подари мне все еще раз.

* * *

*Ухожу я с прямой Эвклида,
о прошедшем дне забыв...
В. Свинын*

Перестань пересчитывать волосы
В бороде своей по утрам,
Не грусти об ушедшей молодости
И улыбках забытых дам.
Ты не просто куда-то ходишь,
Что-то ешь и на чем-то спишь,
Всюду тайный напев мелодии
Обостренным чувством следишь.
И не просто ты хлещешь пиво,
Оттолкнув меня от ведра.
Ах, как редко поют красиво,
Но натура твоя щедра.
На земное имея виды,
Не таи в глубине обид.
Чем не жизнь по прямой Эвклида?
Чем обидел тебя Эвклид?

РАЗНОЕ

* * *

В толпе, где пели и кричали,
Благословляя первый снег,
Задел во мне струну печали
Неосторожный человек.
Мотивом давним очарован,
Я от случайного далек,
Мной у веселья отвоеван
Укромный тихий уголок.

* * *

К Земле из горнего эфира
Отправлен вестник перемен –
Комета – возмутитель мира,
Необъяснимый феномен.
Она летит, хвостом виляя,
Творя из квантов вещество.
Она не добрая, не злая,
Она – эфира существо.

Я – лучшая строка стихотворенья



* * *

Я – лучшая строка стихотворенья,
Я – самая прекрасная из строк,
Я родилась на взлете вдохновенья
В прокуренном до копоти бистро.
Я вышла в свет, как пробка из бутылки,
Застенчивой нескромности полна,
И я любила, я любила пылко,
Волнением твоим заражена.
Без суеты, без славы и без денег
Была твоя и в счастье и в тоске.
Но, как ты мог! Ну, как ты мог, изменник,
Пририфмовать меня к другой строке?

* * *

Все существует лишь в моем воображенье,
И только.
Мне б не хотелось прерывать движенье,
Но скользко.
Дорога жизни рвет меня на части,
Распутья – чаще.
Судьба сдает уже чужие масти,
Но воздух слаще.
Не все понятно, но раздумий много,
Ищу, где глубже.
Все неразборчивей становится дорога –
Ухабы, лужи.

* * *

Что мы знаем о жизни нашей?
Что мы знаем о нас самих?
Поживем, поживем и ляжем,
Как на ложе страницы стих.
И друзья нас прочтут в застолье,
И сумеют за все простить...
Бесконечным пунктиром боли
Предначертано людям жить.
И прочтут нас чужие люди
Без вниманья, не до конца.
Мы в прочтении этом будем
Без фигуры и без лица.
И лишь то, что звалось душою,
Будет как-то на мир влиять,
Если сделанное тобою
Сможет людям полезным стать.

* * *

Оставьте все, что есть, на этом свете.
На том не пригодиться ничего.
Мы перед будущим за этот свет в ответе
И мы должны наращивать его.
Любой наш шаг – в копилку поколениям,
Любой наш взгляд – в букете лепесток.
Отдай часы, чтоб сохранить мгновения,
Отдай себя, чтоб сохранить росток.

ЛИРИКА

* * *

Теплый дождь волос
По плечам журчит,
Спит в глазах зашторенных смех.
Песню алых роз
Паровоз стучит
Для тебя одной, не для всех.

Ах, зачем ты спишь
В этот чудный час?
Пробудись, в окно посмотри,
Распахнул Байкал свой лукавый глаз
И надулись гор пузыри.

Скоро двери в ночь
Распахнет заря.
Этот миг волшебно хорош.
А паровоз поет,
Что не зря, не зря
Ты на этом свете живешь.

* * *

В дыму костра под северной луной
Людские души вывернет наружу.
В июльский зной и мартовскую стужу
Мои друзья проходят предо мной.

В глазах искрится отблеск красноватый,
В речах сквозят покой и теплота.
Я верю: сохранятся навсегда
Следы ночевки на траве помятой.

* * *

Я ждал рассвета, стоя у окна.
Я видел, как суровая луна
Топтала тучи неба моего.
Я ждал рассвета. Не было его.

И Вы, как я, стояли у окна,
Когда луна, дика и холодна,
Струила свет среди чужих планет,
И, как ко мне, не приходил рассвет.

* * *

Прекрасен женщины удел –
Дарить мужчинам свет.
Всему на свете есть предел,
А здесь предела нет.
Мужчины любят звон мечей,
а женщины – цветы.
Мужчины – славу прежних дней,
А женщины – мечты.
Хозяйки любят драить пол
И у плиты стоять!
Нет никогда прекрасный пол
Мужчинам не понять.

ВЕСНА

Вместо снега капли влаги полетели,
Тает снег. Повсюду слышен звон капли.
По дороге ручеек бежит, играя.
Даже ветер стал добрее в утро мая.
В эти дни на сердце грустно и тревожно,
Сердце ждет какой-то встречи невозможной.
В это солнечное утро, утро мая
Я иду весенним лесом и мечтаю.

* * *

На камни лягут наши имена,
Когда найдется подходящий камень.
И славные былые времена
Уснут навеки рядом с именами.

Но бесконечна времени река,
Ее спираль ложится на погосты.
Пришли мы в этот мир издалека,
Уйдем, как засидевшиеся гости.

Вернется память на круги своя,
когда проснется брошенное семя,
и штопором извечным бытия
поднимет пробку будущее время.

Геннадий Франкелур





Алексей Птвичин



Врагунур Клунсон



*С.А. Понягин и
Г. Понягин*

Поэтические



Читает А. Птицын



Муза - Т. Кузнецова



Читает В. Байков

Т. Янукевич



Читает В. Слинкин





Т. Юзубов



В. Олюмин



В. Горбунко



В. Зайнагул



Вареный Щевров



С.Т. Пранкелевичем и В. Сынисын



С.Т. Пранкелевичем

Татяна Янушев



С.В. Байнован




В Даче Брюлова.
Презентация сборника
поэтов Анадытгородки
шестидесятых



В издательстве
«Свистки и сыновья»





Владимир
СВИЦЬИЧ

Бог Гермес
и его потомки

* * *

Перестань пересчитывать горести,
Пусть их тысяча, пусть миллион.
Нам отпущены полной горстью
Ожидания лучших времён.
Ты не просто идёшь по улице,
Время слышит твои шаги.
И биение вечного пульса
Каждый шаг сменяет другим.
Ты не просто сидишь над книгой,
Строчки букв заслоняют быт,
И уходишь с прямой Эвклида,
О прошедшем дне позабыв.
Мы идём в одиночку и стаей,
Бред мечтаний в висках зажав,
В каждом шаге сил набирая,
Чтобы сделать последний шаг.

1959

ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ

Тени ночные вылизал
Длинный язык восхода.
Скоро и Солнце вылезет
За тучами на охоту.
День расправляет плечи,
Ветер над крышей ликует.
Ринутся окна навстречу
Желанному сквозняку.
Только скоро расскажет вечер,
Что не в каждом окошке свет,
Что в иных лишь мерцают свечи,
А во многих и этого нет.
По ночам на заснеженных улицах
Разговоры деревьев тихи.
В сладких снах улыбаются умницы,
Дураки сочиняют стихи.
Мне б подняться сейчас выше крыш,
Мне б удрать от Земли из пленников,
Чтоб все тайны могли мне открыть
Облака языками сплетников.
Только я совсем не из тех,
Кто язык облаков понимает,
Мне четвёртый этаж – предел,
Мне и жизнь непонятна земная.
О, Земля! Всех твоих загадок
Никому до конца не изведать.
На Земле бывают закаты,
На Земле бывают рассветы...

1961

* * *

И. Г.

Я многого не сохранил,
и сердце память упрекает,
И тщательно оберегает
Тебя,
не доверяя ей.
Но бесконечной цепью дней
Я к верстовым столбам прикручен.
Я многого не сохранил,
но это, может, даже лучше,
Что нет ни глаз,
ни губ,
ни рук,
Ни слов,
ни слёз,
лишь оболочка.

Я каждый день тебе дарю
По самой сокровенной строчке.
И в самых будничных вещах
Твои привычки обнаружить,
Как сигарету натошак,
Хочу, и знаю, что не нужно.
Не нужно...
Но всему предел
Приходит
скоро иль не скоро,
И я заставлю поредеть
Те верстовые частоколы.
В тебя, а не в какой-то Рим
Упрутся все мои дороги,

В ту лестницу, что мне дороже,
Чем верующим алтари.
В горящих глаз твоих огни
Взгляну открыто, не прищурясь:
– Я многого не сохранил...
Ты подари мне всё ещё раз...

1962

ЗАБЫТАЯ ПЕСНЯ

Этой песни не слышал я более года.
Чуть поблекла мелодия –
слёзы,
дожди...
Вспоминаю, как тихий, задумчивый голос,
Словно волос крутился на нот бигуди.
Но тому, кто меня этой песне учил,
Я однажды зачем-то сказал:
– Замолчи!
Тихий голос ещё не закончил припева,
Только встреч ненадёжность уже ощутив,
Чуть дрожал и грозил оборваться мотив,
Только были, как струны, натянуты нервы.
Обрывается?
Да.
Забывается?
Да.
Если долго не слышишь, не думаешь если...
Но скажите же мне, почему иногда
Оживает забытая песня?
Может, просто в идущей навстречу толпе
Ты услышишь случайно знакомый напев,
Иль у песен у этих природа такая,
Что они не смолкают, а лишь затихают,
Чтоб другие певцы их пропели тебе?

1962

РЕЖИССЕРЫ

Зажглась по звонку долгожданная рампа,
Спектакль состоялся в молчании зала,
Но падает занавес складками на пол,
И вот всё острее осознание провала.
Кому-то лишь повод на том поживиться.
Откуда им знать про измор репетиций,
Откуда им ведать про ночи раздумий
Про свет, декорации или костюмы?
Актрисы, актрисы, уйдут за кулисы,
Походкою лисьей, с повадками рыси.
Их сманят, возможно, другие подмости,
Где много оваций, букетов и лоска,
Где можно всегда оставаться весёлым –
Ни шума, ни ссоры, а мы – режиссёры.
Да, мы режиссёры, и нам не годится
Сходить с завоёванных прежде позиций.
Нам хочется тоже поплакать и смыться
На новые моды и новые лица.
Но нужно остаться собою самими,
Пусть не понятны, пускай не ценимы,
Мы будем несносны, мы будем упрямы,
Мы плюнем на мелкие личные драмы.
Мы – трагики сердца, мы – комики мозга,
И ругань, и слава нужны нам, как воздух.
Пройдя сквозь провалов и почестей ад,
Мы не изменим своих амплу.

1963

АКАДЕМГОРОДОК

Ожидают людей города неизвестные,
В городах проживают друзья и невесты.
Если вам надоест ваш парадный подъезд,
Не жалейте, срывайтесь с насиженных мест.
Города, города, как морская вода,
Без усилий плывёшь по поверхности,
А нырнёшь в глубину, утонуть – ерунда,
Ноги спутаны клятвой верности.
Я им клятв не давал,
Путы начисто рвал,
Я считал это скукой и вздором,
Но за дней чередой
Вместе с этой водой
Разбегался кругами в стороны.
Например, на восток
Я приехал – и влип,
И отвыкну, быть может, не скоро:
Академгородок, городок невелик,
Невелик золотник,
Да дорог.
Может, все, как и я,
Нежных чувств не боясь,
Не имеют других притязаний,
Если вечером свет
Обнажает скелет
До царапин знакомых зданий.
А не встретишь – ну что же, не пой панихид,
Ты не прежним вернёшься на прежнее место.
Остаются друзья, остаются стихи,
И других женихов ожидают невесты.

1963

ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Непонятные шутки
Временных поясов,
И в сегодняшних сутках
Двадцать восемь часов.
А четыре часа –
это прочь тормоза,
И усмешки в глазах,
и ресницы в слезах.
А четыре часа
Выдаются в аванс,
Чтобы там, в небесах
Снова вспомнить о вас.
Ухожу с ежедневности
Ваших дорог,
От горячих подруг,
Ледяных недотрог,
От друзей, от врагов,
На три года назад,
И за это за всё –
Лишь четыре часа.
А удастся ли мне
Их обратно вернуть?
Если всё-таки нет,
То не ставьте в вину:
Ленинградская сутолока
Их запрет на засов,
Непонятные шутки
Временных поясов.

1964

* * *

Я откровений новых не дарю,
Но, поглядев попристальной на вещи,
По вечерам внимательно курю,
И сизый дым окутывает вечер.

Встают из дыма серые столбы,
Они на вид и призрачны, и скользки,
Но дни об них раскалывают лбы
И рассыпают гранями осколки.

Пусть черепки звенят не в унисон,
Но как выходят личности из массы,
Так в этой груди будничных часов
Сверкнут порой минутные алмазы.

Я те минуты бережно коплю,
Им стать порой чеканною строкою.
Я откровений новых не дарю,
Мне и от старых нет пока покоя.

1967

ПИСЬМО ИЗ САМОЛЕТА ТАТЬЯНЕ Я. О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ

Звоном в ушах самолётные ритмы.
Сущность любви –
 обнажённое бритвы.
Сколько их вскрыто
 сиреневых вен?
Сколько открыто
 напрасных измен?
Сколько
 ночами
 наломано дров?
Мама!
 Твой сын
 безнадёжно здоров.
Леди!
 Ваш Гамильтон
 Вами увлёкся!
Танька! Твой фраер
 зашился
 и спёкся.
Сущность любви –
 это некуда деться.
Прочность тюрьмы.
Безысходность младенца.
Горечь похмелья.
Магнитная стрелка.
Выбор из виселицы, расстрела.
Чёрт бы побрал реактивную тягу!
Пух облаков.
Я, наверно, прилягу.

Так вот и так,
и до самых верхов
Мы добрались по дороге грехов.
Жест стюардессы
приказом:
– Готовься!
Падаю
камешком в бездну
потомства.

1971

КИРГИЗИНКА

Т. Янушевич

Не пугай меня, киргизинка, не губи.
Погоди загадывать на года.
От моей гибели пригуби
И погоду лётную нагадай.

Самолёт будильником прозвенит,
От подушки голову оторвёт.
Станут фигли-миглями бигуди,
Станет гоголь-моголем обормот.

Цезарю ты цезарево отдай,
К Бовину с любовью относись,
Разным безобразиям сострадай
И по Средней Азии колеси.

Лишь меня ты, ветреного, не бойсь,
Ветряные мельницы не стриги.
Коль и перемелется наша жизнь,
Будут вот такие вот пироги!

1972

В ТРАКТАТ О СОСУДАХ

Не плачь, я не с огнём играю,
Я лишь сосуды собираю.
Две вещи – пламень и вода –
Были, мне кажется, всегда.
Кто знает, дно или вершина
В таинственной глуби кувшина?
Вот хоть сподобился понять –
Он глубже грешного меня.
Что я? В привычном окруженье
Вершу свои телодвиженья.
Я помню, что очерчен круг
Знакомств, друзей, коллег, подруг,
Но где-то там, за далью дальней
Звенит и твой сосуд хрустальный.
Ты сохранишь ли для меня
Мерцание его огня?
Ведь в мире толчея и давка.
Весь мир дрожит посудной лавкой,
И без предчувствия вины
Там пляшут весело слоны.

1974

* * *

Когда очерчен круг знакомств,
И дни сюрпризов не таят,
Я вспоминаю про закон
Размеренного бытия,
Провозглашающий о том,
Что равномерность и покой,
Как понимал ещё Ньютон,
Не различимы.
Но какой
Поправкой будет учтено
То нетерпение страстей,
Которое затаено
В корнях сосудистых систем?
Не потому ли столь крута
Центростремительная власть,
Чтоб внутренняя суета
Наружу вдруг не прорвалась?
Кружится дней веретено,
Ложатся дни к витку виток,
И мне сегодня не дано
Вчерашний отыскать восторг.
Я рвусь вперёд и рвусь назад,
Но круг! Уже очерчен круг!
В границы втиснутый азарт,
Параграфами освящённый труд.
Под ритм муштрованных сапог
Однажды – было! – рухнул мост.
Не допускайте этот полк
На мой пульсирующий мозг.

Последний слой, последний круг,
Последней жилкой трепеща...
И вырвется петля из рук,
И свистнет в воздухе праща!

1975

СОНЕТОЧКА НЕЗВАНАЯ

Не в том мы возрасте ещё,
Чтобы тревожить память всеу.
И разум, сердцем освещён,
Дни лучшие ещё рисует.
Но всё яснее и ясней
Невозвращённость дня былого.
И с каждым годом, по весне,
Мы слов каких-то ищем новых.
И... не находим, и... трепещем,
И юмором расхожим блещем,
Хотя не этого хотим.
Но хоть какой-то нам наградой,
Что мы всё так же, так же рады,
Когда друг друга навестим.

1980

ПРИЗНАНИЯ БОЯНА

I

В глуби доисторических времён,
Где нету ни событий, ни имён,
Наверно, где-то там моё начало.
Есть у меня уже огонь и лук,
Есть у меня уже и враг, и друг,
Лишь слова моего не прозвучало.

Ещё Дедал Икару крыл не дал,
Ещё Христа Иуда не продал,
И Архимед ещё спокоен в ванне.
Я *cogito*, я *sentio*, я *sum*!
Я равен каждой из известных сумм!
Но разве это то существованье?

II

Растекаюсь мыслями по древу,
И обратно в горсть не соберу.
Так какому князю на потребу
Продолжаю струнную игру?

Воспеваю мудрость и отвагу,
Кои веки славу им пою?
Но свою единственную сагу
До поры, до времени таю.

Поклонюсь всесильному варягу,
А печаль по-прежнему остра.
И не зря живительную влагу
Я привык прихлёбывать с утра.

Мне ль не знать, что всякие таланты
Обратят правители во зло?
Мне ль ни яхонтов, ни бриллиантов
Это ремесло не принесло?

Только ведаю – не исчезают
Ни слова, ни мысли навсегда.
Времени рыскучая борзая
Всё равно найдёт их по следам.

И былины, песни, саги, руны
Не сгорят в костре веков дотла!
И дрожат мои сухие струны
Над шершавым деревом стола.

1990

ИСТОРИЯ НА КУХНЕ

Ну вот, опять на кухоньке сидим.
Мы всё сказали, повторили даже.
Ну, может быть, ещё придёт Вадим
И анекдоты старые расскажет...

Я слушаю обычные слова,
Передо мной история струится.
И никогда не кончится глава,
И никогда ничто не повторится.

1995

НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Мы осколки нестарого мира,
Он ещё не исчез, не пропал.
Но иначе настроена лира,
И всё чаще твоя невпопад.

Хоть пока по плечу ещё ноша,
Хоть по-прежнему дел кутерьма,
Память прошлого больше и больше
Пищей делается для ума.

Мой ровесник! Мы – всё, что сумели.
Не спеши унывать и держись,
Это просто не мы постарели,
Это просто торопится жизнь.

Ежесуточно на три минуты
Сокращается день световой.
Каждый раз по иному маршруту
Солнце движется над головой.

За окном – успевай удивиться,
Буйство – зелень, и вдруг – желтизна.
То природа резвится, резвится,
И сомнений не знает она.

И копать желания нету
В антиномиях света и тьмы
На исходе безумного лета
В ожидании долгой зимы.

1998

БОГ ГЕРМЕС И ЕГО ПОТОМКИ

Но, разумеется, важнее струнной игры было содержание песни, умение слагать слова и мысли: и это умение было дано человеку Гермесом, почему самое искусство «объяснения» (греч. ερμηνεῖο) получило от него свое имя, и сам он позднее, как дарователь и покровитель речи, получил почетный эпитет: logios.

Ф. Зелинский. Из жизни идей, III

На дорогах древней Эллады часто можно было увидеть невысокие, в человеческий рост, четырехгранные столбы, увенчанные изображением головы юного бога. Назывались они гермы и играли роль путевых столбов. Стояли они, как правило, и на главных, рыночных площадях городов, при входе в общественные места и частные владения. Иногда на гермах встречались головы других богов (название от этого не менялось), но чаще всего это был сам Гермес – один из двенадцати главных обитателей Олимпа, почитаемый во всей Элладе, а во времена поздней античности, благодаря Александру Македонскому и римлянам (которые знали его под именем Меркурия), и далеко за ее пределами как бог и покровитель:

- ◆ пастбищ, стад и пастухов;
- ◆ ветра и скорости;
- ◆ дорог и путешественников;
- ◆ торговли, купцов, благосостояния и прибыли;
- ◆ нечаянных удач и находок;

- ◆ искусств красноречия, убеждения и объяснения и их служителей;
- ◆ гимнасий, палестр и их воспитанников;
- ◆ хитрости и ловкости;
- ◆ веселых и находчивых;
- ◆ воровства, мошенничества, пиратства и всех, с этого ремесла живущих;

как исполнитель важнейших в Олимпийском пантеоне должностей:

- ◆ распорядителя на божественных симпозиумах – на небе;
- ◆ вестника, толкователя и исполнителя воли богов (точнее – самого Зевса) – между небом и землей;
- ◆ проводника душ усопших в последний путь, в царство Аида – на земле и под землей;

как изобретатель и открыватель, подаривший людям:

- ◆ языки, письмена, счет и меру, и умение с помощью этих средств выразить свои мысли и чувства, а также понимать оные у других;
- ◆ семитональный музыкальный лад (точнее, семиструнную лиру, сделанную из черепахи и подаренную Аполлону, который до этого играл на четырехструнной кифаре);
- ◆ искусство плотной (герметичной) закупорки сосудов;
- ◆ игру в шашки;
- ◆ искусство гипноза;

и, наконец, как благой, несущий радость демон (Агатодеймон), который по прямому повелению Зевса ввел среди людей, для того, чтобы они могли



жить сообща, *стыд и правду*, то есть, на современном языке – честь и совесть, мораль и нравственность.

А вот еще один Гермес, знаменитый благодаря несколько иным качествам и заслугам и совсем в других кругах: жрецов, философов, мистиков и прочих представителей высшего античного менталитета (да и более позднего тоже). «Великий посвященный», чье имя редко употребляется без сверхуважительного эпитета Трисмегист (Трижды величайший). Уже не столько бог, сколько человек, основатель целого пучка эзотерических учений, автор знаменитых оккультных трактатов (трактование которых до сих пор не закончилось). Личность легендарная, но, вполне возможно, историческая, чью могилу показывали Александру Македонскому, который повелел высечь на надгробном камне самое значительное произведение Трисмегиста – «*Tabula smaragdina*» («Изумрудная скрижаль»).

Может быть, это не тот Гермес?

Нет, это именно *Тот-Гермес*: бог, человек и духовная субстанция, идейный предшественник христианской Троицы. Благодаря ему философские представления о единстве мира поселились в умах просвещенных греков и римлян (а еще прежде – египтян) намного раньше христианских богословов. Сохранив присущее им своеобразие, эти представления, именуемые герметизмом, благополучно дожили до наших дней, вдохновляя средневековых и современных еретиков, розенкрейцеров, масонов, алхимиков и прочих колдунов и тайноведов, не в мень-

шей степени, чем труды Аристотеля вдохновляли ортодоксальных схоластов.

К сущности герметизма мы вернемся позже, а сейчас стоит напомнить, что он – не единственное духовное наследие Гермеса. Есть еще герменевтика (искусство толкования текстов), которая в спектре современных философских учений занимает не менее, а скорее более важное, чем герметизм, место. В этой роли Гермес-Олимпиец, пожалуй, более известен, чем Гермес-Трисмегист. Вряд ли большинство смертных сами в состоянии понять, чего хотят от них боги. Переводчик с божественного людям необходим, и Гермес-Меркурий выполнял эту обязанность добросовестно и не без блеска.

Это умение с течением времени естественным образом трансформировалось в довольно строгие правила толкования Священного писания, а в наши дни герменевтику воспринимают, как принципы понимания и интерпретации всяких текстов вообще.

Античные мифы и герметические трактаты – это тоже тексты, причем для непосвященного читателя первые весьма приятны и легки для чтения, а вторые – сугубо наоборот. Для читателя-исследователя и те, и другие – книги, полные вопросов и ответов, загадок и разгадок, тайн и откровений. Классическая герменевтика предписывает извлекать из любого сочинения, по крайней мере, четыре наслаивающихся друг на друга смысла (четверку, кстати, греки считали «гермесовым числом»):

- 1) буквальный,
- 2) дидактический (назидательный),

- 3) философски-аллегорический,
- 4) божественно-мистический (эзотерический).

Попробуем же и мы применить этот испытанный метод для уяснения того, кем является или может явиться в сознании наших современников и соотечественников фигура этого многоликого божества, именуемого Тотом-Гермесом-Меркурием.

Если за прошедшие века о Гермесе-Трисмегисте написаны целые тома изложений и комментариев, то сведения о Гермесе-Олимпийце рассеяны множеством мелких и крупных капель в океане мифоведческой, исторической, художественной и другой литературы. Вместе, под одной обложкой, они, насколько мне известно, по крайней мере, на русском языке никогда не собирались. Между тем, эта сторона темы представляется не менее интересной и глубокой во всех перечисленных смыслах (в том числе и в чисто эзотерическом), чем сугубо герметический аспект. Приведем, для начала, лишь один аргумент. Разрушив тоталитаризм, мы стали, в какой-то мере язычниками: многопартийность, суверенитеты, конфессии и прочее. Кстати, слово «язычество» происходит от церковнославянского «языцы», то есть другие народы, иноязычники, иноверцы. Мы, действительно, говорим часто на разных языках в прямом и переносном смысле, поклоняемся различным богам или авторитетам, но нашему «язычеству» ой как далеко до просвещенного политеизма древних, детально расписанного и глубоко прочувствованного. Это относится не только к интеллектуальной элите Эллады и Рима, но и к большинству

населения этих государств и империй. Хаоса в умах и неразберихи в законах в классический период не существовало.

Что же обеспечивало (в духовно-психологическом плане) этот жизнеустойчивый порядок и что его, в конечном итоге, разрушило? Более пристально вникая в обстоятельства, связанные с «жизнью и деятельностью» бога Гермеса, олицетворяющего собой связь между высшей властью и народом, мы, возможно, сумеем почерпнуть для себя много полезного. Да поможет нам Гермес-Эриуний!

Гермеса звали еще и Киллением, потому что родился он в гроте горы Киллены, что на севере Аркадии, в Пелопоннесе. Папа – Зевс, мама – богиня Майя, старшая из сестер Плеяд, дочерей Атланта. Зевса знают все, а Майю почти никто, хотя именно в честь ее назван месяц май, когда рождается все живое, поскольку имя это в переводе с греческого означает «повитуха», «кормилица». И не случайно Сократ называл свое искусство беседы майевтикой, то есть «помогающей родиться истине». Еще одна пикантная подробность сообщена нам отцом достопочтенного джентльмена Тристрама Шенди, фанатичным поклонником Трисмегиста: Гермес был произведен на свет с помощью кесарева сечения, когда оно еще так и не называлось, а поскольку этот способ не связан с возможным повреждением черепных костей, то потому он (Гермес) такой и умный. Трудно сказать, откуда почерпнул эти сведения Шенди-старший, возможно, он спутал Гермеса с Дионисом, про которого сей казус общеизвестен, но так уж он утверждал. Гора Киллена тоже заслу-

живает внимания, поскольку согласно местным (аркадским) преданиям именно здесь, а не на ветхозаветном Аарате (не на Этне и не на Парнасе, как говорят другие легенды) высадился с женой Пиррой прародитель людей Девкалион – греческий Ной. Все вышесказанное позволяет утверждать, что нетривиальная биография была Гермесу предопределена.

Год рождения нашего героя точно не известен, возможно, тот, в котором возникла и начала вращаться вокруг Солнца «Гермесова звезда» – ныне планета Меркурий. Зато месяц, день и час рождения известны доподлинно: и тот, и другой и третий – четвертый. Уместно вспомнить Высоцкого: *А день... какой был день тогда? Ах да – среда!*

Среда (четвертый день недели, которая вела счет от воскресенья) до сих пор считается днем Меркурия, что и закреплено в его названии в большинстве романских языков. Число 4 прочно связывают с Гермесом, по крайней мере, со времен Пифагора и Платона, по мнению которых Меркурий был четвертой по счету планетой от Земли (после Луны, Солнца и Венеры). Кроме того, четверка – это два в квадрате, а двойка, как первое из несовершенных (четных, женских) чисел по Платону – символ Майи, олицетворяющей неопределенную, еще только нарождающуюся материю. «Гермесова арифметика» приведенными сведениями не исчерпывается, но об этом – дальше.

Первые два дня жизни Гермеса подробно описаны в третьем Гомеровом гимне и в пересказе, видимо, не нуждаются. Стоит лишь отметить, что в

выдающемся этом произведении, возможно, впервые воспета «волшебная сила искусства», и впервые же предметы и произведения искусства (лира, свирель и искусная игра на них Гермеса) стали и предметом прозаической бартерной сделки: за лиру Гермес получил от Аполлона под свое покровительство все стада и пастбища, а за свирель – жезл глашатая (кадуцей), а с ним звание и должность Диактора (вестника) на Олимпе. Зевс был так восхищен коммерческими способностями сына, что тут же сделал его попечителем всех и всяческих обменов – «бартерным богом». Отсюда до кресла «министра торговли» уже было рукой подать. Дело в том, что деньги как универсальный эквивалент товара получили хождение в Греции далеко не сразу, и более распространенной разменной монетой в гомеровские времена служил мелкий рогатый скот – козы и овцы. В итоге, любая торговая сделка стала считаться совершенной при посредничестве Гермеса-Торгохранителя.

Просил Гермес у Аполлона и кое-что другое, а именно дар прорицания человеческих судеб, которым тот обладал как единственный из богов, кроме, естественно, Зевса. Связанный клятвой нераспространения, Аполлон ему в этом отказал, но зато объяснил, что с помощью кадуцея Гермес может насылать на людей сновидения, которые следует рассматривать как предзнаменования. Таким образом, Гермеса можно считать также и Верховным Толкователем снов (вожатаем сновидений), а занятие сие ныне весьма в моде.

В эти же дни Гермес проявил и другие свои способности:

- ◆ хитреца (запугывание следов хождением задом наперед),
- ◆ пролазы (пролез в замочную скважину),
- ◆ безбожного (если можно так выразиться о боге) вруна,
- ◆ фокусника (фокус с мгновенным развязыванием связанных ему Аполлоном рук),
- ◆ весельчака и балагура (эта функция у мифоведов называется трикстером),
- ◆ изобретателя.

О последнем особо.

Гермес, с моей точки зрения, совершил подвиг, куда более существенный, чем подвиг Прометей: он не просто украл огонь у богов, чтобы отдать его людям, а своим умом дошел до способа его добывания, а ведь недаром говорится – лучше уметь, чем иметь.

Наконец, нельзя не отметить и первого логического парадокса, с которым Гермесу пришлось столкнуться в первый день жизни (его заметил В. Вересаев в примечаниях к своему переводу Гомеровых гимнов). Желая поесть мяса и украв для этого коров, он должен был сначала принести жертву двенадцати олимпийским богам, в том числе и самому себе. Простой смертный мог бы после этого приняться за трапезу, тот же, кому жертва приносится, вынужден довольствоваться вдыханием аромата. В данной ситуации, после сильных душевных волнений, божественное начало возобладало над

плотским. Возможно, в этом залог будущего восхождения Гермеса к вершинам духовного совершенства.

Вспомним еще две строки из указанного гимна:

*Как за миганием глаза другое миганье приходит,
Так у Гермеса за словом немедленно следует дело, —*

и перейдем к рассмотрению других источников, которые показывают нам Гермеса в действии. В отличие от расхожего мнения о нем, как о праздношатающемся по горам и долинам гуляке, заигрывающем с нимфами, Лукиан из Самосаты представляет нам Гермеса, как самую занятую личность на Олимпе. Сатирик Лукиан («Вольтер античности») пишет об этом в довольно издевательском стиле, но фактура его рассказа вполне соответствует содержанию более серьезных источников. С утра Гермес готовит к заседаниям зал Божественных Советов, днем без устали носится по свету, выполняя поручения Зевса, часто весьма сложные и щекотливые, вечером подает к столу амброзию, а ночью провожает мертвые души в путь к последнему приюту (и в этом качестве именуется Психопомпом). Приходится изыскивать время и для посещения гимнасий и палестр, народных собраний, школ ораторского искусства, рынков и прочих опекаемых мест. Из личных заданий Зевса выделяются своей многочисленностью поручения двух типов:

- ◆ спасательные мероприятия;
- ◆ устройство амурных дел Громовержца.

Кого только Гермесу ни приходилось выручать из трудных, порой смертельно опасных ситуаций.

Не был исключением и сам Зевс, попавший в сложное положение в борьбе с Тифоном: тот вырезал у Кронида сухожилия и спрятал их, а без сухожилий какая драка? Гермес, конечно, эти сухожилия нашел, выкрал и вновь привел Зевса в боевую форму. В другой раз некие братья Алоады похитили и посадили под замок самого бога войны Ареса (Марса). Целых тринадцать месяцев не было войн; но древние, видимо, считали право на войну столь же неотъемлемой из свобод, как и гласность и прочее, поэтому освобождение Ареса также было записано Гермесу в актив. Для того, чтобы спасти преследуемых отцом и мачехой Фрикса и Геллу, Гермес не пожалел самого лучшего золоторунного барана из своего стада, на котором близнецы и улетели. Гелла, правда, по дороге упала в море, дав имя Геллеспонту, зато Фрикс благополучно добрался до Колхиды к царю Ээту, а золотое руно принесенного в жертву барана стало целью последующего знаменитого похода аргонавтов. Гермес же дал ценный совет Одиссею, как спасти себя с товарищами от колдовских чар Кирки (Цирцеи). По части профессионализма, с которым Гермес справлялся с подобными делами, с ним может сравниться разве что агент 007 – Джеймс Бонд. Два нуля означают, как известно, право на убийство, и Гермес это право в случае необходимости использовал. Тысячеглазый Аргус сторожил по приказу Геры красавицу Ио, возлюбленную Зевса, замаскированную им под телку. Для ее спасения Гермесу пришлось с помощью кадуцея наслать сон на всю тысячу глаз Аргуса, а затем и прикончить его. Заработанный на этом титул Аргоубийцы считался в Греции почетным, ибо от

Зевса и Ио пошел род великих греческих героев, к которому принадлежали Персей, Геракл и многие другие.

Обратная процедура – воскрешение из мертвых – тоже неоднократно удавалась Гермесу. Небезызвестный Тантал как-то решил угостить богов блюдом из мяса собственного сына – Пелопса. За это гнусное преступление он был образцово наказан, а оживить Пелопса было поручено Гермесу. Это удалось ему с помощью кипячения сложенных вместе частей Пелопса в специальном растворе, по-видимому, амбросийно-нектарном, поскольку «амбросия» означает – бессмертная, а «нектар» этимологически связан с «некро» – мертвое. С качествами же живой и мертвой воды мы хорошо знакомы по русским сказкам.

Из акций обеспечения любовных походов Зевса отметим лишь одну уникальную, когда Гермесу удалось уговорить Гелиоса (Солнце) не всходить, а Селену (Луну) не заходить в течение трех суток, ибо за одну обычную ночь такого героя, как Геракл, не сотворишь. Но, возможно, это выдумка злоязычного Лукиана.

Случалось Гермесу исполнять и карательные функции. Например, нимфу Эгелону за оскорбление чести и достоинства президента Зевса и его супруги Геры он превратил в черепаху. Или вернул в Аид небызвестного Сизифа, просрочившего увольнительную. А санкции в отношении к Гераклу явились одновременно и самой крупной торговой сделкой. Геракл, поистрепавши нервы в двенадцати подвигах, начал впадать в беспамятство и убивать людей уже не

по делу. Надо было что-то предпринимать, и по совету дельфийского оракула Гермес продал великого героя в рабство некоей Омфале за целых три таланта – по тем временам сумасшедшие деньги (более 100 кг серебром, за один талант можно было купить сотню баранов, нашим современным талантам такое и не снилось).

Коммерческие таланты Гермеса не остались незамеченными не только на небе, но и на земле, и не только в Греции, но и в соседних странах. Уже в начале V века до н.э., а точнее в 495 году, в Риме, который был тогда всего лишь небольшим городом, а не мировой империей, был построен Храм Меркурия, то есть Гермеса по-гречески, а по латыни – товарника, приобретателя, и образовался союз Меркуриалиев – начало римского купеческого сословия. Подобные союзы (синоды или фасы) существовали и в Греции и объединяли их не только профессиональные интересы, но и возможность совместного отправления культа почитаемого бога. И не важно, что в одном месте он называется Гермесом, а в другом Меркурием, торговцы отлично понимали друг друга, тем более что звезда его на небосклоне – звезда удачи – была одна на всех. Платон, побывавший в своей жизни и рабом, и торговцем, и кулачным бойцом, и философом, был склонен к приданию словам универсально-символического значения. Не обошел он вниманием и слово (а точнее, понятие) «торговля». Один из персонажей диалога «Софист», считая торговлю одним из видов приобретающего искусства (в отличие от искусства творческого), предлагает такую схему:



Пусть сам Платон не очень согласен с этими рассуждениями элейского софиста, важно то, что синкретизм древних греков вполне допускал, пусть дихотомически, сочетание таких слов, как «торговля» и «знания» или как «обмен товарами» и «подчинение себе», причем под общим названием: искусство! С тих позиций различные, казалось бы, таланты Гермеса-Меркурия уже не представляются чем-то случайным и разорванным, а дают целост-

ный облик заслуженного деятеля «приобретающих искусств».

К числу таких искусств, как мы теперь знаем, принадлежит и политика. Гермес как государственный чиновник в основном вращался в сферах исполнительной власти, хотя египтяне приписывали ему и установление законов, и управление судами (судо-производством в Египте занимались жрецы). Клавдий Элиан объясняет это тем, что людям свойственно желание возвеличивать свои установления. Но дело, видимо, не только в этом. И в греческом, и в других древних государствах залогом общественной стабильности являлся в большей степени авторитет богов, чем авторитет властей. Тирана можно было свергнуть, архонта – переизбрать, бога же нельзя было не только устранить, но и просто послушаться. Вся мифология старательно убеждает нас в том, что это плохо кончалось. В этом смысле уже упоминавшаяся параллель между бунтарем Прометеем и законником Гермесом весьма показательна. Протагор у Платона повествует о том, что прометеевы краденые огонь и ремесла (то бишь технология) не принесли людям ожидаемого счастья: не хватало совершенно обязательного условия – умения жить сообща. Мораль и нравственность были под эгидой Зевса, и Прометей, видимо, имел о них смутное понятие. Чувствуя необходимость ввязаться в происходящее, Зевс посылает на землю Гермеса, дабы тот вручил людям те самые стыд и правду, без которых, как выяснилось, никакая экономика не работает. Гермес считает необходимым уточнить: «Так ли их распределять, как распределены искусства? А рас-

пределены они вот как: одного, владеющего искусством врачевателя, хватает на многих, не сведущих в нем; то же и со всеми прочими мастерами. Значит, правду и стыд мне таким же образом установить среди людей или же уделить их всем?» – «Всем, – сказал Зевс, – пусть все будут к ним причастны; не бывать государствам, если только немногие будут этим владеть, как владеют обычно искусствами». Что происходит, когда нарушается этот «принцип Зевса – Гермеса», мы хорошо знаем: развал государства, в котором небольшая группа людей попыталась присвоить себе монополию на «ум, честь и совесть», идет у нас на глазах.

Прометея в символ революционной свободы возвел, как известно, еще Маркс. До недавних пор такая оценка не подвергалась обсуждению. Гермес же, однако, в трагедии Эсхила «Прометей прикованный» придерживается другого мнения, основанного на правовых принципах и здравом смысле и не лишенного иронии: *Так, видно, лучше быть слугой скалы, чем верным вестником отца Зевса?* – и далее предполагает: *Тебе бы власть – так ты б несносен стал!*

Увы, он оказался провидцем.

Взгляд на самого Гермеса, как на всего лишь прислужника Зевса, высказанный Эсхилом устами Прометея, так же несостоятелен. Между прочим, он не был единственным вестником богов на Олимпе, там была еще Ирида, то есть радуга по-русски, но уж она-то была чистой почтальоншей, в то время как Гермесу все же поручались особые дела. Вот эта особенность, особовость, особистость, возмож-

но, и являлись самыми главными чертами Гермеса. Соответственно, и культ его в разных областях Греции отправлялся по-разному. Разумеется, в Аркадии, на малой родине, он был и остался главным богом. Но и в близких Аргосе, Беотии и даже в не столь близкой Франции и на Крите был также почитаем чрезвычайно. В Аркадии, в Феннеях, где еще сохранялась память о его хтоническом (подземном) прошлом, долгое время соблюдались старые обычаи: столб, подпертый кучей камней (ερμα – это по-гречески и есть подпорка) и изображенный на нем фаллос; черные жертвенные животные; ритуалы только вечером. Потом на гермах начали водружать и голову бога, а затем и статую в полный рост. Фаллос в те поры, как известно, не имел эротического значения, а был исключительно символом жизнотворности. Гермес же единственный из греческих богов, которого, как утверждает Геродот, принято было, по обычаю пеласгов – древних поселенцев Аркадии – изображать с фаллосом, как бы это называть... *in statu erectionis*.

Характерной чертой праздников, проводившихся в честь Гермеса на Крите (Гермеи), в Аргосе (Гибристики), на острове Самос были переодевания мужчин в женские наряды и наоборот. В Афинах, центре греческой культуры, Гермес, конечно, не мог равняться по степени почитания с Афиной или Аполлоном, но и ему посвящались специальные торжества, во время которых юноши соревновались в беге с факелами, борьбе, гимнастике. Переодевания, перевоплощения, скорость, свет, сила и ловкость – все эти понятия, не говоря уже об

удаче и предприимчивости, прочно связывались в умах древних греков с именем Гермеса. Кроме того, они считали, что к помощи Афины-Паллады или Аполлона-Дельфиния следует взывать лишь в особых случаях, а удача в делах нужна ежедневно и каждому, поэтому статуя Гермеса перед входом почти в каждое жилище каждый день украшалась венком из свежих цветов, листьев лавра или мирта. Был еще такой общеэллинский трехдневный праздник – антестерии, по названию месяца антестериона, – приходящийся на начало нынешнего марта. Первые два дня люди пили-ели-гуляли, а на третий день, сродни нашей родительской субботе, душам умерших родственников разрешалось покинуть царство теней, отведать приготовленных для них в специальных горшках угощений и по общему сигналу отправиться обратно в свою вечную обитель. Праздник жизни и таинство смерти – вечное круговращение природы, и Гермес – его непрменный участник!

В классическую эпоху (VI–IV вв. до н. э.) два самых популярных божества затмевали своими праздниками и обрядами остальных: Аполлон с его Дельфийским оракулом и многочисленными играми в разных частях Греции, и Дионис с его Элевсинскими мистериями и прочими вакханалиями. Первый олицетворял собой все светлое, возвышенное и духовное, второй – грубые, плотские, часто низменные радости. Они как бы поделили между собой сферу человеческого бытия на мир горний и мир дольний. Но вспомним, что главный атрибут Аполлона – волшебную лиру – изобрел и

подарил ему Гермес, и он же принял активнейшее участие в воспитании юного Диониса, пристроив его в «дом малютки» к знакомым нимфам (есть знаменитая античная статуя: Гермес с младенцем Дионисом на руках), а довершали Бахусово образование Гермесовы дети – развеселый Пан и вечно пьяный Силен. Так что в формировании обоих миров заслуги и даже в некотором смысле приоритет Гермеса несомненны. Не случайно почти во всех языческих пантеонах дохристианской Европы и Ближней Азии присутствует бог, аналогичный в том или ином отношении Гермесу. У шумеров это мудрый Набу, у сирийцев – Малактел, в этрусской мифологии – Турмс, в армянской – Тир, не говоря уже о египетском Тоте (иначе – Тевте) и римском Меркурии. Тацит уверенно отождествляет с Меркурием скандинавско-кельтского Одина (Вотана). Чрезвычайно любопытную цепочку, основываясь отчасти на звуковых ассоциациях, прослеживал уже в новые времена Готфрид Лейбниц: Ариман (у персов – зороастрийцев) – Герман – Гермес – Тевт. То, что германцев зовут еще и тевтонами, кажется ему великолепным подтверждением начальнической роли Гермеса для немецкой нации. Доказательство, конечно, не столь безупречное, как дифференциальное исчисление и другие творения Лейбница, но то, что такой выдающийся ум не возражал бы иметь Гермеса среди своих предков, говорит о многом.

Впрочем, были и другие претенденты. Нам, славянам, не мешает повнимательнее приглядеться к фракийской истории. В древней Фракии на-

род поклонялся одним богам, а цари – своему особому, и был им, по свидетельству Монтеня, именно Меркурий. Существует предание, что статую Гермеса работы знаменитого, хоть и мифического скульптора Энея, участника Троянской войны, унесло после взятия Трои в море и впоследствии прибило к фракийским берегам. А у современных историков есть версия, что еще до новой эры большие массы фракийцев во главе с царем Тересом (Тарасом?) переселились на берега Днепра и внесли значительную лепту в формирование будущих славянских племен и княжеств. Так что не исключено, что среди потомков русских князей тоже есть Гермесиды.

Вообще, если говорить о потомках, то, на мой взгляд, самое замечательное, что есть в Гермесе, – это его дети. Ни одной дочери, сплошь сыновья, числом не менее полутора десятков, и о каждом мифология сохранила букет преданий. В некоторых случаях относительно отцовства Гермеса существуют сомнения, но с отцовством это дело обычное.

Один из самых известных, безусловно, Гермифродит, получивший свое имя от родителей при рождении, а сомнительную славу физиологической аномалии – значительно позже, когда боги, вняв мольбам влюбленной нимфы Салмакиды, объединили их в одно существо. Остряки-одесситы считают это имя прекрасным названием для совместного предприятия.

Те же родители, но с меньшей достоверностью, у бога любви Эроса. О происхождении знаменитого хозяина лесов и полей козлоногого Пана

есть тоже много версий, но наиболее детально прослежена такая. Небезызвестную Пенелопу, образец супружеской верности, оказывается, еще до замужества с Одиссеем совратил некий козел. Только потом ей стало известно, что в его облике действовал восхищенный ею Гермес. Впоследствии Гермес признал свое отцовство, а сын был представлен «ко двору» на Олимпе и, несмотря на некоторые физические недостатки, всем там понравился. Гермес же в этой истории продемонстрировал в числе прочих талантов и способность к перевоплощению.

В других подобных случаях перевоплощаться от него не требовалось. Большинство знакомых нимф (а боги все друг с другом знакомы, даже если никогда не виделись) были от него без ума, а дети, как правило, наследовали лучшие качества: ловкость, хитрость, красоту или веселый нрав, а иногда и все вместе. Образцом красоты считается Дафнис – пастух и музыкант, знакомый многим по балету Равеля, а образцом хитрости и ловкости – Автолик, за которым числилось множество мошеннических проделок, но и добрых дел тоже, например, обучение искусству борьбы Геракла. Главная же заслуга Автолика перед мифологией – это его две дочери, одна из которых стала потом матерью Одиссея, а другая – Язона, так что многочисленные таланты этих знаменитых героев предопределены хорошей наследственностью. Сейчас мало что слышно о боге Приапе, а в свое время этот сын Гермеса в Риме считался кумиром простого народа: рыбаков, земледельцев, проституток и прочего городского

андерграунда, поскольку являлся одновременно покровителем садов и виноградников, землемерного ремесла, чувственных наслаждений, а также специфической приапической поэзии, в том числе в ее настенной форме. Изображался Приап обычно с двумя фаллосами, но прозвище имел – Трифаллиос, потому что третьим считалась голова.

Не всем Гермесовым детям хитрость принесла удачу. Один из них, по имени Миртил, служил возницей у царя Эномая, причем служил неплохо, поскольку царь выигрывал до поры до времени все гонки у претендентов на руку его дочери Гипподамии. Но соблазненный посулами уже известного нам Пелопса, предал своего господина, заменив в колесе железную втулку на восковую. Эномай разбился, и Пелопс стал царем, но отплатил черной неблагодарностью и Миртилу, и своему предыдущему благодетелю – Гермесу, не выполнив ни одного из своих обещаний, а Миртила так просто сбросив в море. Безутешный отец поместил сына на небо под видом созвездия Возничего, а на Пелопса, хоть он и учредил Олимпийские игры, пало проклятие, принесшее немало бед его прямым потомкам.

Нет возможности рассказать здесь о всех детях Гермеса. Среди них есть знаменитые музыканты (Лин) и образцовые пьяницы (Силен), участники плавания аргонавтов (Эврит) и героини Вергилиевой «Энеиды» (Эвандр). Но об одном следует упомянуть особо. Звали его Эфалид, и в биографии Пифагора, написанной Диогеном Лаэртием, мы можем прочитать о нем следующее: «О себе он говорил (по словам Гераклида Понтийского), что некогда он был

Эфалидом и почитался сыном Гермеса; и Гермес предложил ему на выбор любой дар, кроме бессмертия, а он попросил оставить ему и живому и мертвому память о том, что с ним было. Потому он и при жизни помнил обо всем, и в смерти сохранил ту же память [...] как он был сперва Эфалидом, потом Гермотимом, потом Пирром. А после смерти Пирра он стал Пифагором и тоже сохранил память обо всем вышесказанном».

Пифагор сохранил не только память, но и величайшее почтение к Гермесу, считая его великим мудрецом, автором и хранителем тайных учений, а себя – его последователем. Еще в молодости он посетил (как впоследствии Платон) Египет и прошел все круги посвящения в тайных жреческих общинах. Можно допустить, что в его сознании облики Тота и Гермеса слились воедино задолго до их «официального» отождествления в эллинистический период. Созданная им в городе Кротоне, на юге Италии, религиозно-мистическая община, стала центром целого философского направления, в основе которого лежало понятие о Боге-Числе. Допускались в члены общины только избранные. Перед входом стояла статуя Гермеса с надписью на постаменте: «Прочь, непосвященные!», а сам Пифагор любил повторять: «не из всякого дерева можно вырезать Меркурия». Философские воззрения Пифагора имеют прямое отношение к герметизму, однако излагать их здесь не имеет смысла, поскольку в недавно переизданной книге Э. Шюре «Великие посвященные» эти вопросы детально освещены.

Есть в этой книге глава и о Гермесе, но у Шюре под этим именем обозначена фигура сугобо египетского происхождения, а греков он считает в отношении эзотерической философии учениками египтян. Действительно, египетская культура является более древней и более закрытой, так как создавалась и сохранялась, в основном, усилиями жреческой касты, имевшей (в отличие от Греции) большое влияние на жизнь государства и народа. Многие положения и принципы современного герметизма, несомненно, сформировались в Египте еще в дописьменную эпоху, хотя и не без шумеро-аккадских, халдейских и других влияний, но в вербализованном, текстовом виде они оформились, по-видимому, уже в эллинические времена. Так что, вопрос о том, следует ли считать Тота египетским Гермесом или Гермеса греческим Тотом, наверное не правомерен. Следует согласиться с Шюре, считающим, что «Гермес – такое же родовое имя, как Ману и Будда. Оно означает одновременно и человека, и касту, и божество. Человек-Гермес есть первый посвяtitель Египта; каста – жречество, хранящее оккультные традиции; божество – планета Меркурий, уподобляемая – вместе со своей сферой – определенной категории духов, божественных посвяtitелей; одним словом, Гермес – представитель свержземной области небесного просвещения».

Биографию Гермеса мы изложили довольно подробно. Биография же Тота (Тевта), названного впоследствии Гермесом-Трисмегистом, так же известна в разных вариантах. По мнению Платона,

он был родом из города Навкратиса – греческой колонии в Египте – и однажды явился к фиванскому царю Тамузу с демонстрацией своих изобретений – числа, счет, геометрия, астрономия, игры в шашки и кости, а также письмена. Царь со всем этим ознакомился, но высказал сомнение в полезности некоторых, например, письменности – не породит ли она в людях леность мысли, деградацию памяти и т.п. Тем не менее, изобретения были внедрены и настолько широко распространились, что проверить, прав ли был Тамуз, невозможно, ибо не с чем сравнивать. Тот же стал Верховным писцом и языком Пта, а центр его культа переместился в город Хемену (в буквальном переводе – восемь), в столицу 15-го Заячьего нома Верхнего Египта (в среднем течении Нила), впоследствии названный Гермополисом. Там и происходили в основном все мистерии, обряды и посвящения.

Другой вариант изложен в книге оккультиста начала нашего века Д. Страндена со ссылкой на замечательного египетского жреца Манефона или, точнее, Майн-Эн-Тота. Приведем обширную, но информативную цитату из книги указанного автора «Герметизм»: «...древние памятники, из которых черпал свои сведения Манефон, были покрыты надписями, сделанными на священном языке первым Тотом-Гермесом, называемым также Агатодаймоном; после потопа (речь идет очевидно о гибели Атлантиды) эти надписи были переведены на господствовавшие тогда наречия вторым Гермесом, Трисмегистом, сыном первого. Но записаны еще иероглифическими письменами и в таком виде были сохранены Татом, сы-

ном Гермеса-Трисмегиста, в святилищах египетских храмов. Мид считает, что здесь мы имеем указание на три эпохи в развитии египетских религиозных мистерий:

1) в первую эпоху, олицетворяемую первым Тотом, или агатодаймоном, архаическая традиционная мудрость, унаследованная египтянами непосредственно от атлантов, сохранялась на каменных памятниках в виде иероглифических надписей, сделанных на древнейшем священном языке;

2) во вторую эпоху, олицетворяемую Гермесом-Трисмегистом, священные предания сохранялись как в надписях на памятниках, так и в манускриптах, написанных уже на древнем египетском языке, но еще иератическими письменами;

3) в третью же эпоху, которую олицетворяет Тат, сын Гермеса-Трисмегиста, жрецы записывали древние предания на позднейшем египетском наречии демотическими письменами и переводили их также на греческий язык.

Однако есть основание предполагать, что Тот на самом деле был реальной человеческой личностью, выходцем из Атлантиды, принесшим древним египтянам мудрость атлантов.

Нашлись, правда, специалисты, которые уже в наше время определили конкретные годы жизни Трисмегиста: с 1399 по 1257 до н. э., то есть к звездам он поднялся в возрасте 142 лет, оставив целую библиотеку сочинений. Называют разные цифры: от 42 до более 30 000. До нас дошли в том или ином виде 14, из которых наиболее известны: «Пимандр или пастырь мужей», «Асклепий или Посвятительная речь»,

«Дева мира» (в отрывках), «Разговоры Гермеса с Татом», ну и, разумеется, «Изумрудная скрижаль» – катехизис алхимиков.

Четырнадцатый век до Р. Х. – это близко к временам Рамзесов и исхода из Египта, так что не исключено, что Гермес был знаком с Моисеем и многие из (не только герметических) христианских истин родились в их спорах. Эта работа – не о герметизме, а о самом Гермесе, поэтому излагать само учение сейчас представляется мне излишним. Речь идет о трех царствах, четырех мирах, семи принципах и двадцати двух арканах (тайнах), в соответствии с которыми устроена Вселенная. Составными частями герметизма являются магия, каббала и астрология. Об астрологии чуть позже, а магия и каббала, связанные с колдовской символикой чисел и знаков, весьма близки к воззрениям Пифагора и его школы.

Все это, разумеется, составляет рассекреченную, популярную часть герметизма. Остальное, видимо, самое важное, нам, непосвященным, знать не дано. Но, как мы уже говорили, мифологическая литература представляет собой не менее, а может, и более закодированную книгу, хотя и не секретную. И возможно, оттуда тоже можно попытаться извлечь какую-нибудь эниотехнологию.

Полезно окинуть взглядом атрибуты и символы, неразрывно связанные с Гермесом и Тотом. У Тота их немного: павиан и ибис, да первый месяц египетского года; Гермес в этом смысле гораздо богаче. Вот, например, греческая буква *Ε* (эпсилон), которую археологи якобы обнаруживают на стенах

зданий во всех местах, где изучали философию Пифагора. Ею зашифровывался «обобщенный» Гермес. Во-первых, потому, что его греческое имя начинается с этой буквы, а во-вторых, потому, что так следует из сложных арифметико-теогонических выкладок с использованием первых чисел Фибоначчи. С буквой *E* связано число 5, и Пифагор считал его более «гермесовым», чем уже упоминавшуюся четверку. Поэтому символом Гермеса считались и геометрические фигуры: пентагон и пентаграмма (пятиконечная звезда), обозначавшие вечность, совершенство, вселенную, и бывшие амулетами против болезней и магических чар. Звезда перешла и в христианскую символику, но в зависимости от расположения лучей могла обозначать как распятого Христа с его пятью ранами, так и Антихриста в образе Козла. То, что Гермес мог обращаться в козла, мы уже видели, но и с Христом его духовные связи явно прослеживаются. Барашком изображался именно Гермес. Этот образ использовался позже в христианстве под именем «Доброго пастыря». Вообще, христианство далеко не сразу отринуло языческих богов, трансформируя их в демонов, ангелов или святых. Так и наш Гермес какое-то время присутствовал в сочинениях ранних патристиков под именем святого Гермеса.

Из атрибутов Гермеса-Олимпийца наиболее известны его крылатые «амбросийные» сандалии, а также крылатые шапки двух моделей: остроконечные (пилос) и широкополые (петаз). Менее известна золотая цепь – символ достоинства, чести, успеха, богатства, восхождения духа, красноречия. Возмож-

но, об этом знал автор повести «Золотая цепь» Александр Грин.

Были у Гермеса и свои «домашние животные». Кроме овцы (барана) – это черепаха (забавно, что богу скорости сопутствует символ тихоходства), а также петух, причем не только горлающий, но и боевой.

Алхимическим символом Гермеса является, как известно, ртуть, в словаре алхимиков она так и называлась: меркурий. Имел алхимическую силу и уже упоминавшийся кадуцей. Неизвестно точно, что символизирует две переплетенные змеи, но по форме эта связка подозрительно напоминает структуру молекулы ДНК.

Наконец, астрологическим символом Гермеса является знак планеты Меркурий, а на небесах – сама планета. Астрология в наши дни вновь переживает бум, но основные ее положения были сформулированы еще самим Птолемеем во втором веке нашей эры. Ввиду необъятности темы даже та ее часть, что относится только к Меркурию, не может быть изложена здесь. Из учения Птолемея и его последователей об «обитателях» планет следует, что жилище ночного Меркурия – в Близнецах, а дневного – у Девы (хотя логичнее было бы наоборот). В Близнецах с Меркурием связаны:

стихия – воздух,
металл – ртуть,
растение – боярышник,
цвет – оранжевый,
часть тела – руки,
качества – мужской, горячий, влажный, счастливый,

а в Деве:

стихия (и вещество) – земля,
 растение – орешник,
 цвет – светло-желтый,
 часть тела – внутренности,
 качества – женский, холодный, сухой, не-
 счастливый.

Меркурий считался двуполой звездой (планетой), занимавшей в смысле благотворности влияния промежуточное положение между благоприятным Юпитером и злонамеренным Марсом. Птолемей, в отличие от Платона, считал Меркурий не четвертой планетой, а второй от Земли после Луны, отчего среда становилась пятым (!) днем, считая от субботы, и первый час среды также контролировался Гермесом. Любопытно, что еще до Птолемея греки, различавшие утренний и вечерний Меркурий (называемый ими Стилльбон – мерцающий), долгое время посвящали их разным богам: первый – Апполону и лишь второй – Гермесу.

Мало кто, кроме нынешних астрономов, знает, что существует планета Гермес, точнее астероид, открытый в 1937 году германским (!) астрономом Рейнмутом. У астероида этого много замечательных качеств, но после 1937 года он не наблюдался и считается пропавшим без вести. Для тридцать седьмого года это не очень удивительно.


Объем очерка ограничен. Я не рассказываю подробно о «Гермесовой таблице» в оккультной медицине, о «бугре Меркурия» в хиромантии, о «*virgula mercurialis*» – волшебной палочке, используемой в лозоходстве и о многих других занимательных вещах. Осталось сделать выводы.

В Олимпийском пантеоне было два явно выраженных интеллигента: Аполлон и Гермес. Первый – несомненно, с гуманитарным уклоном, второй – больше склонен к научно-техническому творчеству и предпринимательской деятельности, но не чуждый философии и меценатству (недаром у Горация *Mercurialis viri*, любимцы Меркурия – именно поэты и ученые). Если взять наиболее популярные из нынешних интеллектуальных занятий: политика, предпринимательство, информатика, мистика, эротика и др., то окажется, что все они находятся под покровительством Гермеса. На мой взгляд, он является организатором и первого в истории конкурса красоты, где участвовали в качестве конкурсанток богини Гера, Афина и Афродита, а судьей был Парис. Правда, кончилось это большим скандалом, но замысел был красивый.

На первый взгляд, Гермес, по сравнению с Аполлоном, занят не столько вечными, сколь проходящими, ежедневными заботами. Но, с другой стороны, что может быть вечнее повседневных забот? Вспомним Юнга, который называл мифологию «коллективной психологией». Я бы добавил: и коллективной рефлексией. Гермес, как рефлексивная модель мирознания, прошел тот же путь, что и вся человеческая цивилизация: от примитивных, символизируемых фаллосом эмоций до философских интеллектуальных высот и в этом смысле представляет собой замечательный архетип активного и гуманистически настроенного интеллигента. То, что вербализовано – может быть и смоделировано с помощью информацион-

ных средств. Бурно развивающаяся с легкой руки Гермеса информатика скоро может дать для этого адекватные возможности.

Но это уже тайны технологии и об этом пока ни слова.



Валерий
ЩЕГЛОВ

Вечер
в Академгородке

* * *

Все проходит, исчезает,
Улетучивается.
Вот и думаю,
А стоило ли
Мучаться-то?
Вот и думаю,
А стоило ли
Маяться?
Да по всяким пустякам
Расстраиваться?
Душу жечь,
Глотать обиды,
Сердце губить!
Ничего вокруг не видеть,
Только злей любить!
Да судьбу свою – злодейку
Приукрашивать.
Да любовь свою – копейку
Прихорашивать!

* * *

Тонко вспыхнет луна,
Ночь вздохнет за окном,
До нездешних полян
Ляжет теплым сукном.

Полночь дрогнет сучком,
Зверь во сне заворчит,
И беспечным сверчком
Тишина закричит.



ЛИСТОПАДЫ

Тебя везде найдут мои строчки.
Меня везде найдут твои губы.
Какой же олух там напрозорчил,
Что расстояния нас погубят?

Туман излечивающим покрывалом
Вечерние страны твои укутал.
А здесь уже утро зарей взорвалось,
И дождь нам карты не перепутал.
И нам с парнями одно осталось –
Последнюю выкурить папиросу,
И вновь по топям,
Пока усталость
Не свяжет ноги свинцовым тросом.

А олух снова твердит, оскалась:
Она в рестораны с другим таскалась!
А ты – обросший, в тайге по пояс...
Вранье! Я в руки твои заруюсь,
И душные губы мне снова – милый!
Как будто и не было Сахалина.
Как будто трогал руками веки,
Полузакрытые твои веки...

Скользят надо мной беспробудные ночи,
И мне наплевать на любые пророчества!
Нам осень сулила за лето в награду
Все золото мира
Своих листопадов!
И встречу сулила.
За лето.
В награду.

Ты ждешь листопада,
Как я – листопада?

ДЕТСТВО

Нам прошлое машет платком, слегка,
Слегка прикусив губу.
И детство поёт нам издалека
В серебряную трубу.

И детство зовёт нас
И смотрим мы
Глазами умными внутрь.
Нас слово невысказанное томит,
Стучащее в нашу грудь.

И может быть, всхлипнет в подъезде пацан,
Впервые узнавший обман,
Но ритм отбивает по нашим сердцам
Задиристый барабан.

Но наша Бегущая по волнам
Летит, расплескав паруса,
И мы доплывём, равнодушие кляня,
К сияющим полюсам!

Пусть тело нальётся усталым свинцом,
Пусть горе, что хуже нельзя,
Нам глянут в измученное лицо
Мальчишеские глаза.

И – плечи прямой! Беда невелика!
Лишь сильней прикуси губу.
И детство споёт нам издалека
В серебряную трубу!

ПОМНИШЬ?

Г. Прашкевичу

Помнишь лето?

Помнишь реку?

Помнишь руку?

А потом

Невыразимую разлуку?

Помнишь строки и упрёки?

Помнишь страхи?

Помнишь Баха –

Словно тихой мамы ахи?

Жёлтым звоном

Листья август окликают –

Это наше лето облетает.

Снег закружит,

Зацелует,

Заласкает –

Снежным мехом

Наше лето обрастает.

Я – язычник,

Раздаривший амулеты.

Рукам – руки,

Рекам – реки,

Лету – лето.

ПОЕЗД ТОМСК – БИЙСК

Поезд Томск – Бийск
Ближнего сообщения.
Километровая близь –
Позванивающим украшением.

Поезд Томск – Бийск
Вышел с соседней станции.
В радуге снежных искр,
В заиндевелом панцире –
Новосибирск!

Чуть-чуть,
Неслышным шагом
Подошла грусть,
Села рядом.

Давно я не был
В Новосибирске.
Другое небо
Мне стало близким.
Другие люди
Друзьями стали.
Я возвратился,
Когда все спали.

* * *

Г. Прашкевичу

И в какие глухие вечности
Идем мы, смеясь и плача?
Только тают звездные млечности
Сном утраченным.

Все, как прежде – мужская сила
И неверная женская нежность.
И весной на озябших могилах
Смех подснежников.

И костры догорают медленно,
Сжигая ночные ужасы.
И наездник на звере оседланном
Полон мужества.

Ночи липкой луной изранены
Умирают в июле до срока,
И кричит петухами ранними
Утро мокрое...

Позабылись глухие вечности,
Нету тех, кто смеясь и плача...
Только тают звездные млечности
Сном утраченным.

Только снова пути бесконечные,
и боги, и люди разные.
И моргает Земля беспечная
Теплым глазом.

1962

О, ГОВОРИ МНЕ

О, говори мне,
Говори мне,
Говори,
Ведь всё равно же
Не уснётся до зари!
Не потому, что ночь
Так хороша,
Не потому, что ты так хороша,
Таких минут
Вовек не повторить,
Как будто полчаса осталось жить,
Всё чудо слов – в меня,
Любя, спеша!
Как будто поцелую – полчаса!
И невозможно
Ни понять, ни объяснить,
Лишь медленно
Среди мгновений плыть.
Лишь ощущать
Гудение в крови,
Поплескивание листьев в тишине...
Такое невозможно повторить.
И я – один.
И ты – приснилась мне.

ВЕЧЕР В АКАДЕМГОРОДКЕ

Какой-то вечер странный –
Ни злой, ни хороший.
Сгорбились краны,
Тишью огорошены.

Я иду – длинный,
Думаю лениво:
Вот асфальт мокрый –
Утром был ливень.

Мне б сейчас немного
Пьяненьким, добрым,
Чтоб позлить девчонок,
Умненьких, гордых.

Я бы говорил им,
Что так и бывает –
Сначала любят,
Потом забывают.

И что вообще женщины
Пошли теперь неверные,
Чтоб мне они обиженно:
«Врёшь ты всё, Валера!»

Чтоб потом дома
Почерком плохим
Писать своей девчонке
Хорошие стихи.

ПЕЧАЛЬНИЦА

Запечаль меня, печальница,
запечаль,
Душу мне печалинкой
залечи,
И кручину чёрную
закачай,
И словам чарующим
научи.

Замечтай меня, печальница,
замечтай,
Мне в окно нечаянно
постучи,
Чтобы сказку длинную
вновь начать,
Когда час темнеющий
заворчит.

Ложь волнующая
зазвучит,
Все мои обиды
уж ни при чём,
И, напялив старенькие
очки,
Ноты перелистывает
сверчок.

Замечтай меня, печальница,
закачай,
Песню колыбельную
прошепчи,

Чтобы сон – мурашками
по плечам,
Пламя слизывая
со свечи!

1962

ГАДАНИЕ

Не открывай меня – сгоришь,
В глазах моих не утони –
Я сам горю в твоей тени,
Как снег весной слезами крыш.

Не открывай меня, мой жар,
Обняв тебя, – испепелит.
Я сам – беда,
Я сам – пожар,
Но мне твой взгляд беду сулит.

Глаза приказывают – отвечай!
Глаза вымаливают – не тяни!
Но как в тумане найду причал
Твоей блуждающей пристани?

Глаза презирают меня – пижон!
Единственные подсказывают слова,
И губы пророчествуют – не пажом!
А коронованною – голова!

О! Эта история – исстари
Велась, и дымком вилась
От пламени, выбитом искрами
Двух пар обжигающих глаз.

От грустного семнадцатилетия
Остался неясный узор.
Теперь наши гуси-лебеди
Уже у других озер
Парят – манящие, трепетные,
Не зная ни дней, ни ночей,
Гортанные песни преданные
Поют для других очей...

О, гуси-лебеди, гуси-лебеди!
Я ваш был.
И к тайнам наивным и нежным
Собрал уже кучу ключей.

Я с тайнами был и трусом,
Я с тайнами был и храбрым,
Я с тайнами был влюбленным.
Я ваш был.
Теперь – ничей.

О, гадалочка!
Не открывай меня.
Не разгадывай сразу. Молчи.
И смотри на меня лишь.
Расскажу и без карт.
Не солгу ни разу.
И сгорю.
И ты тоже
Сгоришь...

1964

СТАККАТО ВЕСНЫ

Стаккато!
Стаккато!
Раскаты стаккато!
Весь мир – это звонкие капли стаккато!
Вся жизнь – это властные четкие такты
Зовущего ритма
Гремучих стаккато!

Стаканами пить
Сумасшедшую влагу
Стаккато,
Кипящего в крови заката!
Стаканами выпить
Пьянящее благо
Горячего грома
Весенних стаккато!

Чтоб мысли гудели трепещущим тактом,
Чтоб плечи набухли от силы покатой...
И лопнут тугие канаты легато
Под ярим напором
Упрямых стаккато!

А вечером –
Стихнет мое фортепьяно.
Весь мир перельется
В мое пианино.
И рядом со мною –
Царевна Пиано,
И море у ног –
это море Пиано,

И небо вокруг –
 это замок Пиано.
Вся жизнь – как волнующая пантомима,
А мы в этой жизни – искусные мимы.
Мне взгляды твои –
 это Нежность-Пиано.
Мне руки твои –
 это Ласка-Пиано.
А я только пленник у доброй богини,
И мне от Пиано
 и жутко,
 и пьяно...

Но утро оденет
Пурпурные латы,
И в небо взовьются
Трубы перекаты.
И мир пробужденный
Ответит стократно
Трепещущим,
Чистым,
Поющим стаккато!

Стаккато!
Стаккато!
Трубы перекаты!
Вся жизнь моя —
Только начало стаккато!
А если же в сердце
Неверные такты –
Налейте мне рюмку
Кипучих стаккато!
Чтоб мысль заработала

Четко и внятно,
И речи друзей
Стали снова понятны.
И чтобы опять
Рокотали стократно
Зеленые громы
Веселых стаккато!

1966

* * *

Но кто же был тогда за дверью,
Когда я мучался, курил,
Стихи писал,
И на доверье
Еще не доставало сил?

Быть может, этот взгляд вчерашний,
Угрюмо впившийся в лицо,
И был взаправдашним, тогдашним,
Подглядывавший – подлецом?

А в то, единственное, утро –
Все утро ливень напролет,
Когда к тебе в промокнутой куртке
Я мчался, зная наперед,

Что если встречу человека,
То по глазам узнаю вдруг
К стихам моим, прикрывши веки,
Тогда прислушивался друг.

По взглядам – ласточек ли пенье,
Или тяжелый блеск свинца,
Я понял сладость откровенья,
Глухую слабость подлеца.

Тогда я проклял недоверье,
И желтый прах его зарыл...

Поэзия –
 все настезь двери!
Сегодня –
 первую открыл.

1968

ВЫШКА

Мы с парнями красили вышку
Высотой в сто десять метров.
О геройствах – лишь понаслышке мы,
И про то, как на вышке ветры
Воют, стонут,
Свистят в три пальца –
Лишь гудят под ногами метры.
Эй!
Довольно!
Кто там трепался?!
Не бродяги мы,
Не скитальцы,
Мы – худые веселые черти,
Мы – художники и поэты!
Вышка тенью упрямой чертит
Поле, выложенное стогами.
И гудят под ногами метры!
И свистят под ногами ветры!
И маячит земля под ногами!

А наутро нам снова в три пальца
Просвистит хулиганистый ветер,
И закурим мы с ним сигарету –
Все же здорово это чертовски!
И идем мы,
И курим болгарские,
Теребим бороденки английские,
В пальцы въелась нам русская краска.
А живем мы в Новосибирске,
И автобус новосибирский

Довезет нас прямо до дому.
И прокуренные,
И голодные,
Мы рассказываем знакомым,
Что на вышке совсем не страшно,
Только ветер свистит в три пальца!

Эй! Довольно!
Кто там трепался,
Что и делать нам вовсе нечего,
Что валяем во всем дурака...
А мы выйдем на Красный вечером
И пройдемся среди прохожих.
В этот вечер нам делать пока
В самом деле почти что нечего.
И похожие,
Непохожие,
Мы от площади до Маяковского
Пройдем медленно раза два.

Все же здорово это чертовски!
Не прохожие,
Не постояльцы,
И бродяги мы,
И скитальцы,
Мы художники и поэты,
Мы имеем право на это!
Мы имеем такое право.
Небо – слева
И небо – справа,
Небо – всюду!
И под ногами,
В поле,
Выложенном стогами,

Тень от вышки упруго стелется,
И во все хорошее верится,
И чудесное настроение!
Эй! Довольно!
Кто там трепался,
Что плохое мое поколение?!

Тень от вышки упрямо чертит
Поле, выложенное стогами.
И гудят под ногами ветры!
И гудят под ногами метры!
И гудит
 Высота
 под ногами!

1963

ИЮНЬСКИЙ ВАЛЬС

Царил июнь,
Оркестр духовой
Ещё ласкал
Своих единоверцев,
И на плече
Волнующей дугой
Рука дрожит,
И замирает сердце...

Тогда, давно
Блестящий лейтенант
Кружил, как бог,
И медь огнём пылала.
Ни капельмейстер,
Ни весь Летний сад –
Никто не знал,
Что будет после бала.

И – грянул бой!
И музыка войны
Для них свою
Мелодию сложила.
Ещё живыми
Были все они,
Но с ними смерть
Под музыку кружила!

Мы старше их
Годимся им в отцы,
Друзьям отцов,
Засыпанных землёю.

Там по весне
Горластые скворцы
Кричат над нею,
Как перед войною.

Мы младше их
На целую войну,
На сотню лет,
На вечную разлуку,
На вечный бой,
На эту тишину,
На мирный дом,
И на живого друга!

1985

ЛЕНИВЫЙ ДЕНЬ

Вяло вякает будильник,
Шевеля минутами,
Семена по дугам длинным
Блудными секундами.

День ворочает глазами –
Жаркими, сонливыми,
Час за часом обгрызая
Сутки ленивые.

Скоро вечер синей цаплей
Клюнет по месяцу,
И сиреневыми каплями
Небо засветится.

Ухнет полночь часом стылым.
Тишины надолбы.
Вякнул, и умолк будильник.
Завести надо бы...

1964

НОЧЬ

Послушай, послушай,
За нашим окошком,
Как черная кошка –
ночь.

И бедную кошку
Под каждым окошком
Мочит и мучит
дождь.

Месяц испуганный –
Рыжий котенок,
Мечется,
как в бреду.

Жаркие губы
Душных потемок
В губы целуют
беду.

Ночь так испуганно
Лижет окошко –
Ей бы немного
тепла.

Ты куришь,
И дыма седые дорожки
Вытаивают
дотла.

Я знаю,
Как завтра
Все станет понятным.
Как радио закричит...

Ветер в Академгородке



Пусть глаз твоих –
Теплые серые пятна.
И следствия
Без причин.

1963

СТИХИ О БЕЛОМ СУМРАКЕ

Белый сумрак
Встанет у ворот,
Тёплые ворота
Распахнёт,
А на подоконнике твоём
Мы сидим, притихшие,
Вдвоём.

Белый сумрак
Переходит в синеву,
Только одного я не пойму –
Почему на подоконнике твоём
Мы сидим
Чужие – и вдвоём.

Белый сумрак
Забирается под плащ,
Набивается в карманы пиджака...
Только ты, моя любимая, не плачь
Из-за небылицы-пустяка.
Или плачь.
Поплачешь – и пройдёт.
Белый сумрак был –
И нет его.
И настанет ночь.
И ночь уйдёт.
А потом
Не будет ничего.

И ни о чём не пожалею,
Просить не стану ни о чём.
Разве только сердце тяжелее
Будет бухать
В горле и под плечом.
Разве только снова
Белый сумрак
Растревожит душу,
Чёрт возьми!

...Об ворота
Погашу окурок.
Недосуг.
Назавтра нам
К семи.

1969

БЛЮЗ О ЗАБЫТОМ ЛЕТЕ

Н. Б.

Торжественное золото заката
Густело, телом превращаясь в медь.
И небо в море падало покато
И начинало медленно синеть.

Вот море, дрогнув кожей, присмирело,
Пугливо обозначился маяк.
Вот рыжая волшебница запела,
Уайльдуду подавая тайный знак...

И взмыли блюзы!
Больно и влюблено!
Ах, плач трубы! –
Июля жадный стон!
Среди ночных растений исступлённо
Тоскует блюз,
Пронзая каждый ствол!

Но не хватает нот!
Изнемогая,
Последний звук,
Мерцая,
Исчезал.
За горизонт.
За море исчезал.
Нас от ненужных слёз оберегая.

1968

ЛАСКОВЫЙ ЛИВЕНЬ

Будет ласковый дождь.

Р. Бредбери

Будет ласковый ливень
Джентльменски недлинен,
Сладкошёрстно взъерошит траву,
И во рву
Всполошит
Мошек в ссохшейся тине.

Сухо охнет ольха,
Всполохнёт, впопыхах
Не поняв переходу,
И с ходу
Разобравшись,
Расплещется вся нараспах,
Поглощая поющую воду!
Клопоча, натрепещет,
Наплещет, наплющит!
Георгинами бьющий
Хлынет запах с тех клумб!
Как Колумб –
Открыватель заблудший,
Лопоча, липнет лист по стеклу!

Вдруг всё смолкнет в изнеможенье,
Ручейками слепыми шепча.
И, подрагивая отраженьями,
Хлопотливо вспоёт свеча.

Ты уляжешься спать.
Выйдет месяц – ряб, колченог...
Больно вспыхнут сухие звёзды –
Будто не было ничего.

1970

ДОМ

Не приходи.
Не трогай там цветы.
И воду не меняй.
Пуškai завянут там.
Поменьше горестей,
Побольше простоты.
Не приходи.
Дай умереть цветам.

Пусть по углам семнадцать пауков
Наткут великолепных паутин,
И тишина, свисая с потолков,
Колышется и шарит меж картин.

Пусть гном молчания
Тоскует и поёт,
И песни его дом заполонят.
Не приходи.
Сейчас там нет меня.
В наш дом придуманный –
Творение моё.

Но – слабый крик калитки на заре,
Когда ещё всё в тусклом серебре
Росистых листьев заспанных берёз,
И с места не сойти –
Словно прирос.

Дом дрогнет,
До карнизов обомлев.
И затаит дыхание крыльцо...
О, немоты счастливое лицо!

Полшага только смею, осмелев,
И вылетишь – вся ты!
Навстречу – ты!
Под гулкий лепет
Сердца моего.

1972

* * *

Н. Б.

Всё проходит постепенно,
Безболезненно стихает.
Письма стали постепенней
И – не плакать над стихами.
И над глупостью случайной
Не смеяться, как в начале.
Нас с тобой чужие руки,
Чьи-то сказки закачали.
Сказки эти добры, гладки,
Мы их сами не просили.
Я лежу один в палатке,
И свеча горит вполсилы.

Пока всё ясно.
Твоя. Любимый.
Без тебя бы я не смогла.
А что, если сказка
Мягкой дубиной
Вдруг шарахнет из-за угла?
Да лихим колдуном захохочет,
Отдаляя тебя от меня...
Да чего только не напроорочит,
Немудрёную цель храня.

Жевать папироску терпкую,
Все мысли перелистать.
Мне друг закадычный Валерка
Сегодня не даёт спать.
Какие-то звуки улавливаю –
Там ночь, тягучий туман.

У сказок удобных – баловнем,
Я верил в святой обман.
От мыслей неперетруженных –
Излечивающий настой...

Но снова,
Валеркин,
Простуженный,
Сердито твердит – не то!

О, километры тысячами
Давят
На меня.

Имя твоё выучено,
Трудно поменять.
Имя твоё

высечено

В хрусталь –
лёд, звон.

Губами моими вымучено,
За сном – сон.

Имя моё – гроздьями
У тебя в горсти.

Пока всё не роздано –
Пускай гостит

Оставшеюся меркою
В твоей руке.

Чтоб в памяти – Валеркою.
В дороге – налегке!

1964

* * *

Тает в небе позолота,
Стынет вечер голубой.
В сердце лёгкая забота –
Мне бы встретиться с тобой.

Замираю у ограды,
Сигаретку тербя,
Прибегни скорей, обрадуй,
Я скучаю без тебя!

Быстрокрыло обнимая,
Ты нарушила завет.
Ну, скажи же, дорогая,
Что минут дорожке нет!

Скоротечные минутки –
Вы навеки хороши!
Золотые промежутки
Истомившейся души!

Всю тебя я зацелую,
Заласкаю, залюблю!
И руками избалую,
И губами изгублю!

И в глазах твоих прекрасных,
Зачарованный, тону.
Всё, что было – не напрасно!
Всё, что будет – быть тому!

В кудрях, пальцами играя,
Жаркою слезою брызнь!
Это – счастье, дорогая!
Этот миг, и эта жизнь!

1975

* * *

В квартире – полумрак. Свеча
Горела плохо и дымила.
Твой кот аспидный изучал
Мои ботинки. Так же мило
Ты улыбалась, как всегда,
На фотографии в углу.
И твои тихие слова
Питали эту полумглу.
Тишайших слов –
Полёт совиный?
Летучей мыши силуэт?
Был смысл их неуловимым,
Полунамёк на менюэт.
А облик твой –
Румян и нежен.
Глаза – правдивы и чисты.
И вдруг –
Жест плавлен и небрежен,
Седым крылом
Взмахнула ты!
Кот заструился под ладонью,
И на прощание зевнул.
И взгляд твой
Из угла мелькнул
Прощальной,
Глуше,
И бездонней!

1973

ВОКЗАЛЫ

Но тут подошёл путешественник и сказал:
Если есть в этом мире дороги,
Должен быть и вокзал.
И ведь должен же кто-то кого-нибудь
Провожать.
Обязательно нужно кому-нибудь
Друга ждать.

Помолчал-помолчал путешественник и сказал:
Если есть в этом мире дороги,
Должен быть и вокзал.
Если есть в этом мире разлуки –
Встречам быть.
Греть кому-то озябшие руки,
И любить, любить...

А потом путешественник
Взял за плечо меня и сказал:
Успокойся, мой мальчик,
И не печаль глаза.
Ведь не ты виноват,
Что попал не на свой вокзал.
Ты ошибся – отсюда
Ты всегда провожал.

А тебе из гудящих вокзалов
Придётся не раз уезжать.
И тебя из уютных вокзалов
Будут не раз провожать,
Не встречая потом.
В мире такое везде.
Только не изменяй
Путеводной своей звезде,

Под которой бродить по Земле,
Удивляясь затерянными странам,
Жизни – горькой и сладкой,
Неповторимой и странной.
Ты прислушайся. Слышишь
Дальних дорог голоса?
Вот твой поезд.
Прощай!
До звонка полчаса.

1964

ВОТ И ВСЕ

Ну, вот кажется, это и всё.
Отдудела труба вдалеке.
Вот и я позабыл обо всём,
Ухожу от тебя налегке.

Словно минула тысяча лет,
Каждый день – годовалым кольцом.
Не узнать уж – твоё или нет
Там в толпе промелькнуло лицо.

Прошлое – как туман за рекой,
Бел, тягуч, ничего не видать.
И легко дотянуться рукой,
Да с собой нелегко совладать.

За туманами – тысячи встреч,
За туманами – счастье и плач.
То, что некому было беречь,
Уплывает рекой неудач.

По реке проплывают мосты,
Но внезапно себя удивлю:
Эти горькие мысли просты –
Я тебя не люблю.
Не люблю...

12.10.1969

* * *

Твои глаза опять манят –
Чего ты хочешь от меня?
Уйду к другому шалашу,
И позабудь меня, прошу.

Мне просто надоела ты,
Мне не нужны твои цветы,
Твоих улыбок грустный рой,
Волос твоих лохматый зной!

Ты – как забытая весна,
Ты – как ленивая сосна,
Твои глаза устали жить,
Я не хочу тебя любить,

Я не люблю тебя любить,
И лень мне лень свою разбить,
Мне лень любить тебя и ждать,
Я просто очень хочу спать!

1964

СТУДЕНЧЕСКИЙ ТОСТ

В конечном счёте
Всё сложное – просто,
И всё простое –
Предельно сложно.
И каждый ответ
На любой из вопросов
Правдив настолько,
Насколько ложен.

В конечном счёте
Вся жизнь – дорога
К некрологу,
С рамочками для почёта.
И если любимая недотрога,
То это только
В конечном счёте.

Как станет плохо –
Пошлём всё к чёрту!
Настанет время –
Похуже влипнем!
Всё в этом мире –
В конечном счёте.
Давайте сядем
И тихо выпьем!

1964



Татьяна
ЯНУШЕВИЧ

Записовки
на парях

РАССКАЗЫ

ВСТРЕЧНАЯ

Утром, как обычно, бегу на рынок. Чудный выдался денек бабьего лета, в золотую искорку, легкий, игривый, такой, что ноги сами подпрыгивают. В этом году на диво всему городу местные власти занялись благоустройством газонов, главное, запретили дворникам мести их метлами под корень, вот газоны и разлеглись вальяжно, любо глядеть, впрочем, и дождей было вдоволь. Яркая, прямо изумрудная трава... какие-то странные видны красные бугорки подле соседнего дома, присматриваюсь, – батюшки-святые, четыре рогатые бычьи головы выложены ромбом. Это что же за «Крестный отец» разыгрывается на нашей улице? Спешу перейти на другую сторону.

На следующий день забылось уже – и ах ты, Господи, снова-здорово. Головы явно новые, не заветренные, выверенно повторяют ту же магическую фигуру. Прохожие столбенеют, вытягивают шею, присматриваются... понимая, чертыхаются, шарахаются в сторону.

И так ровно одиннадцать дней. То ли по какому-то зловещему замыслу, то ли случайно совпало. И никто, конечно, не обращает внимания на бомжиху, что сидит под забором, наблюдает представление. Только уж когда сюр прекратился, а заодно и баба исчезла из поля зрения, зашелестели слухи... А до того люди неохотно обменивались впечатлениями, разве что восклицаниями... Зашуршали предположения: «Уж нет ли здесь какой-нибудь связи с годовщиной

одиннадцатого сентября?» Но более всего утвердился слух, что это бомжиха, – заметили, под забором все сидела? – так вот, она хулиганила, таскала черепа с мяскокомбината.

И надо же, как случается порой, – в диффузных завихрениях жизни вдруг сталкивает тебя с человеком, с кем вроде бы нет ничего общего, однако залипнешь на него непредвиденным образом, да еще и не однажды.

Например, в один из летних дней в Академгородке прогуливаемся мы по лесу в нашем семейном «приключенческом» составе: мы с сестрой Еленой, внучка Женя и собака Джерри. Сейчас направляемся к морю Обскому. Эта же дорожка ведет к электричке, почему нам и ясно, что тетка, которую нагоняем, тащится с кулями на станцию. Занссет пару сумок вперед, возвращается за оставленными. К тому же прихрамывает. Все так близко, так понятно, когда рук не хватает.

– Позвольте вам помочь? Собачку не бойтесь, она добрая, хоть и ротвейлер.

Подхватываем торбы, компания моя идет впереди, а я, приноравливаясь, ковыляю рядом с женщиной, чтобы не волновалась.

– Ах, право, неловко... Вы здесь живете, работаете?

– Работаю в университете.

– Как интересно. А я в нем училась.

– Когда?

– Давно уж... В шестидесятых. На химфаке.

Разглядываю даму повнимательнее. «Университет» звучит как пароль.



– Ну, не давнее меня. Я с пятьдесят девятого, самый первый набор, геофак. Могли и пересекаться...

Что-то вроде бы есть смутно знакомое. Пожалуй, была хорошенькой. Лицо правильное, только помятое сильно. Впрочем, есть такой возрастной эффект – одни лица старость делает рельефными, благородными, другие, невнятные, кажутся неопрятными. Да и бедность не красит. Задрипанный на ней костюм, сапоги не по сезону. Мне колет руку сломанный зонтик, неудобно торчащий из сумки, еще там какие-то нелепые шмутки...

– Да, знаю, конечно...

– Как интересно...

Она говорит, говорит, нанизывая имена преподавателей наших первых, моих однокурсников-химиков, тот руководил дипломом, та была рецензентом, этим сдавала кандидатский минимум... Беспроигрышный прием – перечень имен, словно набор признаков, не требующих подтверждения, определяет наш статус, среду обитания и соответствующий исторический период.

– Однако я тоже пойду на пляж, – ее веки, допрежде приспущенные вяло на серые скулы, взметываются, выпуская прицельный взгляд.

Я теряюсь... Не до такой же степени, скажет моя сестра. И тут, недалеко от станции, в ложбине, я вижу, отвернув глаза от спутницы... я вижу бивак бомжей, сушится на ветках тряпье, блистает спицами сломанный зонтик...

– Стойбище робинзонов крузо, – говорю я вслух, настигнутая смутной догадкой.

Тем временем мы уже взлазим на высокую платформу, Ленка решительно устраивает поклажу на скамейку:

– Всего доброго. Не стоит благодарности.

Я еще оглядываюсь – женщина, эдак вдруг приободрившись и эдак вдруг вихляясь, направляется напрямиком в ложбину.

– Ты сразу поняла? – спрашиваю сестру, и мигом вспоминается мне кособокое это приплясывание...

В общем-то, ничего особенного. В начале девяностых, как принято в Новосибирске, проходил ежегодный Фестиваль джаза. Только в тот раз заключительный концерт был вынесен в Городской парк. Воскресный жаркий день. На сцене с утра неперменный наш шоумен встречает и провожает джазовые оркестры, ансамбли, и снова встречает. Мы, страстные поклонники, рукоплещем, ревим, свистим в четыре пальца, приветствуя каждый пассаж. Постепенно сюда стягиваются праздно-гуляющие, с детьми, с колясками; заглядывает и остается народ с окрестных улиц. Тогда это считалось еще грандиозным событием в городе, что под открытым небом Сибири дуют в трубы «наши дорогие гости из далекой Америки». И не были тогда общепривычны бомжи, их редкий к концу советской власти асоциальный контингент называли просто нищими. Нищая тетка с сумками появляется из глубин парка, подходит вплотную к эстраде. Стоит. Долго. Глядит в лица музыкантов. Начинает притопывать в такт.

А жара во второй половине дня делается совсем нестерпимой. Публика смещается под тень деревьев. В общем, когда тетка уже пляшет вовсю, не выпуская



сумок из рук, перед опустевшими рядами она остается одна, на огромной арене вихляется ее комичная кособокая фигурка.

Смех обошел круг, раз, другой и захлебнулся в смешении раздражения, жалости, брезгливости, какого-то непонятого стыда и полупридушенного завистливого восторга. Чуткий наш ведущий отреагировал моментально:

– Танцуйте, друзья, танцуйте!

Не было ничего особенного в телодвижениях этой тетки, никакого нарочитого кривлянья. Мы точно так же бы попрыгивали в ритм, подергивались, имитируя несколько большую, чем на самом деле, раскованность, отчего и возникает в доморощенном дансинге шутливая веселость и доверительность. Молодежь, правда, пляшет samozабвеннее. И маэстро со сцены приглашает:

– Смелее, друзья, смелее! Наши замечательные музыканты стараются для вас!

Мы же словно приросли, прилипли, пригорели к краям сковороды, ни шевельнуться, ни дух перевести. И смотрим неотвязно, как она... В палящем зное негритянских звуков, одна на огромной площади, на выжженном пустыре, под острыми спицами солнца, предается какому-то сладострастному, языческому, первобытному обряду...

И надо же, вдруг я вспомнила ее теперь, даже как будто узнала. Я еще оглянулась. Ленка же продолжала путь, не повернув головы. Женька и Джерька уже бежали с крутого обрыва к морю.

– Ты сразу поняла?

– Почти.

На пляже сегодня народищу, пришлось поискать местечко. Денек чудесный. У нас уже несколько лет подряд летний эпицентр сдвинулся к августу, похоже на Сахалин и Приморье, верно-верно, морской климат образовался, все замечают. Молочная вода лежит в истоме и тут у берега не плещет, а льнет кипяченой пенкой. Вдаль плоская гладь уходит без единого возмущения, даже без бликов, уходит, растворяясь, в белое небо, взглядом ищешь границу, ведешь-ведешь – выше-выше – задрал голову над собой, Господи, летишь-плывешь в бесконечности... В общем, в эйфории мирового эфира, невесть с чего взявшейся.

Вдруг я начинаю хохотать, опять представив, как чинно мы вышагиваем по лесной дорожке, по тропе прошлого благоденствия, волоча нищенскую суму... Я-то ладно, а вот Ленка!

– Я теперь буду всем рассказывать, как наша чистоплюйка Леночка подтаскивала бомжихе вещички, – ржу я.

Ленка тоже немножко посмеялась и оборвалась:

– Ну, помогли – и хорошо, и ладно. Не нам судить. У них свой образ жизни, который мы не понимаем.

Действительно. Не понимаем и вести себя не знаем как. А жалость наша... – это гуманитарная жалость, ненастоящая, та же, что и к бездомным собакам, от нее только стыдно делается. Мне такое одичание людей кажется иногда детским, не потому лишь, что наблюдаешь примитивную, инфантильную «игру в дом» в песочнице за помойкой, но дыхнет вдруг естеством древнего детства рода человеческого. Да что говорить, – зов бродяжничества до сих



пор будоражит душу, стоит мне отойти на несколько шагов от дома, а уж оказаться в малознакомом районе города и вовсе – в полный рост распрямляется Первопроходец. Особенно на другом берегу Оби, в бывшем Кривощеково, я сразу начинаю играть в «Чужой город». Там даже запах иной, нежели на нашей стороне, в Центре. И поводы, приводящие туда, всегда нетривиальны.

В этот раз мне нужно разыскать Детский географический клуб, где будет заседать Географическое общество. Они составляют сборник, и я несу им статью об отце.

Поднимаюсь из метро, осматриваюсь, – многие годы здесь задавал ориентиры большой пустырь, ныне он застроен внушительными зданиями, и в разные концы разбегаются широкие проспекты второразрядно-столичного размаха. Между ними кварталы расчерчены хрущевками на манер «Черемушек». Во дворах – детские площадки, клумбы, кленовые бордюры, расцвеченные сейчас золотой осенью. Там-сям торчат тополя с отпиленными макушками, прямо из толстых стволов асфальтовой фактуры лезут гигантские листья, молодые, сытые, темно-зеленые. Из подъезда в подъезд перебегают бабы в домашних халатах, перекликаются, перебираются. По мере углубления в середину квартала деревенские мотивы усиливаются – сараюшки, бурьян, погреб. Там и размещается искомый детсад с вывеской Географического клуба. Там и размещаюсь я, между небом и землей, между городом и деревней, между времен. Сижу на лавочке, покуриваю, поглядываю, поджидаю, когда общество соберется.

Занятная тут посреди промышленного района оказалась особица. Сараюшки, похоже, сохранились еще кривошекинские. Их осеняют драные черемухи. Как всегда неожиданно, ни с того ни с сего шумно и тяжело вспархивают голуби. Пахнет помидорно-картофельной ботвой. Среди бурьяна на лысых буграх разлеглись собаки, греются на солнышке. На лысых буграх – открытые, видимо для проветривания, погребя, крышки откинута эдак фривольно. Меня разбирает смех: «норки нараспашку», как у Воннегута, разбирает смех, потому что вижу я бомжиху, которая хлопчет возле крайнего у помойки погребя, перетаскивая в него полезные находки. Потому что узнала я ее кособокую статью...

– Что, на зимние квартиры? – расположена я к благодушной беседе.

– Выследила? – ощерилась моя летняя случайная спутница, резко и уже знакомо зыркнула из-за прикрытия чумазой скулы.

Ба, да это ведь она «сидела в засаде» под забором на нашей улице в начале сентября, как же я не разглядела ее тогда...

– И зачем бы мне это было нужно? – приноравливаюсь я к беседе, устраиваюсь рядом на теплом бугорке, о-о, сто лет не сидела на земле посередь города.

– А в Центре у вас охотничьи угодыя?

– Ничего я не знаю и тебя вижу впервые. Интересное дело, расселась тут как у себя дома. Лучше бы бутылку принесла.

– Простите, не доперла, сейчас соображу.

Ага, зацепка есть. И чего это я вдруг? Но захотелось, просто неодолимо захотелось разговорить



тетку. Брать-то что? Водки неохота... В общем, когда я вернулась, с удовольствием отметила, что ассортимент выдержала верно: бутылка вермута, булка хлеба, плавленые сырки, ну и пара стаканчиков – не из горла же, в самом деле. И тетка знала, что вернусь: на крышке погребка лежал чемоданчик-балетка, как их называли в нашем студенчестве. Застеленный газеткой. Итак, игра началась.

Она открыла бутылку, аккуратно разлила вино, даже и жеманно преломила хлеб и, сделавшись пожилой женщиной с утомленно приспущенными веками, сказала:

– Спрашивайте...

– Извините, вопрос дурацкий, но очень интересует, зачем вы раскладывали бычьи головы у нас на улице? Это как в фильме «Покаяние»? Что-нибудь такое?..

– Я?.. – ее веки не поднялись, а как бы растянулись в стороны, построили две нахальные улыбочки. – Вы что-то путаете...

– Но я же узнала вас!

– Это вам кажется.

– Может, вы еще скажете, что и в Городке мы не встречались в августе?

– Как интересно. Ничего такого не припоминаю.

– Но как же! Вы уверяли, что учились в нашем университете, кучу имен называли из общего прошлого...

– Не может быть. У меня нет прошлого.

Она подлила в стаканчики, пригубила, поглядывая на меня своими жмуркими улыбками нераскрытых кошачьих глаз:

– Прошлого вообще никакого нет.

– Ну, это уж кому как хочется, – во мне выиграло некое превосходство автора, занятого как раз своим прекрасным прошедшим, – а только у каждого человека было детство, были родители, друзья, был свой дом, город...

Она сменила позу, угнездилась поудобнее, подперла щеку и начала вдруг слезливым голосом:

– Что ж с вами подслаешь? Тогда уж послушайте. Родилась я в Томске, в начале войны...

– Неужели? Знаете, я ведь тоже, – решила я подбодрить.

– В сорок четвертом году в Новосибирске открылся филиал Академии наук, моих родителей пригласили сюда на работу...

Я вытаращила глаза. Выходит, мы из общего детства?..

– Мать была химиком, отец биологом...

У меня отвисла челюсть. Ну-ка, ну-ка...

– Росла я счастливым ребенком. С любимой бабушкой. По утрам меня одевала домработница. Пока все не рухнуло. Однажды старшая сестра открыла мне страшную тайну – я чужая в семье, подкидыш...

Нет, так не бывает! Это ж Ленка дразнила меня в детстве подкидышем...

– И тогда поняла я, что нелюбима. Я стесалась длинными сиротскими ночами, но проклятие настигло всех. Названная сестра болела. Отец оставил нас. У матери случился инсульт...

Господи, что она такое говорит? Вроде бы это моя биография?.. Но как все извращено!..



– И все покатилося, покатилося под откос. В восьмом классе меня выгнали из школы, ни за что, и некому было заступиться. Я поняла, что надо скорее самой становиться на ноги. Пошла в школу с трудовым воспитанием. Работала токарем. Попала в станок – нас заставляли работать ночами, чудом не погибла...

Какое-то наваждение! Почему я молчу, как парализованная? Откуда она все это взяла? Где-то рядом жила? Вместе учились, что ли? Но я ее совершенно не помню! Все же не так!

– В студенчестве наконец решилась, убежала из дома. Впрочем, убежала с возлюбленным...

Бред какой-то. Может, рукопись мою читала? Но ведь все навыворот. Прямо, психологам флаг в руки. Надо прервать. Только бы не сорваться в истерику. Надо как-то достойно. А она говорит, говорит, нанизывает...

– Был роман с психиатром. Ах, не вздрагивайте, с нормальным профессором. Готова была для него на все! Но кто я такая? Пришлось скрыться, уехать. Нашла пристанище у добрых людей в Москве.

Только не закричать. Она же глумится. Она же именно ждет, что заору. Спокойно надо, спокойно:

– Достаточно. У вас очень богатое прошлое. Напрасно вы говорили, что прошлого нет.

– Как интересно! Накушалась, наконец? Нет никакого прошлого. И не ...зди. А это легенда для дур вроде тебя. Еще мало? Могу продолжить...

Ее глазки, зло чиркнув по мне, как бы всю меня перечеркнув, снова заузились в кошачью мордочку, но я уже бежала без оглядки, путаясь в чужих дворах, не замечая, что сумерки, обдав все нереальным оран-

жевым подсветом, схлопнулись тьмой, втолкнув меня в метро, еще пнули в спину вертлявой дверью....

Меня всю трясло. Что же это случилось со мной такое? Сама нарвалась. Бред, ей-богу, совершеннейший бред. Так не бывает, не может быть. Ну ладно, допустим, она откуда-то про меня все знает. Может, действительно, подобрала мои черновики в мусорке?.. Вот уж точно, я словно сама в мусорном ящике повалялась. Как же она угадала, что я –это я? Да и зачем?.. Но дело-то не в том. Даже сознаться боязно... Оно откуда-то взялось... неотвязное возникло тошнотворное ощущение, что я повстречала саму себя. Будто я иду по какому-то лабиринту и, раздвигаясь, тычусь в смежные отсеки, а потом... потом «они» сталкиваются, становясь карикатурами друг на друга... Ведь почему я сидела перед ней парализованная? Перед юродивой... А в том и фокус, что были мы... под Божьим взором... неразличимы были, как голые в бане. Причем тут факты биографии?.. Искажение было не более того, когда, глядя на свою фотографию, подловившую неудачный ракурс, ужасешься – неужели я действительно такова?

Обратная дорога кажется долгой в этот раз. Поезд пересекает Обь. В окошки врывается вечерний пейзаж. Мерцают бакены на реке, светится автомобильный мост, и виден город в россыпи огней, словно все это – земное отражение небесного лабиринта.

ЧАСТНЫЙ УРОК

Две девочки сидят за большим обеденным столом и старательно макают ручки со стальными



перышками «лягушка» в старинную чернильницу. Выводят в тетрадках: a table, a sofa, a chair...

Если заглянуть под столешницу, куда одна из них как раз заглядывает, потому что ее незанятая рука не может никак нащупать прилепленную жвачку, потому что вторая девочка, вернее, первая – уже засовывает комочек себе в рот и косит карим глазом, – кто поспел, тот и съел.

Если заглянуть, то разместились там в ряд четыре коленки: на одной дырка, две заштопаны, не шибко ровно, наверно, хозяйка сама и починяла, а дальше свешиваются со стульев тощие чулки в резинку, как лапшички, не достигая пола. Та, что с дыркой, пихает заштопанную:

- Дай половинку.
- Girls! Stop talking!

Рожицы у девочек смысленные. Заниматься английским им нравится. Но не целый же час сидеть примерно! Они еще не могут заглянуть в конец жизни, когда это раннее усердие принесет неожиданные плоды. Одна станет переводить монографии с русского, другая вдруг делается писательницей.

Учительница девочкам тоже нравится. Это старая седая дама с настоящим английским именем – Эмма Эдуардовна. Со взбитой седой прической. С высокой верхней губой, которую она поднимает до корней зубов, артикулируя слова педагогическим голосом. Ученицы обмакивают свои перья и пишут диктант, даже не подглядывая друг у друга.

И вдруг ручки застыли одновременно. Девочки наскоро сверились взглядами. Потому что

подумали об одном и том же: «А что, если чернильницу, будто нечаянно, опрокинуть на высокий седой стог?..»

– Интересно, сразу будет кричать, или сначала побежит отмываться? – шепчет одна, продолжая выписывать: a head...

– Кричать не будет, она ж настоящая леди, – вторая, закончив слово, в ожидании следующего поднимает невинные глаза, такие же карие, как у подружки.

Легенду про свою учительницу они знают давно. После Первой мировой войны ее привез в Россию лихой поручик, да вскорости и бросил с младенцем на руках. Такой вот трофеем достался девочкам.

Жвачка, которую обе прячут за щекой, поделив пополам, тоже заслуживает внимания. Это, можно сказать, дар от союзников во Второй мировой войне. Когда стало можно получать от них помощь, американский дядя одной из девочек прислал сахар, масло, крупу и неведомую советским детям жвачку.

А у другой девочки – из интересного – только чернильница, похожая на древнюю крепость, но в старину войнам почему-то не давали порядковых номеров, вот никто и не знает, откуда она взялась.

МОРКОВКА

Бабушка солила капусту. Тонко-тонко шинковала блестящим ножиком. Мила сидела на табуретке, упершись подбородком в край стола. Когда близко подлетали травяные лапшички, брала пальчиками и ела. В синей миске ждали своей очереди начищенные



морковки. Оранжевые, с желтой серединкой. Если серединку умело обгрызть, получается длинноносое полешко для Буратино. Мила очень хотела стащить морковку. Большую и целую. Но она знала, что хорошие девочки не воруют.

Бабушка на минутку отвернулась за новым вилок. Мила быстренько превратилась в собачку и сцапала морковку. Вот беда, второпях она превратилась не в ту собачку, которая любит морковку.

– Мила, хочешь морковку? Мила, да куда ж ты подевалась?

ПАРУС МАЙОР

Авоська за окном – добрый знак, понятный для всех заинтересованных птиц. Большая синица цепко держится за нити сетки, расклеывает пакет. В пакете округлое, жирное, смерзшееся. Ветер задувает под подол перьев, ставит их парусом. Большая синица не знает, что имя ее *Parus major*. Да и зачем ей?

Форточка, откуда свисает авоська, прикрыта неплотно. Сквозь щель сочится тепло и предчувствие сладкого безумья. Можно бы уже протиснуться и улькнуть в клаустомир, покружить там в тесном пространстве, потом вылететь ни с чем. Комната пуста. Этого мало, – нужен соучастник, хозяин помещения. Кем он окажется?

Известно ведь, что люди любят делиться на две категории. Одним, например, лучше журавль в небе, другим – синица в руках. Только ты ее сначала поймай! Журавлю это все – безразлично. Он высоко в небе. А синица готова к взаимодействию.

– Твинь, ци-ци-ци...

Стоит подождать, и вот оно! В комнату заходит старая дама. Миг, и Большая синица – внутри, пикирует на седой узел. Взмывает к потолку, носится кругами, бьется в стекло, в стены, соскальзывает на пол за шкафом в пыль, широко разевает клюв. Со шкафа сыплются иссохшие реснички бессмертника, ваза покатывается на боку, делает керамическое:

– Ток-клак...

Дама распахивает форточку, машет руками:

– Кыш-кыш!

Синица слепо мечется, рассекает жилую плоть комнаты, из конца в конец, из угла в угол, ударяется в окно, чиркает коготками о стекло, хватается ртом воздух, ...все ближе, ближе к жесткому потоку сквозняка, садится на раму.

– Циррерреререре...

– По мою душу прилетала, – шепчет дама.

Но нет, вовсе не то. Просто редко очень попадается человек... как бы это сказать?.. Ничего в нем заметно особенного. Обыкновенный. Может быть, какой-нибудь инженер. Жил один у нас в городе. Ходил по улицам. Сначала в школу, потом в институт, на работу, в гости к друзьям, в театр. Дочку возил в коляске. А только подлетали к нему птицы, садились на плечо, на протянутую руку. И все, больше ничего. Но у каждой синицы есть мечта встретить такого человека.

АНТРЕПРИЗА

Старые книги могут выронить иногда несколько страниц в нашу судьбу. Они уже сами по себе сен-



тиментальны, эти желтые листки с хрупкими краями. Их истории зачитаны до дыр, до слез, и конец давно известен...

А вот поди ж ты!

Настоящий герой этого рассказа, конечно, Вадим Иванович Суховерхов, руководитель клуба «Старая пластинка». Он – Автор, от лица которого история произошла. А мы – публика в Большом зале Филармонии. Предназначенный нам концерт посвящен Старому Новому году, что уже располагает к иронии и к ретро:

– Да?!.. Да?!.. – акцентирует Вадим Иваныч со сцены. Он вовсе не ищет доверительности, просто легкий будораж, прицелкивание каблуков. Мы ведь и так – весь полнехонький зал – его приятели и поклонницы, ловим каждое слово. По-моему, это высший уровень актерского мастерства – вести беседу с подмостков, как бы ничего не изображая. Даже когда он поет «оперным» голосом, или «цыганским», или «вертинским», смещая серьез до условности, – это беседа. Ведет «соло на трубе» без всякой дудки – беседа. Его конферанс – изысканная беседа. Музыканты любят с ним выступать, и нам, вплоть до галерки, видно – они тоже ловят каждый его жест.

И вот что главное – называя его фамильярно Вадей, зная насквозь бытовые его чудачества, угадывая с намек интонации его шуток, а многие анекдоты они вообще сочиняют с Вовой у нас дома... – на сцене мы встречаем Артиста.

Приятельство оседает в глубинах души, неурядицы остаются за кулисами. ...

К рампе выходит Вадим Суховерхов!
Аплодисменты.

Итак, тринадцатое января. Концерт в преддверии православного нового года. Вадим подает очередной номер, высоко вскинув, как ударом хлыста, неизвестное имя.

– Встречайте!

Зал рукоплещет. Мы – благосклонная публика.

На эстраде появляется российский менестрель с баяном. Забавно, необычно, что в народном костюме. Сейчас заголасит!..

Не сразу стало понятно, что он запел, а как бывает, зазвучит внутри что-то такое щемяще знакомое, и пробуешь голосом, чтобы получше вслушаться, влиться...

В общем, он спел две песни, коротко поклонился и ушел.

А мы остались «в своем состоянии», от растерянности даже небурно похлопали. Шпрехштальмейстер где-то там отвлекся в суетах, не встретил, чтоб вернуть, и уж потом вывел заново:

– Вы что же так скоро опустили?

И мы очнулись, зашептались:

– Как, как он его назвал?.. Евгений Иванович?..

– Ну, тихо, дайте послушать...

И снова, словно эхо по холмам, возникновение песни. Он поет костромские напевы, плачи, воронежские, курские... Чуть трогает лады своей гармоникой. Потом вовсе ее отставляет, сомкнутые руки близко к лицу, лицо непроницаемо, глаза прикрыты, рот отверст, льется, вольно льется голосовой поток, снизу его ласково поддерживает подбородок...



Никакого надрыва, выкриканий, наигрыша. Его не хочется назвать Лелем, несмотря на костюм с нелепой серебряной каймой. Голос высок, но не слащав, и вообще, он скорее показывает, чем исполняет. Хотя берedit, берedit какие-то древние, сокровенные слезы... Несколько слов о себе, – вот ходит, собирает песни, записывает... здесь проездом... пожалуй, и все.

После концерта фуршет. Артисты расслабляются, ну и кое-кто из приближенных, в том числе и мы с Вовой. Курим в сторонке. Подходит Евгений. Конечно, вопросы.

Откуда такой? Костромич? А сейчас двигаетесь от Хабаровска?..

Да, служил там. Окончил Гнесинку. Преподавал. Побывал с ансамблем в Японии, Китае, Америке.

И так вот ходите, собираете?.. На дорогах не обижают?..

Бог миловал. Если что, пою. Люди же понимают.

И скоро я замечаю, курильщиков целая компания набралась, и оказывается, это уже я рассказываю о своих бродяжествах, о том, как люди любопытны к путникам-странникам, зазывают их к себе, кормят, жадно выслушивают: а вдруг с ними правда?.. И делются охотно всем, что сами знают, – вот пойдут, понесут, другим передадут... Ну, понятно, и легенды... Как-то раз на базарной площади в Киеве повстречались нам цыгане, что водили за собой, как медведя, слепого певца... и так далее.

Евгений кивает, соглашается, он достаточно вежлив.

Он уже в нормальном светском костюме, за столом почти не сидит, с удовольствием поет по первой просьбе, играет на фортепиано, романсы, пробует джаз, импровизирует. Однако, он явно имел успех. Это надо ж, бросить все и пойти собирать!.. Что? Уговаривали остаться в Америке? Ну, конечно, как же нам без России!..

Евгения целуют женщины, обнимают чиновные служащие Филармонии, спонсоры выражают восхищение. А это можете спеть?.. Bravo! А вот это?..

Вова пишет на бумажных тарелках частушки-экспромт, Евгений берет с лету.

– Ничего сложного. Только, простите уж, скажу, ладно? Частушка не терпит мудреной рифмы. У всякого жанра есть свой закон.

Они затевают игру. Вова дает первые строчки, Женя завершает. Всеобщая эйфория признания.

И видно, видно, как Женя счастлив, как не хочется ему расставаться со своим праздником. А уже прибирают стол, уже стягивают к краю остатки питья, к краю, где сидит Вадим Суховерхов, усталый, безвольно отмахивается от назойливости подпивших поклонниц:

– Полноте, Мария Аркадьевна, помилосердствуйте...

– Ах, вот вы какой высокомерный! А с эстрады кажетесь совсем иным!

Торжество свертывается, и вот что еще видно, что Евгению некуда будет деваться в столь поздний час. Я шепчу Вова:

– Давай, позовем его к нам...

– Спасибо, но неудобно как-то... Я могу на вокзале до утра...

– Дружище, – Вадим приобнимает дебютанта, – и как вы себе это представляете? Вот мы с вами, с Владимиром Федоровичем, с Татьяной Александровной, с Людмилой Дмитриевной!.. На вокзале?.. будем встречать Новый год?!..

За столом, в декорациях уже нашей кухни, достаточно просторной, чтобы вступление могло быть даже и чопорным: тарелочки, салфеточки, фужеры, мы «во фраках» навеличиваем друг друга, наш сын Мишка, то есть Михаил Владимирович, так и застыл с узнающими глазами – вот это да! Ведь только что на концерте, а теперь прямо к нам в дом упала эстрадная звезда! В середину стола я водружаю свечку, и мы спохватываемся, что как раз находимся в моменте перехода в следующий год. Один сохранившийся «бенгальский огонь» вручаем герою дня. Боже, как нас красят детские атрибуты! Евгений с этой волшебной палочкой в руке, в сиянии мгновенной россыпи, он же сам себе кажется мальчиком, царевичем, вне возраста, вне земных забот, которого, наконец, разглядели, узнали...

Пел ли он когда-нибудь лучше? Впрочем, и мы ведь развежились, разомлели, с нами можно было делать, что вздумается. Мишка, необычайно для себя, разговорился, все поднимал тосты. А Женя не чаял поверить – разве таким молодым-современным может быть интересно?..

Честно сказать, я не очень-то люблю фольклор, но сейчас, вослед за Женей, я с готовностью шагала от села к селу, стояла там где-нибудь на высоком бере-

гу «по-над речкой быстрой», тосковала по неведомой деревенской «родной сторонешкой», над которой звезды густы-часты, а в окнах горят горькие огни, дорога же уводит дальше по холмам, по льняной траве уходит суховатая фигура с баяном в рюкзаке... В общем, еще немного и, казалось, я вполне созрела идти собирать голоса земли...

Однако моим друзьям хорошо известна склонность моя к очарованности, да и Вадим Иваныч – режиссер, он никому не позволит произвольно отлучиться, сегодня он «ведет нашу новогоднюю ночь».

Вот они поют романсы на три голоса, у Людмилы Дмитриевны, у Людочки, тоже незаурядные данные.

– Вадим, позвольте, я все же скажу? Ваша гитара не строит, – наступает Женя на голос своей почтительности.

Вадя устал, даже изможден, – еще бы, три часа кувыряться на сцене, как он это называет, а сколько закулисных хлопот!.. В общем, он порывается еще повыкрикивать, но спускает:

– Евгений Иваныч, старикашка, пой, не умолкай!

К утру репертуар дал крен в «попсу». Мы с Людочкой переглянулись: оно, конечно... Однако Женя чутко уловил повисший было невесторг.

– Ладно, ладно, что нескладно. Понравиться хотел. Вот лучше другую...

И все-таки стало просвечивать, что ему часто приходится петь на потребу, не удерживает стиль. Да и мы довольно захмелели.

Ну, уж когда пошел Есенин, мать-старушка в ветхом шушуне... – ой, нет! Ведь я сама была с детства заражена его стихами. Но песнопение, мне кажется,



фальшивит, берет не ту ноту, упрощает звуковую ткань до нитья, и всяк еще смещает на себя, бьет на жалость, эдакий он забубенный – «ах, и сам я нынче...»

Просвечивать, просматриваться стал иной рисунок, даже во внешнем облике. Нет, никуда не делись благонравные манеры, это своеобразное изящество, которое заключено в самом слове «менестрель»... Проступил, обозначился уже знакомый нам рисунок «музыканта из подземного перехода». На прошлый концерт Вадим приглашал двух виртуозных гитаристов, на предыдущий – скрипача, ...

Мне сразу представилось, как Вадим Иванович эдак к полудню, приняв ванну и размеренно позавтракав, выходит из дома на смежную нашу улицу, и как бы пробуя тротуар подагрическими ногами, неспешно отправляется по своим делам, может быть, и бутылки сдавать – в пластиковой авоське не видно. Я не успеваю его окликнуть, сейчас он завернет за угол, эта его объемистая фигура в кургузом пальто, «надетом прямо на рукава, шапчо-онка теплая на вате, чтоб не зазябла голова». Боже правый! До боли родная фигура.

Он спускается в переход, и слышен там профессионально-чистый голос...

«Вы же знаете, я не люблю самодеятельности!»
(В. И.)

...голос, усиленный подземными сводами до концертного звучания.

«Я же король фонограммы!» (В. И.)

Он же ко всему окружающему испытывает острый интерес и готовность отрежиссировать ситуацию, это ведь только кажется, что неповоротлив.

– Вы меня видите? – обращается он к миниатюрному певцу с баяном, в темных очках и кожанке, стоявшей когда-то дороже всего Вадиного гардероба.

– Вижу... А очки, потому что стыдно.

Вадим делает паузу, вовсе не для того, чтобы поразмышлять, – он уже все услышал и все решил, долгую паузу... – чтобы тот пережил и проглотил свои эмоции, изнемог от нетерпения, и..! – с ним уже можно работать.

Я представляю себе, как Евгений, сняв очки, увидел перед собой Барина в бобровой шубе (как Суховерхову и надлежало быть), с мансрами старомодными, – в них будто узнаешь Шалапина или, например, Куприна, с голосом обширного современного диапазона...

Ничуть не сомневаюсь, что на обратном пути, сдавши бутылки, прикупив хлеба, пива, может быть, молока, Вадя «взял извозчика», и они за компактный рейс в два квартала успели снабдить друг друга парой тройкой анекдотов и житейских «опытов».

Итак, на нашей кухне. Один с раздрызганной домашней гитарой, второй с концертным баяном, «супротив-наискосок», сидят автор и его герой. Я тоже обычно стараюсь занять место визави к Вадиму Иванычу. Интересно, видит ли Евгений Иваныч то же, что я давно разглядела, но каждый раз ожидаю «Представленья».

Вадим весь – театр. Однако под хмельное утро было бы слишком требовать пластики от осевшего грузно тела. Вот руки – да, их пухлая вялость вполне держит действие «Капризы барского застолья»: крутит перечную мельницу, сыплет соль с ножа. Или

кисть зависла на взлете, если в бокал еще не удосужились налить, ... и так далее.

Но самый спектакль на этих кухонных подмостках – голова. Театр Сатиры – СТС, когда-то Студенческий, потом Самодеятельный, теперь просто Суховерхов – Театр Сатиры.

Актеры, то есть черты, расставлены выверенно на массиве лица. Занавес условен, как принято в его концертах, обозначен маской очков. Крупные глаза за отблеском тяжелых стекол не сразу показывают свой взгляд. Высокий лоб вздымается лысым куполом, по вискам типизирован кудрями, вальяжные щеки, нос прямой, неопределенность длинной линии рта. И мигом понимаешь, какая динамика заключена в этой линии. Вот он еще не заговорил, только ужимка приподняла кончики, зафиксировала намерение, соответствующий наклон головы, и вы получаете настрой, словно он дал зрительную ноту вашему инструменту, ваш слух на изготовке!.. Ан прозвучать может нечто вовсе неожиданное.

– Смешно, – констатирует режиссер.

Его разговорный голос отчетлив, рот артикулирует до аз-бук-венного расклада, певческий голос располагается точно в гортани.

А бывает, губы сложатся так мягко... – да, он ностальгичен, сентиментален, почему бы нет? И вот уже неуловимо утончились... – он ироничен, да, в любой момент. И щеки сразу гуттаперчивы, играют мячиками скул. Не часто, в эпизодах, как характерный актер, берет на себя внимание подбородок, рассчитанно обособливаясь на авансцене второго.

– Я не слишком интеллигентен для вас?..

Вот повернулся в профиль. О, это репетиция... Конечно, «Репетиция оркестра»! И Феллини тоже. Со множеством противоречий и страстей. Нос с горбинкой, высокомерие заметно, резко вскидывается или кивает в такт, дирижирует. И гамма ямочек-ужимок по клавиатуре мускулов щеки.

Вид сзади – тоже маска. Режиссера. Из венца взлохмаченных кудрей лысина лаконично завершена острым яйцом. Вдруг обернулся, снял очки... Боже! – близоруко, безоружно смотрят на меня ярко-карие глаза Натальи Петровны, глаза его матери, очень живые в орбитах фасонного края «ретро», – так они и остановились на фотографии в осиротевшей Вадимовой квартире.

Впрочем, Вадима Ивановича уже пора отпускать домой. Это длительная процедура, состоящая из нескольких актов, с переменной костюмов и массой номеров, трюков, курьезов, уговоров, ритуальных жестов, канители, куража, крика, смеха, ...

– Дружище, никогда не забывай Вадима Ивановича!

Я представляю, как Людочка его поведет... Их парный рисунок, подретушированный утренними сумерками...

Занавес.

Ну а мы, оставшиеся в зале?..

Словно получили повод для большей откровенности. Слово за слово, вокруг да около... Я решила позволить себе бесшабашно рассказать, – должна же наступить развязка:

– Это было в Москве. Спускаюсь в метро. Поздно, народу почти нет. Далеко в переходе разносится:

«Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо...» – один на балалайке, другой на ложках наяривают от души. Так мне весело-забавно стало, опустила им в банку десятку и показала большой палец, дескать, – «Во!» Они малахольно отделились от стены и тронулись за мной, наигрывая. Ну и я пошла впереди с приплясом. Так спустились до платформы. Помахала им из вагона, они развернулись и подались обратно.

Женя напрягся.

– Оставь, старикашка, – Вова продолжил Вадины интонации, и добавил уже серьезно: – Видишь, мы перед тобой открыты. А дальнейшее общение зависит от тебя.

Сполох обиды в глазах. У нас же в Сибири не принято спрашивать. И все тут могло сразу развалиться.

– Знаешь, у меня небольшой опыт бродяги, уже говорила, но если выбрал себе дорогу, обид быть не может. Тебе никто ничего не должен, как и ты никому.

– Ну ладно. Ладно, все нескладно. Какой я бродяга! Мне бы только на сцену! Конечно, надо же кому-то рассказать. В общем, жена... Все бросил, уехал... Стучался в каждую филармонию... Добрался до Новосибирска... Кому я нужен?..

Я смотрю ему не в глаза, пусть прольется, эти гримаски мучают лицо, когда человек еще не изжил потерь и унижения. А падение в подземелье – что ж? Оно так буквально, что почти понарошку. Ведь талант твой при тебе. Надо будет ему потом сказать. Эти мне «дети подземелья». Конечно же, он – «бродячий музыкант». Стоишь, а толпа дви-

жется, течет, гул поездов... И как на больших дорогах, ожидаешь чуда...

– ...Около меня остановился и говорит: «Вы меня видите?» Я опешил, но сразу снял очки, будто подчинился. А он молчит, молчит. Такой вроде не должен прогнать. Молчит... Вдруг протянул руку: «Вадим Суховерхов. Есть возможность завтра выступить на концерте. Приходите вечером в филармонию поговорить, у меня будет репетиция».

Позднее Вадим пересказывал:

«Приходит вечером. Без баяна.

– ...?

– Вы же пригласили поговорить.

...Действительно, с какой стати? Он же профессионал. Довольно разговора. Впрочем, я не сомневался, что будет успех. Вот Эмский проиграл мне накануне весь свой репертуар, а на концерт не явился, мать твою, запил. Потом приходил извиняться».

Женя не стал у нас отсыпаться, поехал к себе в пригород, где снимает комнату. Оставил баян и кофр с костюмами:

– Завтра забсру.

День, два, неделя... в общем, как настоящий артист, он сделал о-очень большую паузу. Мы уж и не знали, что подумать. Хотя догадаться, на самом деле, было несложно. Ну а какой эпилог мог получиться у этой «святочной» истории? Он давно описан в классической литературе: разочарование – на российский манер, или «нетерпение сердца» – на западный.

Да, еще ведь должен был появиться эпизодический герой. Бобровая шуба, которую Автор сбрасывает со своего плеча на спину подопечного. Я сброси-

ла менестрелю с нашего семейного плеча полушубок, который здорово выручал меня, Вову, Мишу, – все же здесь не Приморский край.

Скоро месяц, как мы с Женей почти каждый день распиваем чай на нашей кухне. Беседуем. Иногда он привозит настоящего молока из своего пригорода. Или добавляет к общей трапезе кусочек сыра на заработанные в переходе денежки.

Вот на этом, не заглядывая в будущее, и оставим точку.

ПОД ГОРЯЧИМ ХВОЙНЫМ НЕБОМ

Мой легкий безвозрастный силуэт на асфальте нагоняет голенастых мальчишек. Они словно тальниковые прутья вырастают из длинных плоскостопых башмаков, что наступают на мою тень.

Мы идем к морю. По Морскому проспекту. Который для ребят столь же непреложен, как само наше пресное море, сосны вдоль улиц, Академгородок, двадцать первый век.

А я-то помню, когда был здесь сплошной лес, потом просека, бетонная голубая дорога, саженцы по обе стороны. Мы вставляли затылок в затылок, и сосенки были точно в рост нашему поколению шестидесятников – энтузиастов-строителей Городка и первых студентов университета. Задираю голову – сосновые макушки теперь сильно превосходят крыши зданий, отмеряют на вертикали неба высоту нашей зрелости.

Водохранилище, это игрушечное море, было подарено нам очень вовремя, к началу самостоятель-

ного пути, – оно раскинулось от самого порога возможностью дальнестранствия.

В конце Морского мы с парнишками перебегаем шоссе, минуем лесок, небольшой, но полный запахов и воспоминаний. Еще дальше надо пересечь железную дорогу. Стоп! Сейчас по рельсам громыкает нескончаемый товарняк, клацает четками вагонов.

– Один, два, три, ... , десять – мигом включается счетный инстинкт – четыре, пять, ..., двадцать, – камешками отскакивают мальчишечьи голоса – восемь, девять, сорок, ..., пятьдесят, – ведь боишься сбиться, будто можешь пропустить знак судьбы – шестьдесят, один, два, три, четыре, – получился у всех одинаковый результат.

Хвост состава напоследок хлестнул звуком лопнувшей струны, вильнул, выправился, унося вдаль пару незрячих огоньков.

– Фу, теперь удачи не жди, – взял с места петушиный фальцет, перекрикивая по инерции обвалившуюся тишину, – будто баба протарахтела порожними ведрами.

– Ну уж, не скажи. Шестьдесят четыре! Магическое число! Прямо какой-то китайский И-цзин. Или другой философский ряд. Представляешь, сколько объемов пустоты!

Я разглядела получше нечаянных спутников. Господи, как похожи на нас... Молодые люди, курса эдак второго-третьего. Обычный студенческий треп, выпендрож, необязательная расточительность жестов, и над всей компанией – коллективная аура непрестанного хохота.

Самый длинный напомнил старшего сына моего. В таком примерно возрасте он впервые уехал из дома. Те же брови, словно полет стрижа, а под ними ничего еще определенного, хотя все вместе – сплошное вдохновение.

Когда-то мы подкатывали сюда с детской коляской. Пережидали поезд. Или позднее, держась за руки, бежали по тропинке с обрыва. Мы любили с сыном проводить время на берегу. Строили песочные замки, пускали кораблик, вырезанный из сосновой коры, разводили костер. Плавали по-собачьи. Я и не знала, что это не считается умением плавать.

В десять лет сын стал ходить на яхте, на двухместной скорлупке под названием «Оптимист». У них в клубе строгое было правило – не покидать судно, если оно утонет. Следовало держаться за кончик мачты, чтобы не потерять корабль в открытом море. Сын стойко держался всякий раз. Хорошо, залив неглубок. Если же пучина скрывала «соломинку», болтался на месте крушения. А напарник его почему-то всегда сбегал.

– Я его отпустил, чтоб не замерз, – докладывал сын прибывшему на спасательном катере тренеру, – ведь я рулевой.

Через много лет признался мне:

– Так я бы и не доплыл до берега.

Потом стал настоящим морским волком. Покидая дом, прихватил на счастье мои детские сигнальные флажки – когда-то я тоже мечтала быть капитаном дальнего плавания. Ходил на «Витязе». Участвовал в кругосветном путешествии. Сейчас плавает где-то один. Нет, не из спортивных амби-

ций. Сделал парусник и выполняет для иностранных фирм частные исследования. Сообщает о себе редко. Недавно сказал:

– Если не вернусь, не жди. Знаешь, почему мореходы придумали Летучего Голландца? Не только лишь затем, что не хватает порой собственных приключений, а «встретил», и вроде приобщился к чужой трагедии. И не только страх это смертного человека перед океаном, где можно потеряться навсегда. Но есть внутренняя сторона страха – неутолимая и дерзкая мечта пуститься однажды в странствие, не имеющее причала.

Ничего себе, – не жди... Но сама я думаю, пожалуй, это оседлые люди выдумали Вечных Скитальцев. Глядя, вот как и я сейчас, в неочерченные дали. Туда устремляются причудливые фантазии. И уж они-то не возвращаются назад. Может, проступают иногда на губах стихами.

Я плыву в пресном море, пахнущем песком и горячей сосновой хвоей, и вялым терпким тальником. По солнечной блескучей дорожке плыву без оглядки. Загребая по-собачьи, как научили когда-то в пионерлагере.

Младший мой сын родился с очень смешными глазами. Они разъезжались на гуттаперчевой мордахе, жили порознь, разносторонне привыкали к окружающим предметам. Когда настало время, сосредоточились под стрижинной скобкой бровей. Мальчик никогда не плакал от боли. Поэтому плакала я.

Вот они носятся во дворе, а мне виден в окошко их футбольный полигон, где сын бьется за свою команду, как на поле боя. Отдается весь без остатка. Слава Богу, голова цела, – мажу зеленкой коленки.



Вот они с другом поехали в летний лагерь. Друг там сразу прилепился к парнишке-вожаку.

– А ты как же?

– А я решил, пусть лучше буду третьим-лишним, одному совсем плохо.

Из лагеря вернулись, парнишка не куда-нибудь, но в наш дом привел за собой ватагу приятелей.

Вот они бегают в спортивный клуб на теннис. Мой – самый маленький. Но на соревнования берут. Приносит грамоту – «За волю к победе».

– Это как?

– Ну, понимаешь, сначала я, конечно, думаю, что выиграю. Потом стараюсь не проиграть. Проиграть с небольшим разрывом. Стараюсь, наконец, играть красиво каждый мяч.

В его комнате вся дверь оклеена грамотами. Да вдруг стал бурно расти, и будто кожа сделалась мало-вата. Ходит, вытягивая шею, как верблюжонок, долгоногий в огромных плоскостопых башмаках. Пришлось оставить спорт.

Вот мы на университетской базе отдыха. В первый день еще совсем чужие. Как тут у них принято?.. С общей кухни пахнет компотом из сухофруктов. Пахнет горячим небом и хвойными струями. Сыровато пахнет крапивой, снытью, зарослями малиника, что сразу за фанерными домиками у изгороди. Заедают комары.словно вспоминаю, вижу, – соседи наши гоняют сизый дым, размахивая кадилами из консервных банок. Сейчас они направляются в столовую. А по дорожке, чуть в сторону, – беленый известью скворечник на одно очко. Кто-нибудь внутри, другой снаружи докрикивает разговор. Рядом, воз-

ле длинного умывальника дурачатся взрослые дети, брызгаются из многочисленных сосков. Мы с моим долговязым студентом переглядываемся счастливо:

– Надо же, очутились вместе в пионерском лагере.

И что еще здорово – отметили оба – большие железные ворота на въезде прикрыты неплотно, в любой момент, хочешь, выходи. Такой вольности никогда прежде в лагерях не бывало.

Вечером мы развели костерок на берегу. Не хуже других и не лучше. Не знаю почему, но пока я ходила в домик за куртками, все стянулись к нашему очагу. Хохотали, пели, сын мой оказался в самом центре кутерьмы. Хотя только его-то голоса и не слышно. Хотя это в его глазах отблеск веселья преломляется откровенной влюбленностью.

Он вообще немногословен, он вниматель. Не зря же друзья просиживают у него ночи напролет. Да нет, он не плечо и не жилетка. Сидит напротив, и весь – твой, без остатка. Это ж ясно, чтобы разобраться в себе, людям важно услышать собственное эхо. Считать его с лица напротив. И довольно нескольких всего ответных слов, чтобы не потерять чувство юмора.

Я развожу на берегу непрременный костер. Собираю сухие ветки и шишки, долетевшие сюда с обрыва. Там, наверху, напряженно скрючились когти деревьев, уцепились за край. Ниже крутизна неприступно топорщится шиповником и мелкой акацией.

Чуть дым возбудил воздух, к огню подобрались мои юные незнакомцы. Не сама ли сигнал подала?.. Это ж не тайна, что пожилые люди хотят быть приятелями своих детей. И ребята меня признали. Бол-



тают, смеются. Они-то поосновательнее подтаскивают дровишки. Возле нас оседают новые компании. Пожалуй, сделалось плотно на одном пяточке, тесно. Пора мне и честь знать.

Поднимаюсь по торной тропе, стою еще долго на песочном утесе. Разглядываю сияющие паруса в настоящей морской синеве, узкую косу, что вытянулась на четверть горизонта, редкие сосны на ней – карандашная штриховка, обесцвеченная солнцем. Смотрю вниз, на дымный вихор костра.

В общем-то, в эти простые гаммы вполне укладывается судьба. Надо сказать, сентиментальная моя душа, не отпуская ни на шаг, не позволяет мне попасть в очень уж большую беду. Подумаешь, пролетели шестьдесят четыре вагона, груженные до отказа событиями! Не так и далеко умчались они.

Под ноги ко мне из шиповниковых зарослей выныривает смешное чумазое существо. Эдакая малолетняя Маугли.

– Не боишься свалиться с кручи?

– Да ты что! Там же...

И осеклась. И длинную секунду проверяют меня глазищи из-под острокрылых бровей... Господи, глядят прямиком из моего детства.

– А это видела?!..

Развернула кулак. В середине круглой ладошки улитка. Глаза же испытывают, стоит ли до конца выдавать секрет.

– Классная находка! – говорю. Допускаю завистливую ноту, и восхищенную, и недоверчивую.

– Я знаю, где они водятся! Хочешь, покажу? У меня уже восемь штук!

МЕЖДУГОРОДНИЙ РАЗГОВОР

- Алло.
- ...
- Алло-алло, вас не слышно ...
- Здравствуйте... То есть здравствуй... Это я...
- Я узнала. Привет.
- Надо ж ... Через сорок лет...
- Через сорок один.
- Ну да... в общем, я хотел сказать, что видел тебя сегодня во сне. Проснулся в слезах...
- ...
- Что ты молчишь?
- Плачу.
- У тебя что-то случилось?
- Нет, все хорошо. А у тебя?
- Да, пожалуй, нормально. Прости, это, конечно, смешно через столько лет, через сорок один... Глупо, что мы расстались. Почему? Ведь мы были счастливы ...
- Мы были очень счастливы.
- Так почему? Зачем ты уехала?
- Я же объяснила.
- Я не могу вспомнить, повтори.
- Ты любил рассказывать сны.
- Какая чепуха!
- Ты пересказывал их всем и каждому.
- Ну и что?
- Боже мой! Ведь мы всегда видели одни и те же сны! Ты что, забыл?
- ...И сегодня тоже?
- И сегодня тоже.



ВОТ ЧТО ЭТО?

Вот что это? Повстречался мне человек, с которым учились мы когда-то в школе. Друг друга терпеть не могли. Даже дрались. Почему я его вдруг и сразу узнала? Почему хочется высунуть язык, как полжизни назад? Ну и пройди он мимо, – не корчить же рожи, действительно. А он возьми да разулыбайся, да руки раскинь, да и окажись я вплюснутой носом в шерстистый шарф. Что за черт! Запах доброго капитанского табака. Любой другой – и вцепилась бы незамедлительно. Ну, я не знаю...

Как так? Что свернул он свой путь и теперь сопровождает меня по моим делам. А иду я в охотничье общество платить членские взносы. И это довольно смешно для нового знакомства. Отчего начинаю объяснять – дескать, жил во дворе старик-охотник, а дядя был геологом, брал в экспедиции, сама палеонтолог, Сибирь, конечно, и Север, и еще... и так далее – слово за слово разливаюсь в исповедь. Вот с какой стати?..

А шагаем мы как раз позади Вознесенской церкви по старой улице. Она минует типовую, еще царских времен, школу и ведет напрямиком к психушке, бывшей пересыльной тюрьме. По обе стороны мостовой длинные постройки, не имеющие высоты, выступили из-под земли, словно ископаемые кости.

Подальше будет охотничий терем. Общество занимает в нем одну комнатенку, остальное сдано в аренду. Залы и кабинеты с каминами, где совсем еще недавно, сидя подле чучела медведя и попыхивая трубкой, забавляла я мужскую компанию былями и небылицами.

- Ты всегда хвастаешься?
- Всегда, если есть перед кем.
- Выходит, я не зря подвернулся?
- Ну, я не знаю...
- А теперь давай пройдем через сквер, покурим на скамейке.

Конечно, он достает кисет и всякое такое, я же глупейшим образом досаую, что таскаю с собой лишь сигареты. Он подает огонь, пальцы сложил колодцем... – ой, подруга, не заглядывай в глубину! Смотрю в лицо прямо. Ничего особенного. Нос простой, глаза веселые, рот ораторский. Ничего не узнаю. Только давно у меня не степливался взгляд, так ощутимо изнутри. Быстрее – поверх головы, там на прутья тополей громоздятся вороны и неуклюже сваливаются, каркают. А пониже, вдоль аллеи маршируют стволы рябин к деревенскому забору скрытого за ним деревянного дома.

- ...Строем идут пионеры, впереди барабанщик, помнишь? и барабанщик этот – я. Надо же, сохранился дом! Станция юных натуралистов. Вообще-то, именно сюда я и направлялся. Мы сажали яблони здесь, в бывшем мичуринском саду. Ты помнишь? Может, моя где-нибудь еще растет?

- Неужели станешь разыскивать?

- Нет, не стану. Я и не вспоминал об этом никогда. Но вот случай привел в город, где не был с детства, захотелось навестить старые места. Мой дом стоит, школа стоит, а то, что встретил тебя, и вовсе фантастика.

- Да уж, странно, что мы друг друга узнали. Кажется, в четвертом классе ты куда-то делся?



– После пятого. Отец был военный, и мы часто переезжали.

– Точно, тебя дразнили «генеральским сыном». Ух, какой ты был противный! Вечно вязался, ерничал, щипался отвратительно.

– А ты не догадывалась, почему? Я же был влюблен в тебя.

– Ну не знаю. Только мне все время хотелось треснуть тебя как следует. И в саду этом, если помнишь, я отлупила тебя веником, когда ты подставил мне грабли. А на утреннике подрались так, что весь класс устроил побоище.

– Да ладно тебе. Не с тобой же подрались, а с Людкой. С Людкой-ублюдкой. Вот уж кого я люто ненавидел. Выдра настоящая. Больше всех умничала.

– Постой, постой, с какой Людкой?

– Ну с подружкой твоей неразлучной. Чего ты?.. Может, ревновал.

– Ага. А теперь скажи мне, ловец случайных прохожих, с кем ты сейчас разговариваешь?

– Соня, в чем дело?..

У него брови соскочили с насиженных мест, точно так, как полвека назад, когда я замахнулась веником.

– Разглядел, наконец?

И давай мы хохотать. Может быть, сразу за всё.

– Надеюсь, я тебя не обидел, Люда-милочка?

– Отнюдь. Это ты разочарован.

– Я-а-а? Я очарован!

Он вроде бы собрался снова сгрести меня в охапку, но вроде бы и не счел это возможным, подобрался эдаким гоголем, после чего обычно жди от

мужчин «серьезных поступков». Он совсем не походил на прежнего мерзкого мальчишку, и я упустила момент признаться, что тоже... нет, не спутала, но не могу припомнить его имени.

– У меня в запасе, – сказал он взрослым голосом, – есть четыре часа. До отбытия. Заглянем в какой-нибудь кабачок?

– Заглянем. Если ты не будешь менять интонацию.

– Все умничаешь. Постараюсь. Хотя это поразительно, что мы заговорили вдруг на отроческом языке. И больше того, я давно не чувствовал такой легкости. словно бы встретил самого себя. И тебя. В общей давнишней точке. Из которой можно отправиться заново, по другому витку. Помнишь, лабиринт у Борхеса?

– Да. «Сад расходящихся тропок».

Это мы уже сидим в ресторане. «Гуляем» одни в неурочное время. На столиках торчком стынут крахмальные салфетки, украшают пустоту. Торжественно и зябко. И, пожалуй, заметно, что сидят напротив друг друга едва знакомые мужчина и женщина. Весьма не молодые. Он – бывалый светский лев, ухаживает элегантно. Она... Что она? Она думает: «Зря не распрощались в сквере. Потому что импульс нечаянности затухает. И ничего не может произойти».

– Да, верно. «Сад расходящихся тропок». Я был очень увлечен этой идеей. Если не за всеми угнаться, то хотя бы участвовать в судьбах множества людей. Ты когда-нибудь жалела о том, каким образом заплелись твои тропинки?



– Нет. Но раньше тоже рвалась поспеть по всем зигзагам одновременно. Сил было много. И жадности. И щедрости.

– Это я понял по твоей исповеди. А сейчас?

– Сейчас?.. Ну, я не знаю. Ты все время будто бы хочешь задать вопрос, на который не хочешь получить ответ. Или мне кажется? Каждый «сейчас» живет в нас постоянно и никуда не девается. Разве не так?

– Значит, вечная возможность приключения?

– А почему нет?

– Давай выпьем за лабиринт, который поймал нас в один и тот же тупик! Вот тебе и вопрос: как будем из него выходить?..

– Красиво строишь. Давай тогда выпьем за мгновение, у которого нет начала и нет конца.

– О да, ты мне подсказала... Подожди минутку...

Он пошептался с официантом.

– Сейчас так сейчас. Я для тебя что-нибудь сыграю.

Вот он уже на эстраде, садится за фортепьяно... Хорошо двигается. Гибок, поджар... Если заиграет романс, будет ужасно. Побегать следом? Сбить на дурацкого чижика? В четыре руки? Нет, невозможно. Нет уже ни былого, и никакого будущего, и настоящий момент исяк. Что это?.. Он играет Прокофьева? Господи, как смешно!

Возвращается уже торопливо. Поднимает меня под локоток...

– Почему вдруг «Петя и волк»?

– Чтобы ты спросила, почему «Петя и волк»? А я бы не успел ответить. Пойдем. Такси довезет тебя до дома, а эта машина – за мной. Обнимемся на дорожку.

Я держу на коленях букет хризантем. Ничего такого... Не утыкаюсь в них носом и не пускаю нюни. Да вижу, вижу я визитку. Это же надо лезть за очками, чтобы прочитать... «По-моему, ты так и не вспомнила мое имя. И это замечательно. Спасибо за Праздник». И было там, конечно, напечатано имя... имя модного на Москве, на ТВ, адвоката. Как же я его сразу-то не узнала?

ПРО КОНЕЙ

*Действительное переживание
красоты лошади строится
из круглого и прямого.*

Говорил Платон

Мой друг Густам сделал мне княжеский подарок – пригласил прогуляться верхом по осеннему лесу. Не успела я толком дослушать, что внучка его тренер на конюшне, что возможность представится в первый же выходной, не успела обрадоваться, как оно всё, что есть я, взметнулось в седло и поскакало по прериям памяти, перелетая с экрана на экран.

Вот на стене картинка из книги «Дон Кихот», приклеенная над моим детским столом с игрушками. Тогда я еще не выбрала, кто из них буду я, – тот, что на печальном коне, сухопарый и ломкий в жестяных доспехах, или второй, на ослике, смешной и необходимый, тут, в этой паре. Я еще не догадываюсь, что они – целое, одно.

Вот на горных зубцах возникает и вновь возникает силуэт всадника – Мстителя из Эльдорадо, из трофейного кино, из которого я помню только это



неожиданное и неотвратимое возникновение сторожевой фигуры на границе неба и земли.

Вот я сама мчусь по степи, пыль стелется по красным макам, по предгорьям Тянь-Шаня, я лечу в сплошности ветра и скорости, и восторга единения с верным скакуном, и не важно, что позади всех, потому что скачем мы наперегонки с деревенскими мальчишками на колхозных ослах.

Однако это лишь прелюдия. Мой старинный друг Рустам, еще с давнишней той, ташкентской встречи, знает, какой я лихой наездник. Чего вовсе может не знать его внучка, рожденная здесь, в Академгородке. Значит, как раз настало время рассказать все по порядку.

Год пятьдесят седьмой. Октябрь. Сухо и солнечно. После каникул в Средней Азии все еще кажется, что летний заряд не израсходован. Мы, три подружки-старшеклассницы, в пальто нараспашку, с полевыми сумками через плечо, после уроков шлемся по городу в поисках спортивного приложения своей избыточной энергии. Хочется чего-нибудь эдакого, помимо школьного баскетбола и доступного волейбола. Но городские клубы нам уже отказали: в стрельбе из лука, фехтовании, прыжках с парашютом – туда берут с восемнадцати лет. Что бы еще придумать?..

Волею судьбы оказываемся около ворот Ипподрома.

Мы стоим в будничных воротах Ипподрома. Во время праздника бегов сюда просто так не сунешься. Сейчас хорошо видно большое поле, пустые трибуны, длинные подслеповатые конюшни. В наших умах зреет

пока лишь одна идея – как проникнуть на территорию. И вдруг! Негаданно-нежданно я чувствую: сбилось дыхание, ёкнуло внутри от полета и страха, и судорожно я сжимаю коленями гигантский корпус коня...

В общем, когда мы заметили в дальнем конце пустыря кучку людей возле низкорослой лошади, подошли, поздоровались, я уже знала, что поскачу на этом коньке.

– Можно прокатиться?

И самое поразительное, что нам позволили. Позволили каждой сделать круг по утоптанному пятаку, шагом, потом немножко рысью.

– Поднимайся в стремях, держись коленями и привставай в такт, не хлопай задницей.

Это называется облегчаться, как с ходу начал нас обучать тренер Олег. И вот что оказалось: они, трое бывших спортсменов, не считая женщины с ребенком, решили возродить «Школу верховой езды», которая уже лет пять как завяла в Новосибирске. И дальше я расскажу то, что можно смело считать историческим очерком.

Кто же стоял у ожившего вновь истока? Само собой, это я и мои две подружки Светочки. Но сначала, конечно, тренер Олег, единственный на весь город мастер спорта в те поры. Он головокружительно взрослый, как, быть может, наши старшие братья, которых хочется боготворить. При нем неотрывно пасется молодая жена с младенцем на руках. Очень ревнивая. Допустим, он гоняет нас на манеже, – она обязательно топчется рядом. Чистим лошадей, и Олег проходит по денникам, проверяя наше усердие, проводит белым платком по крупам коней, – она

бредет следом. Засиживаемся допоздна в каптерке, обсуждаем успехи, на самом деле, неохота расходиться, – она баюкает младенчика, грызет сухари или морковку, или кусочек сахара – все те лошадиные лакомства, которыми у нас набиты карманы. Зовут ее Римма.

В скором времени в старшем слое стал поступать более сложный рисунок взаимоотношений. Потому что следующий здесь по главности – Борис. С первого взгляда было ясно, что он не брат и не близнец, но шаржированная копия Олега. Если Олег строго классичен, строен, скроен из монолита, у этого все то же, но собрано на шарнирах. У Олега правильное лицо, прямоносое, без следов эмоций. Черты Бориса заострены, и невероятный обнажается оскал, когда обозлится он или коротко усмехнется. На коне Олег сидит скульптурно, всякий под ним пропорционален, хотя они у нас разнокалиберные. Борису даже самый высокий английский жеребец Аргон – вроде Сивки-Бурки.

Про Аргона существует легенда, будто однажды он был чемпионом мира. На следующих скачках какой-то мерзавец натянул струну позади глухого препятствия. Жокей разбился, а фаворит повредил ногу. Будто бы происходило это в Великобритании. Однако мы не выясняем, каким же образом суперконь очутился в далекой Сибири, – тайна содержит удивительные возможности. Мы как раз прочитали книжку Дика Фрэнсиса «Фаворит». И теперь, когда ухаживаем за высокородным жеребцом, надеваем ему на голову сбрую, выправляя строгие уши, прижимаемся на момент щеккой к жаркой его шее... – кто

может помешать придумывать?.. В общем, когда Олег дает команду седлать Аргона, мы трое кидаемся разыгрывать на пальцах, кому сегодня изображать английского жокея.

И вот я уже еду по манежу, по кругу... На самом деле, кружу по лесу, таясь от преследователей. У фаворита неровная поступь осторожна, вкрадчива – не хрустнет ни один сучок, не выдаст...

Аргона выгуливают просто так, чтобы не застоялся. В пару к нему выезжают на хромой Тропке – породистой кахетинской кобылке, палевой с коричневыми подпалинами. Тоже не понятно, как она сюда попала. Часто Олег, чтобы побаловать Тропку, поднимает ее на здоровые задние ноги, и она танцует словно цирковая примадонна, демонстрируя природную грацию, тоненько ржет в благодарность.

А Борис выкидывает клоунские номера на Буяне. Этот – совершеннейший хулиган. С фасада он обманчиво выглядит поджарым арабским жеребцом, тут же разворачивается злым мосласто-бычьим задом, крутит хвостом и лягается. Не больно-то на нем удержишься, в чем и заключается номер. Напрыкавшись, накувыркавшись, Борис притягивает голову Буяна к своей в упор и лыбится, щеря зубы. Конь пускает из ноздрей огонь и лютую ненависть, но всякий раз исполняет поклон, затем припадает на колени, позволяя победоносному наезднику сойти на арену.

Только двоих и терпит эта белобрысая бестия, наших маститых жокеев. А те соперничают во всем. Борис вроде бы по определению – второй, однако в треугольной фигуре с Риммой он хватко держит свой угол. Потому что выразителен до отъявленной кра-



соты, и на «турнирах» Римма забывает жевать свою морковку, не спускает с него глаз.

Из их же давней команды Лариса. За ней закреплена Мальва. Обе они миниатюрны, с пепельными гривками, с черненькими ресницами и томным взглядом. Взлетая над барьерами, они на миг застывают в воздухе – ювелирная мельхиоровая пара. Каждому их прыжку мужчины аплодируют. Перед выездом на перебой держат стремя. Но Лариса независима, как бывает дама без обозначенного рыцаря. В четырехугольники она не играет. Впрочем, все это их взрослые интрижки, и нам туда доступа нет.

– По коням разберись! – командует Олег.

И вот мы выезжаем на малый манеж. Впереди Бунчук. Наш лучший действующий конь. Гнедой красавец. Умно-азартный. На нем Борис не забавляется, сейчас у него роль жоака. Следом Лариса на Мальве. Все точно и спортивно.

Дальше, на положенной дистанции в два корпуса, выступает на Газоне одна из Светочек, тоненькая, с безукоризненной осанкой. Когда их нужно различать, то она – Светик. А другая – Светка. Они неразлучны с детства. Но как случается к юности, стала проявляться у них болезненная, и уже знакомая мне по собственному опыту, парная комбинация – «царевна-лягушка». Такого обозначения мы со Светкой тогда еще не знаем, однако ищем интуитивно иные варианты, завязав между собой сепаратный союз «двух пацанов».

– На Чинаре, держи дистанцию!

На сухопаром малахольном Чинаре как раз и трясется Светка. По неверному свету ее улыбки я лег-

ко угадываю, какие романтические картинки рисует ей воображение. Наверняка те же, что и мне.

Мы одинаково одержимы образом Печального рыцаря, и уж ни та, ни другая, конечно, не помышляет себя в роли Санчо Пансы. Глядя на Светку, я подправляю свою «стать идальго». Потому что со стороны мне видно ее несоответствие, – ее увалистая толсто-ватная фигура никак не может удержать достойную позу на жестком хребте Росинанта, ноги коротко елозят по бокам, теряют стремяна. Чинар таскает ее, куда захочет.

– Возьми стек и работай!

Стеком у нас служит любая подобранная хворостина. Она ломается раньше, чем пустишь ее в ход. Возможно, потому, что врожденное благородство, которое мы со Светкой чрезвычайно культивируем, наше благородство поджимает губы, – неужели ты способна ударить животное?.. Светка делает пугающий, но пустой замах хворостиной, Чинар оборачивается и кусает ее за сапог.

И наконец, еду я, замыкаю пятерик. Мой скакун Маклай – тот самый наш первый знакомец, конек-меринок. Игрушечный, сказочный, он все же побольше ослика. Светке как раз был бы впору, странно, что нас перепутали. Устраиваю стремяна повыше, чтобы не чертить землю шпорами, смахиваю на кузнечика, наверное. Маклай рыжий. И нрав у него рыжий, смешливый. Он с готовностью разделяет мои фантазии.

Шагом мы выступаем будто бы на параде, я подкручиваю гусарский ус. Бежим рысью, я – джигит на охоте. Пускаемся в галоп, и я уже – ковбой. Меняем аллюр – переглядываемся со Светкой, обе знаем, что



сейчас мы – индейцы, крадемся между скал. В своих метаморфозах мы с ней всегда совпадаем. Я перелезаю с экрана на экран и возникаю там в самые роковые моменты. С Маклаем у нас все получается превосходно. До того самого рокового момента, когда нужно прыгать через «клавиши». Тут уж Светке есть на что посмотреть со стороны. Перемахнув два первых барьера, Маклай неожиданно, но каждый раз неизменно тормозит, и я, грохоча латами, врубаюсь башкой в лестницу, что лежит на боку, изображает третье препятствие. Пропустив меня вперед, мой приятель вспархивает с места и, поглядите-ка на него, уже галантно ожидает по другую сторону: «Не шибко ушиблась?..»

– Огладь коня!

Этот мерный голос Олега. И особенно обидно скалится Борис. Мы с Маклаем заезжаем на новый подвиг. И снова... и опять...

– Огладь коня!

– Можешь и себя! – кричит Олег на полтона выше, когда удастся, о Господи! удастся преодолеть коварные «клавиши».

– Научишься прыгать на Маклае, справишься с любым конем, – оглаживает меня Олег на вечерних посиделках.

А мы ведь ловим каждое его слово. Это никакой не секрет, что девчонки влюблены в своего тренера. И уж ни одна из нас никогда не сознается, что влюблена и в Бориса. Олег скуп на похвалы. Мы ловим его интонации. По кругу он выкликает наши имена, давая команды, по кругу: «На Бунчуке, на Мальве, на Газоне, на Чинаре, на Маклае». И этот

перечень – как молитва, как держание. На многие годы вперед.

Интонированы же имена адресно: «На Бунчуке» – скрытый вызов; «На Мальве» – с неведомой нам виной и едва уловимой суетностью; «На Газоне» – звучит похвально и даже – слышится нам со Светкой – восхищенно; «На Чинаре» и «На Маклае» – насмешливо, дескать, что с них взять, с подпасков...

Ну так мы и сами видим: на Газоне едет инфанта. Прямая спинка, голова откинута высокомерно, но это кажется, – Светик чутко прислушивается к сигналу и реакция ее мгновенна. Черты лица суховаты, миловидны. Если ошибается, редко, если все же ошибается, тверденький подбородок возносится целеустремленно. Конечно, спортсменка от Бога, какими рождаются королевны. Газон тоже принимает похвалу. Он старательный мерин. Подобран, четок, в страстях умерен. Впрочем, это как знать...

Самые доверительные отношения с подопечными у нас развертываются один на один в деннике, где мы чистим их, холим, шепчем им ласковые слова или нарочитым басом покрикиваем:

– Прими!

Вытаскиваем навоз, засыпаем пол опилками, задаем корм и все время подсовываем на ладошке сухарики, сахарок, ладошку щекочут замшевые губы, а то прихватят смешные длинные зубы, шутя, не больно.

– Ба-алуй!

Каждый божий день мы пропадаем на «конном дворе», как говорит моя мама. Эти обыденные заботы конюшенного быта – не есть ли они подлинное бытие? Все действия здесь отлажены необходимостью,



они точны, ритуальны, достаточны. А сам большой древний зверь – в руках твоих, под твоим седлом, в полном согласии общего движения – это ли не бытие! Подумаешь, навоз приходится таскать...

В марте на Ипподроме состоялись областные соревнования. Бега бегами, что случалось каждый выходной, но впервые за несколько лет были скачки с барьерами. Участвовала вся наша великолепная семерка, включая Римму. С ребенком на руках она стерегла у финиша. Включая Буяна, на котором выехал Олег сам. Из сёл набралось одиннадцать лошадей.

Все происходило совсем не как в кино или в книжках. Нас не взвешивали. На нас не делали ставок. Зрителей насчитывалось всего ничего. Однако кони наши были подкованы, ноги мы им обмотали бинтами. Сами поверх телогреек натянули майки с эмблемой общества «Урожай». Засзд был всего один, по большому манежу.

Конечно, мне грезились победа. Что с того, что наши с Маклаем силы ничего не обещали? То была даже не мечта, но необычайное воспарение духа, когда возможно всё, возможно любое чудо. Как в мифе. А без такой уверенности лучше и вовсе не вступать в борьбу. Нет, душа жаждала Высшего Испытания.

Со старта мы рванули единой массой, сразу же ритмически выправляясь в мощную волну. Волна поднялась над первым препятствием, обрушилась с грохотом и покатила, теряя плотность. Внутри стремительной гонки кажется, что сосредоточен лишь на себе. На самом деле расчетливо видишь соперников. И отчисляешь тех, кто не сумел встроиться в живой механизм, они выпадут на втором, может,

третьем барьере. Это будем не мы с Маклаем. Не важно, что скачем мы не близко к фронту, заранее было ясно – скоростью деревенские нас побьют. А вот дальше уже посмотрим... Ага, белоногий сейчас отвернет от забора. Ну не хочет он прыгать, чего зря махать плеткой. Мы с Маклаем не будем первыми, но все барьеры возьмем чисто. Уж тут мы постараемся. Серый прыгнул, споткнулся, сбился... Бери левее, дружок, теперь он сам отстанет. Давай еще рывок, надо обойти и этого... во, аргамак, глаз раскаленный, злой... выручай, Рыжий! Он застрянет в «клавишах», я те точно говорю, не помешал бы. Мы обгоним его и сделаем все на ять... Ты мой хороший! Носом тюкнулся, а копытами не задел... Грива хлестнула по лицу, залипла жесткая прядь на моих губах. Господи, здорово-то как! Мы мчимся – эге-гей! – мчимся в сплошности ветра, и снега, и радости. Позади нас осталось пятеро, и вон тот впереди будет наш. Кто же это, интересно, подпаски! Светку вообще не видать. Мы настигаем Мальву. Такого еще не бывало. Мальва взвилась над бревном, полыхнув мельхиоровым блеском. А ведь что-то у них не в порядке... Лариса как будто отдельная, тусклая, вялая... безразлично пропускает меня вперед. А вон и Светка. Берет последний барьер... за ней чужой... еще чужой... ага... Мы прыгаем сразу за Газоном. Осталось совсем чуть-чуть. Плечом к бедру Газона выскакиваем на финиш.

«Огладь коня», – шепчу я Маклаю в ухо, в гриву его лохматую зарываюсь лицом. Он запрокидывает голову, скалится лукаво, смеется, ей богу, смеется рыжий мой конек-горбунок.

На конюшню возвращаемся строем, коней ведем в поводу. Впереди победители – Борис и Бунчук. Второй приз взяли Олег с Буяном. Дальше шествуют Светка с Чинаром. Они не попали в ударную тройку, но среди нас вполне отличились. «Черной молнии подобны», – польщу потом Светке. Светик идет очень прямо, выпятив подбородок. Рядом голенасто ступает Газон, он, похоже, не разделяет ревностных мук подруги, доволен вполне. На нас с Ларисой никто не оглядывается. Я не оглядываюсь тоже, – зачем Ларисе видеть мое неумное счастье?

Римма, конечно, сопровождает Олега, вернее, Буяна, идет почему-то не с той стороны. Может, там, рядом с ним сугроб мешает. Не то чтобы я тревожусь, просто смотрится вроде бы «не с руки».

– Держи дистанцию, – бросает Олег через плечо Светке, скорее, по привычке.

Три жеребчика вышагивают в полной своей красе. Гнедой, белый, вороной. Заметно, что выложились они честно. Заметно, что усталость спортивная, и не гасит она возбуждения. А победа еще дарует им особенную осанку. Буян почти достигает достоинства Бунчука. Чинар же не столько горд как самодоволен. Интересно, как он называет Светку про себя? Но уж точно, все время дает ей понять, что конь никогда не бывает укрощен до конца и подчиняется лишь по своему желанию.

Вот и теперь. Идем себе чинно и благородно, и уважительно друг к другу. С чего бы вдруг Чинар начинает приплясывать?

– Держи дистанцию!

Но это уже поздно. Чинар вскидывается на дыбы и набрасывается на Буяна, будто перед ним кобыла. Светка ватной куклой повисает в воздухе. Буян резко оборачивается и в ту секунду, что Олег перехватывает покрепче повод, кусает подвернувшуюся Римму. Кулек с ребенком вылетает у нее из рук. Как уж оно получилось, не знаю, только успеваю я поймать ребенка.

Когда улеглись ошметки снега и пены, представилась жанровая картина. По одну сторону тропы Олег застыл в узнаваемой композиции с Аничкова моста. По другую – Светка в сугробе прижимает повод животом, Чинар терзает ее шапку зубами. Борис железной хваткой держит под уздцы Бунчука, которому не удалось поучаствовать в битве, хотя он тоже выказывает крайнюю мужскую готовность. Другой рукой Борис... другой же рукою он ласково приобнимает Римму, та рыдает, уткнувшись спасителю в грудь. Лариса и Светик, и между ними Маклай, дисциплинированно остаются в строю. Мальва вытягивает шею, раздувает ноздри.

Ребенок у меня на руках орет благим матом.

– Ну не плачь, не плачь, все уже хорошо.

Я впервые разглядываю физиономию младенца... Наливные щечки, вполне определенный нос... А ведь эту прекрасную даму зовут Алевтина... – думаю я.

– Не надо плакать, драгоценная Алевтина, отныне мой герб будут украшать нежные цвета твоих пеленок...

За все подвиги нам со Светочками присвоили третий спортивный разряд.



Соревнования нашумели в городе, и молва привела в «Школу верховой езды» новичков. Сия радость свалилась на нас негаданным испытанием.

– Теперь вам будет перед кем козырять, – хмыкнул Борис, когда появились первые двое. Они вылезли из-под забора, что мы наблюдали с верховых позиций.

– Покататься дадите?

– Так сразу? А где пароль, юные диверсанты? Почему не через ворота?

– Здрасьте. Мы эта... Димыч, а он Тюхля... Матюхин, значит. Думали, нас не пустют. Подкоп сделали. А чё? Покататься дадите?

Даже Олег засмеялся. А уж мы-то со Светкой хотали громче всех, когда этих придурков посадили на наших коней. Тюхля свисал штанинами с Чинара, как Пьеро.

– Привставай в такт, держись коленями...

Маленький ёмкий Димыч угнезвился на Маклае, будто родился вместе с ним.

– Не ревнуйте, девочки, – снизошла до нас Лариса, – так все и должно быть.

За первыми пришельцами потянулись другие.

Может, так оно и должно быть... Но какво заставить в своем деннике несносную конопатую Сю-сю? «Ах, мой милый рыжик, подними лапку...» Тошнит, ей-богу. Ладно хоть Димыч под ногами не путается. У нас ведь теперь занятия по расписанию, в две смены.

А по выходным, когда собирается полный состав, выезжаем на всех наличных лошадях. Для вольтижировки годятся и Аргон, и Тропка, и списанный

из беговых конюшен рысак Большой Вальс, и особенно удобны широкие спины рабочей лошади Наси и тяжеловоза Нади. Мы любим этих двух тёток, никогда не забываем угостить да и просто заглянуть к ним в стойло на пару слов. Воскресные танцы им явно по душе.

Прыгать через препятствия приходится по очереди. Вот тут уж извини, подвинься. Давай-ка слезай, рыжая Сю-сю. Приехали, Димыч. Маклаю не снести троих. Пиф-паф, адъютанты!

Есть еще одно место, где чтут нашу исключительность, – каптерка. Мы заседаем там каждый вечер, а новички – по расписанию. Однажды Олег и говорит:

– Становится совершенно ясно, что конный ресурс недостаточен. Надо хлопотать.

И смотрит на нашу троицу.

– Действительно, девочки, кто ж, если не вы? – скалится Борис и добавляет ни к селу, ни к городу: – ...Разрядницы.

И смотрят на нас уважительно остальные все.

На другой же день, после уроков, мы отправляемся хлопотать. Полевые сумки через плечо, пальто распахнуты, как бурки.

Пожалуй, уместно вспомнить, что на дворе стоял 1958-й год. Это интересно не только для истории развития конного спорта в Новосибирске. Для нашего наивного рвения год не представлял угрозы, что тоже важно. И самый большой ужас заключался всего лишь в том, что «девочки ходят по городу и предлагают производителя», – как пересказывали наши мамы знакомым.



Ничего такого особенного. Мы предлагали племенные услуги английского жеребца Аргона в обмен на любых совхозных лошадей, даже списанных в «Заготживсырьё». Так научил нас Олег, и не было причин не следовать указаниям верховного командования. С этой целью мы планомерно обходили все конторы, имеющие отношение к сельскому хозяйству.

Главный же удар был направлен на Облисполком, где замом по животноводству сидел товарищ Анучин, сам – бывший кавалерист.

– Горячий дядька, – предупредил Олег.

– Будет вас вышвыривать за дверь, а вы действуйте на кавалерийскую жилку, – корректировал Олег наши маневры.

– Чтобы отстаивать честь города, нужно хотя бы двадцать лошадей, – намсчал Олег ближайшие перспективы.

Вооруженные вдохновением, мы ворвались в кабинет товарища Анучина. Он там сидел под внушительной стеной, сам – словно поясной портрет маршала Конева. Вдруг с грохотом сорвался, когда мы закончили излагать, да как побежит давить нас кривыми сапогами:

– Еще мне тут шпаны не хватало, убирайтесь к чертям собачьим, и тра-та-та-та!

Ничего себе! Но секретарша нас почему-то не гонит, лишь ухмыляется. Мы дух переведем и снова в атаку, и опять про честь смолоду и кавалерийскую жилку... Пока товарищ Анучин не перехватил в дверях и, размахивая руками, не прогнал через всю приемную и еще подальше.

В некоторой растерянности мы слонялись по этажам и коридорам власти. Наконец само провидение остановило перед табличкой первого зама. Здесь секретарша тоже встретила нас равнодушно-приветливо. Впрочем, про секретарш мы тогда мало чего понимали.

Заходим. Вот когда, пожалуй, сделалось не по себе, пока шли вдоль долгого суконного стола, и пирамидка в дальнем торце росла, росла до невероятных размеров, расплываясь по верхушке улыбкой:

– А мы по какому вопросу?

И выслушал очень любезно. Нажал на кнопку селектора:

– Товарищ Анучин, тут ко мне девочки пришли...

– Тра-та-та, – зарычало громко.

– Уже побывали?.. Ах, лихие наездницы! Ты письмецо-то в Москву составь. Девочки подскажут. Ты хорошо меня понял?.. Отнесись внимательно. Молодежь надо поддерживать, – это уже в нашу сторону потекла патока.

В воротах Ипподрома мы обогнали златовласую Сю-сю. Она тут же задрала свой конопушчатый нос, дура.

– Эй! Если хочешь, приходи в каптерку.

Мы обежали все денники. Господи, как соскучились за время хлопот.

– Маклай, здорово, дружок! Салют, Димыч! Ну как вы тут без меня? Пойдем в каптерку, будем рассказывать.

Скоро все подтянулись слушать, как мы победоносно сражались. С ветряными мельницами.

– Во, выслуживаются, – хохотал Борис, – землю роют!



– Всё точно, – констатировал Олег.

И вот что оказалось: мы попали в правильный момент, – только что сняли председателя Облисполкома, и замы выжидали, кого назначат.

Через четыре года в Новосибирск доставят два десятка скаковых лошадей. И будет выстроен новый большой ипподром в Кировском районе.

Однако еще один плод принесли наши хлопоты на следующую уже зиму. Из «Заготживсырье» привели коня Инжира.

Я как обычно прибежала на конюшню в неурочное время. У Маклая возился Димыч.

– Ты эта... Нового коня видела? Иди погляди.

Он стоял в дальнем нежилом деннике. Я так и обмерла. Конь из мечты. Огромный вороной. Снежная звездочка во лбу. Шея длинная. Влажные завитки. Мотнул головой, но дал погладить. Челка мрачноватая, как у Багрицкого. Берет сахар. Хватает. Так даже Буян не делает. Еще кусочек. Еще.

– Хороший, ах, какой хороший. Запустишь?..

– Умница. Прими маленько... Ну подвинься. Как же тебя зовут, дичок? Надо у тебя прибраться, не возражаешь?

– Немедленно, но очень спокойно выходи, – вдруг слышу я монохромный голос Олега.

– Почему без разрешения зашла?

– Хотела познакомиться, почистить...

– Так просто? Не мешало бы сначала спросить, что, откуда и почему здесь?

– Можно спросить, как зовут?

– Инжир.

Олег немного сбился с тона.

– Тот еще тип. Чуть не угробил председателя колхоза. Хотели на мясокомбинат сдать, да пожалели. Про ваш визит вспомнили, позвонили. Теперь вот будем расхлебывать. Его сюда четверо мужиков водворяли. А ты лезешь.

– Но он же меня подпустил...

– Мало ли. Не суйся поперед батьки.

Уже две недели Инжира пробуют гонять на корде. Называют бешеным. Подчиняться он не желает.

Меня дразнят укротительницей. Две недели я ухаживаю за Инжиром. Даже пролезаю у него под брюхом, чтобы не обходить такого большого. Я, конечно, мечтаю... Но Олег и слышать не хочет.

– Я еще не решил, что с ним сделать.

Зато я решила. Теперь я прихожу чуть свет, когда нет никого. И мы идем гулять.

Я веду его в поводу. По снегу. Не по манежу, нет. Он идет за мной, как большая собака. Сует нос в следы. Тыкается в плечо. О чем он думает?.. Глажу гибкую шею. В завитках вытаивают павлиньи глазки, мерцают. Челка расчесана на прямой пробор.

Еще неделя. Гуляем с попоной на спине. Доходим до большого манежа и возвращаемся. На корде его гонять перестали. Это плохой признак.

Позволил надеть седло. С пустым седлом гуляем еще несколько дней.

Я таюсь от всех. На занятия прихожу по расписанию. Прыгаю на ком достанется, иной раз даже на Бунчуке. На Маклае Димыч делает успехи стремительнее, чем я или теперь еще Сю-сю. Ее зовут Соня. Олег проходит мимо нашего с Инжиром денника молча. Борис посматривает с любопытством. Све-



точки дуются, как бывает всегда, если подружка, не сказавшись, влюбилась. Да все я им потом расскажу. Может быть, даже завтра.

Назавтра я пришла еще раньше. Нужно же все подготовить. Надеть седло, раскрыть двери и подпереть, проверить проход. На Инжира запрыгнула прямо в деннике. Он вздрогнул всем телом, присел. Подвоха-то он от меня не ждал. Нет, он не брыкался, не сбрасывал. Он ринулся наружу, словно убегал. Бежал, не выбирая дороги, перемахивая через все подряд, выскочил на нашу снежную, нашу выученную тропу к простору большого манежа. Казалось, он этого и хотел. Мы понеслись по кругу, едва касаясь земли. Такое хлынуло пространство, будто весь мир под тобой. И я лечу, как Победоносец, или Демон, или ловкий Вакула на спине у Черта. Мне хотелось хохотать и кричать во все горло: Эге-ге! Мы были одно, летящее – вольный ветер и черный смерч. О-го-гой! Круг за кругом. Гой-гой...

Я не чувствовала стремян и не чувствовала седла, лишь струящееся прямое и круглое... И вдруг стало понятно – я не чувствую никаких знаков, что конь чувствует меня. Мелькнула та, первая догадка – Инжир действительно убегал. Может быть, в свой табун, или в широкую степь, или на небо. А я... я всего-то пустое седло на спине... Отпустила поводья, ухватилась за гриву, прижалась – лети! Возьми только и меня с собой...

На землю Инжир вернулся по своей воле. Забежал в денник и стал. Я расседывала его и почему-то плакала. Не удивилась, когда Борис появился в дверях. Вывел меня, дал чистый платок.

– Ты молодец, – сказал.

– Вы знали?..

– Знал.

– И Олег?

– У тебя же все нарисовано на лице.

– Ты молодец, – повторил Борис. – Но больше Инжир не позволит себя оседлать. Это был нечаянный шанс и, похоже, последний. Конь не молод, и объезжен был в свое время. Что за конфликты у него произошли, мы не знаем. Обидели? Унизили? Он не мог быть таким всегда. Из всех тут у нас он признал тебя, возможно, полюбил. Если бы не так, растерзал бы еще в деннике.

– И вы знали?..

– Ну что ты заладила? Рядом я был. На стрёме, считай, стоял.

– Может, завтра попробуем снова?

– Не попробуем. Что еще не ясно? Он же тебе все показал. Он не хочет быть скаковой лошастью. Он вообще не будет служить людям. И не надо его ломать.

– И что же с ним дальше?

– Отдадим в племснной совхоз.

– А как же я?..

– Будешь водить гулять, кормить, чистить. Потом придется расстаться.

Такое же горькое отчаяние, как тогда, накрыло меня еще раз через много лет. В одном провинциальном городе. Зимой девяносто первого. На стылой помойке рылись лошади. Как большие одичавшие собаки. Или как крысы. И дрались из-за объедков.



Академгородок. Октябрь. Сухо и солнечно. Мой друг Рустам пригласил меня прогуляться верхом по лесу. Его внучка – тренер на конюшне. Его внучка славна уже тем, что в первой заграничной поездке все денежки спустила на дорожное седло.

Прибыли на конюшню. Боже мой! Всё так! Запахи, опилки, лоснящееся дерево денников. Замшевые губы тянутся за гостинцами, щекочут ладонь. Снуют девочки в сапожках, покрикивают нарочито.

– Прими! Ба-алуй!

Мне выделили огромного Черномора. Они его зовут Черномырдиным. Он тяжеловат и лукав. Еще бы я сказала, – он из породы лошадей художника А. О. Орловского, что глядят с его рисунков человеческими глазами из-под гарусной челки. И во лбу у Черномора белая звездочка.

В общем, в седло меня подсадили. А мне-то чудится, что я совсем как внучка, тоненькая, с прямой спинкой, с тверденьким подбородком. Девочка сопровождает нас.

Мы гарцуем с Рустамом шагом. В седле мы еще хоть куда! Черномор обкусывает бурьян по обочинам, поглядывает на меня хитро. Я похлопываю, поглаживаю его изогнутую шею в крупных завитках, протягиваю кусок сахара. Нам все хорошо удастся. Рысью, шагом, рысью...

Вдруг неожиданно-негаданно он срывается в галоп... тут же резко тормозит. Снова дернулся и опять... У меня ёкнуло все внутри от страха, сбилось дыханье, и судорожно я сжимаю коленями гигантский корпус коня...

– Это он заигрывает, – смеется внучка. – Вы ему нравитесь. Обычно его приходится раззадоривать.

Ничего себе. Не хватало еще свалиться.

Шагом, рысью (придерживаюсь за лук), шагом...

У Рустама конь заметно поменьше. Но ведь он и не похвалялся. Едет себе по-восточному, развалясь, выставив носки башмаков в стороны. Мы уже немного пообвыклись с забытыми ощущениями, напряжение спало. Неспешно беседуем.

А вокруг осенний лес. Светлый. Листы на осинах похожи на яблоки. Внучка оставила нас одних, прыгает впереди через поваленные деревья.

И вот на этом благостном фоне должно ли было что-нибудь случиться? Вдруг? Неужели ничего? Нет, окружающий мир не обещал, не угрожал. Наш путь достойно завершился. Осталось протрусить еще через пашню, за ней виднелись длинные крыши.

– А что, слабо тряхнуть стариной? – вырвалось у меня, не спросившись, само.

И я уже скачу по полю, взрывая комья земли. Рядом мчится Рустам, верный мой друг. И догоняет нас девочка, она легко может обогнать, но не делает этого.

– Послушай, – говорит мой друг, когда мы уже переводим дух во дворе конюшен, – я думал, что пригласил даму приятно провести день, а ты – все тот же пацан-удалец на ослике.

– Скажешь тоже, на ослике...

Сама же я вижу странное сооружение посреди конного двора, громоздкое сооружение из жестяных доспехов на великанском корпусе коня... И, честное слово, я не знаю, как с него слезть.



ИЗ КНИГИ «МОЕ ВРЕМЯ»

«ЭБЕНОВЫЙ ГОБОЙ»

«Моя душа эбеновый гобой», – начинается пародийный сонет И. Анненского.

– Моя-а ду-ша-а эбе-новый го-бо-ой! – завывает Славка Журавель, насыщая гласные до отказа.

Тогда мои друзья еще все были рядом.

Вокруг старинного стола в доме Валентина Михайловича Шульмана, профессора-химика, мы играем в «Малую Французскую Академию».

Тогда мы еще все живы.

Соня Ремсель, Ростислав Журавель, Валентин Михайлович Шульман.

Жива Анна Андреевна Ахматова. Готовится к изданию ее книга «Бег времени» (1965г.), мы же знаем ее стихи по перепечаткам из старых сборников.

Мы называем их «полузабытыми» поэтами: В. Брюсова, И. Анненского, А. Ахматову, Н. Гумилева, О. Мандельштама... – поэтов, начинавших двадцатый век. И рвемся разобраться в символизме, акмеизме, имажинизме, – столетие предыдущее кажется нам исчерпанным.

Чем активнее бег нашего юного времени, до отказа насыщенного стихией поэзии, тем сильнее потребность скатить время назад, к истокам века, к поэтам, которых мы никогда не забывали, просто нас «не познакомили». Их пегасы многие опалили крылья, мы скачем для встречи с ними на длинноухих коньках-горбунках.

По эту сторону водораздела времени еще сохранились живые участники того многоструйного потока, или свидетели.

Декан единственного тогда в НГУ факультета естественных наук Борис Осипович Солонуюц много рассказывал о футуристах. К ним – математикам первых курсов Московского Университета часто приходил Владимир Маяковский. БОС хватко овладел манерой блестящих «вопросов-ответов», мог управлять любой аудиторией. Они дружили с ребятами из Брюсовского училища, бегали к ним на занятия и семинары.

Наш Городок явился конечной географической точкой в обширной биографии Юрия Борисовича Румера:

от Геттингена – до «глубины сибирских руд»;
от англо-франко-немецкого – до санскрита;
от первых расчетов по квантовой химии
– до пятимерной оптики;
от Макса Борна, Эйнштейна, Дирака, Паули,
Ландау, ...,
– до Эренбурга, Андронникова, ...;
зэка – сотрудник Туполева;
к тому же еще кузен Бриков, а сколько легендарных имен вокруг того дома!

А в каких еще неведомых нам измерениях «раскладывалась» его удивительная биография?

В доме Птицыных нас допускают рыться в старых книгах. Вот где мы, наконец, утоляем жажду. Сборники стихов на серой пористой бумаге 1907-го... 11... 17... 23-го года, альманахи «Аполлон», «Шиповник»...



Там же впервые предстал перед нами Валентин Михайлович Шульман, человек щедрой внешности и остроумия, оригинал и гурман. В былом «свободный художник», как неопределенно говорили, и образно «уточняли», что логарифмическую линейку он узнал уже после лагерей. Легче было представить, как мы всей компанией держим для него ложку, не уместаясь в иллюстрацию к книге Рабле, чем увидеть его с пилкой, или топором они там, на лесоповале, отрабатывали срок до реабилитации.

Весь Городок хорошо знал любимые атрибуты В. М. Шульмана: веер и трость, мановением которой он останавливал автобус, как такси, в произвольном месте.

На пороге своего дома Мэтр встречал нас французскими стихами, и потом мы рассаживались вокруг стола дворцового размера. Чай он учил нас заваривать по своим изощренным алхимическим рецептам. Иногда стол был завален разными разностями, но часто столь же царственно нам предлагался засохший сыр, безусловно, самых высших сортов, и черствый хлеб мы грели в духовке.

В сервировку стола входили листки бумаги и обломки карандашей – их переламывали пополам, если не всем хватало.

Мы писали «пасквили» и пародии друг на друга и на «маститых», рисовали карикатуры, особенно любили буриме.

И выносили на суд свои стихи.

Генка становился в углу и читал:

И стынут стулья без света днями,

И книжный улей томит томами,

Портретов тени на стенах тусклых,
 В глазах пыль тлена и мнений узких.
 Скрип половицы. Цветок в стакане,
 И только снится, что каплет в ванне.
 В шандалах свечи уснули косо.
 Пустынный вечер. Пустынный голос.
 Хозяин дома вернулся в дом,
 Дорогой сломан, как звоном сон.
 И на рояле средь старых нот
 Хвостом печали играет кот.¹

На самом деле черный кот играл хвостом не на рояле, а на фисгармонии.

Но своих стихов было еще не очень много. Сочиняли «выступления» о размерах и ритмах, составляли забавную коллекцию вычурных рифм, да много чего, и читали, читали захлеб стихи разных поэтов, хватая выходящие тогда во множестве сборники, «откапывая» современников, а главное, шире откатывая назад до Державина и Ломоносова.

Но особенно много орали.

Позволялось все. Любой темперамент был в чести.

– «Мой брат Петро-поль умирает», – гудел, ревел, выл Журавель, скапливая черную бархатную глубину.

– «Мой бра-ат Петроп-аль умира-ает», – варьировал Бовин, и в его открытом «а» зияла азиатская бездна.

– «Мой брат Петрополь умирает», – бас Журавля выгитал в скорбный скрип доски, лицо его становилось фаюмским портретом.

¹ Г. Прашкевич. «Возвращение», посвящается В. М. Шульману.



Рядом с ним остренько ерзал белый точеный профилек Клавки. Она даже на стул ухитрилась забраться с ногами, из черных чулок вытарчивали замечательные белые пятки, а из нее самой столь же непосредственно вытарчивали вопросы. Жур тут же обрывался на полуслове и спокойно ей разъяснял, что непонятно.

Многие из нас в те поры скорее умерли бы, чем показали, что чего-то не поняли.

Генка бы от одного подозрения обиделся и убежал, потом минут через пятнадцать вернулся с какой-нибудь завирушной «входной идеей».

Валерка Щеглов начал бы опупело соглашаться, пока возможно, но упаси вас Бог спрашивать в лоб, тут он честно и серьезно будет выкручиваться, как на экзамене, так и хочется ему шепнуть, – засмейся, отшутись, ну же, наври с три короба, как ты это здорово умеешь. Но коснись меня, я бы того хуже развела канитель, начиная рыть изначальные пласты истории, философии, впрочем, и добыла бы что-нибудь тяжело-мудрое.

Щегол казался легким, «на цыпочках по морю», и только в таких «экстремальных» ситуациях обнаруживалась тонкая и ранимая его душа.

Он и стихи свои читал спотыкаясь, забывая, бубнил:

*Тебя везде
найдут мои строки,
меня везде
найдут твои губы,
какой же олух
нам напфорочил...*

Он еще очень любил слово «трубы». А мы же все друг-друговы опусы знали до звука, и выждав момент оканчивая, с наслаждением ревели хором:

*Все Боги лгут!
Их пророки грубы!*

Щегол был высок, строен и кудряв. Только моя мама разглядела его неуклюжесть, она поначалу путалась в наших птичьих фамилиях и обозначила его «слоненком». Он и верно, похож был на простодушного элфантика из Киплинга, пока тот был без хобота. Это уж потом он огрузнет до слонопотама, и нос ему натянут в его неумных авантюрных предприятиях.

Бовин, если чего-то не успел обдумать, начинал наскокивать – «дурак твой Достоевский», например, если я раньше прочитала «Бесов». Зато потом он сам приносил свои отутюженные выкладки, в которых обязательно присутствовала какая-нибудь собственного бисера лингвистическая вышивка.

Серб заранее кричал, что ничего он не понимает и университетов он не кончал, но изображая «голос из народа», высказывал порой острейшее замечание.

Леха Птицын, пожалуй, единственный из нас не пыхтел и не корчился и не стыдился переспросить. Мы его между собой называли «графом», подразумевая несколько английский склад его утонченного поэтического юмора, и не выпирающую из рамок шутливую манеру поведения.

Зато Захар (Володя Захаров) – редкостный эрудит, его даже и не ловил никто, «на любой вопрос – любой ответ», – смеялись мы, и сообщал о себе шум-



но, с радостным сладострастием, стихи интонировал многослойным голосом Ахматовой:

*В лесах сосновых,
Где правда перепуталась со снами,
Катилось детство по нагим основам
Велосипедным старым колесом.
Летело детство по воздушным змеям,
По любопытству жадному к жукам,
По потрохам карманных батареек –
Там палочка и цинковый стакан.
О тайны мира! Странствия Улисса
По лужам на бумажных кораблях!
Большая и загадочная крыса
Жила под домом и внушала страх.*

Потом не мог сдержать собственный восторг, хохотал с визгом и брызгался, а может, то было освобождение от страха перед произнесением слова.

Нам позволялось все, любые изыски и излишества, но удивительно, – обжорства не было, не было мления, наши «заседания» ни разу не обернулись «салонем». Это была настоящая школа словесности. Валентин Михайлович легко относился к нашей неумелости, поощрял артистизм, но у него был изощренный слух и строгий, даже аскетический вкус, который он исподволь прививал нам. Ведь несмотря на крикливость и фасонность, каждый из нас нес в себе трепет за слово сотворенное.

Сколько угодно могли мы наслаждаться, например, «бирюзой и лазурью», «алмазами и жемчугами», но четко усвоили, что «золотой фонд» уже

исчерпан символистами, а «серебряный век» закончился.

Когда нас пригласили в партком СОАН и упрекнули в «лимонных садах», дескать, КГБ интересуется, отчего вы не пишете о наших березках, как элементарный Пушкин, мы резонно возражали, что до «элементарного» нужно еще дорасти.

В это же время, оказывается, за нас переживала А. Ахматова. Нам передали по ее просьбе, что до нее дошли слухи, и она чрезвычайно огорчена, что из-за нее пострадали какие-то ребята.

При первой возможности в Москве мы получили у нее минутную аудиенцию, чтобы успокоить, – мы вовсе не пострадали, просто поняли, – не должно быть пробелов в культуре, унаследование не может прерываться, а уж станем ли мы наследниками?.. (но тогда и сомнений не было, что станем).

Анна Андреевна сообщила нам, что выходит ее книга «Бег времени».

В те поры блудливых споров о физиках и лириках в нашей «Малой Академии» приветствовался некий синкретизм, ну а если бы уж кому удалось выйти на настоящий синтез, мы бы, пожалуй, переросли в «Большую Всемирную Академию».

Однако, тогда мы тоже воображали себя сидящими на не низком Олимпе. Это ведь всегда, человек в каждый настоящий момент, если он не в провале, чувствует себя как бы на водоразделе, по крайней мере, между прошлым и будущим, уж потом, оглянувшись, ему видны холмы и долины, или только чудятся – временной рельеф обманчив. Да и различен для разных людей, для разных точек отмера.

Вот и сейчас, когда я восстанавливаю в памяти, может быть, всего лишь вершину нашего молодежного блаженства, и пытаюсь соотнести ее с поднятиями историческими, сегодняшний день хочет вздыбиться, – нам как будто предстоит гора повыше «шестидесятых» – с нее открывается широкий обзор до дней начала века.

Правда, многие уже имена легли на камни, но все же и на памятные доски, например, в «твердой глуши», как пишут в газетке, – на бывшем слепневском доме Ахматовой и Гумилева. Теперь Гумилева считается даже неприличным не читать, печатаются его стихи и письма.

После фильма «Покаяние» кажется невозможным «забыться».

Все с новым интересом ждут «Доктора Живаго», обещанного в «Новом мире» на Рождество.

Вот сейчас, на закате века, когда нужно и можно «Во весь голос!», оказалось, мы не вырастили и не сохранили Поэта такого размаха.

А пока на верхушке сегодняшнего дня могучий сибирский хор распевает по транзистору:

*В ускорении отражается
боевой восемнадцатый год.*

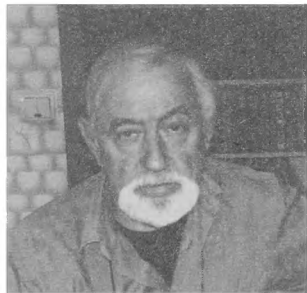
Текст песни подлинный с временной привязкой: июль, 1987 год.

Стыд-то какой.



Бойков Владимир Николаевич.

Родился 31 декабря 1941 года в Новосибирске. С 1956 года жил в Средней Азии – в столице Киргизии городе Фрунзе (ныне Бишкек), затем в городе Джамбуле (ныне Тараз). В 1965 году окончил мехмат Новосибирского государственного университета. Преподавал в городе Целинограде (ныне столица Казахстана – Астана), в Новосибирске работал в Институте автоматизации и электротехники СО АН СССР. В 1974 году переехал в подмосковный город Жуковский; жил в Москве, работал в Главмосавтотрансе, НПО «АСУ Москва», НИИ систем и других организациях. Ныне живет в городе Струнино под Московской. Член Союза писателей Москвы. Первая публикация – стихотворение «На старте» (1963, «Вечерний Новосибирск»). Публиковался в журналах «Сибирские огни», «Византийский ангел», в сборниках «Первые строки» (Новосибирск, 1981), «И золото листы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003); в альманахах «День поэзии» (Новосибирск, 1968), «Поэзия» (М., 1987), «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999 – 2008); в антологии «Эхо в квадрате» (М., 2004). Отдельные книги стихов: «Обоюдность» (М., 1988), «Посещения» (М., 1996), «У четверти века в гостях» (М., 2002), «По обе стороны глаз» (Новосибирск, 2008); пьеса в стихах «Абракадабрь» (М., 1998); эссе «Аплодисменты Гамлету на счет два» (М., 1998); переводы с тибетского стихотворений Цаньян Чжамцо (VI Далай-ламы) «Слуху приятные строфы» (М., 1998; Новосибирск, 2006).



Горбенко Владимир Иванович.

Родился 29 января 1941 года в городе Березники Пермской области. В 1966 году окончил геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета – по специальности геофизика.

Работал в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте. В 1974 году переехал в Москву. Занимался сейсмораионированием площадок для новых строящихся гидроэлектростанций. В 1993 году создал частное издательство и полностью отдался книжной издательской и полиграфической деятельности. Переводы стихов корейского поэта Ким Цын Сона (в соавторстве с Г. Прашкевичем) публиковались в журналах и альманахах «Сахалин», «Дальний Восток», «Байкал», «Огонек», «Аврора», «Нева», «Сибирские огни», «Побережье» (США), «Встречи» (США), выходили отдельными книгами в Южно-Сахалинске («Пылающие листья», 1968) и в Новосибирске (2005). Публиковался в сборниках «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999, 2003).



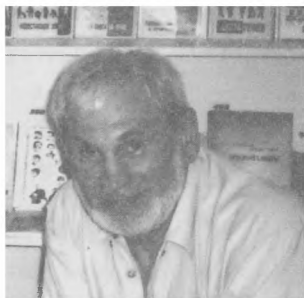
Захаров Владимир Евгеньевич.

Родился 1 августа 1939 года в Казани. В 1963 году окончил физический факультет Новосибирского государственного университета (первый выпуск). Доктор физико-математических наук, с 1991 года – действительный член Российской академии наук. В течение одиннадцати лет руководил Институтом теоретической физики им. Ландау, с 2005 года – регент-профессор математики Аризонского университета в городе Тусоне (США), одновременно – зав. сектором математической физики в Физическом институте им. Лебедева в Москве. Лауреат Государственных премий СССР (1987) и Российской Федерации (1992). В 2003 году удостоен золотой медали Дирака. Член Союза писателей России; российского ПЕН-клуба. Публиковался в журнале «Новый мир», в сборниках «Первые строки» (Новосибирск, 1981), «И золото листвы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003), «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999 – 2008), «Эхо в квадрате» (М., 2004). Издал книги стихов: «Хор среди зимы» (М., 1991), «Южная осень» (М., 1992), «Перед небом» (М., 2005), «Весь мир – провинция» (Новосибирск, 2008).



Киселева Лидия Григорьевна.
Родилась 30 декабря 1940 года в Хабаровске, детство провела в городе Ирбите на Урале. В 1964 году окончила Новосибирский государственный университет. С 1965 по 1971 годы занималась научной работой в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте, с 1971

года работает в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (впоследствии – Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН). Кандидат геолого-минералогических наук, автор 24 научных работ. Стихи публиковались в коллективных сборниках «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999), «И золото листвы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003), «Мифическая механика» (Санкт-Петербург, 2008). Переводит с английского – фантастические повести Роберто Квалья (Киев, 2006, 2007).



Прашкевич Геннадий Мартович.

Родился 16 мая 1941 года в селе Пировское Красноярского края. Член Союза писателей России; Союза журналистов России; Нью-Йоркского клуба русских писателей; российского ПЕН-клуба. Заслуженный работник культуры РФ.

Лауреат многих отечественных и зарубежных литературных премий. Издал (в своих переводах) антологию современной болгарской поэзии «Поэзия меридиана роз» (Новосибирск, 1982). Среди его книг: «Люди Огненного кольца» (Магадан, 1977), «Разворованное чудо» (Новосибирск, 1978), «Посвящения» (Новосибирск, 1991), «Пес Господень» (М., 1998), «Самые знаменитые ученые России» (М., 2000), «Самые знаменитые поэты России» (М., 2001; 2003), «Секретный дык» (М., 2001; Новосибирск, 2004), «Пятый сон Веры Павловны» (в соавторстве с Александром Богданом, М., 2001), «Кормчая книга» (Санкт-Петербург, 2004), «Золотой миллиард» (М., 2005), «Красный сфинкс» (Новосибирск, 2007), «Большие снега» (Новосибирск, 2008), многие другие. Издавался в США, Англии, Германии, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии, Литве, Узбекистане, Казахстане, на Украине.



Птицын Алексей Борисович.

Родился 17 июня 1941 года в Ленинграде, там же провел с матерью первые блокадные месяцы. В 1942 году эвакуирован в город Киров, в 1944 году вернулся в Ленинград. В 1964 году окончил Новосибирский государственный университет.

С 1965 по 1998 год работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (впоследствии – Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН). Доктор геолого-минералогических наук, профессор, с 1998 года – директор Читинского института природных ресурсов СО РАН (с 2003 года – Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН). Автор многих научных работ, автор собственных оригинальных курсов, читаемых в НГУ: «Геохимия для химиков-экологов», «Основы экологии геологической среды», «Геоэкология». Автор книги стихов «Остановки во времени» (Новосибирск, 2002). Публиковался в коллективных сборниках «Экспедиция на Парнас» (Новосибирск, 1983), «И золото листвы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003), «Геология – жизнь моя...» (М., 2004), «Антология геологической поэзии Сибири» (Иркутск, 2004).



Свинин Владимир Федорович.

Родился 24 февраля 1941 года в Вологде, вырос в Ленинграде. В 1964 году окончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Работал в отраслевых и академических НИИ Ленинграда и Новосибирска. Автор более 30 научных и научно-популярных работ. Автор фантастической повести «Школа гениев» (в соавторстве с Г. Прашкевичем – журнал «Байкал», 1979; отдельное издание – Новосибирск, 2004). Публиковался в коллективных сборниках: «Первые строки» (Новосибирск, 1981), «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999), «И золото листвы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003), «Мифическая механика» (Санкт-Петербург, 2008). В 2003 году основал частное книжное издательство «Свинин и сыновья», в котором среди прочего вышел его собственный перевод повести Р. Л. Стивенсона и Л. Осборна «Несусветный багаж», а также составленные с Константином Осеевым биографо-поэтическая антология «Знаменитые неизвестные» и сборник художественно-публицистических материалов «Сталинские премии: две стороны одной медали». В 2004 году в Новосибирске вышла его книга стихов «Когда очерчен круг знакомств».



Щеглов Валерий Иннокентьевич.

Родился 7 января 1942 года в Новосибирске. В 1965 году окончил геолого-геофизический факультет Новосибирского государственного университета, работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (впоследствии –

Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии СО РАН). Кандидат физико-математических наук, автор 37 научных работ. Публиковался в коллективных сборниках: «Первые строки» (Новосибирск, 1981), «Экспедиция на Парнас» (Новосибирск, 1983), «И золото листвы, и золото идей...» (Новосибирск, 2003), «Геология – жизнь моя...» (М., 2004), «К востоку от солнца» (Новосибирск, 1999). Скоропостижно скончался 9 марта 2007 года.



Янушевич Татьяна Александровна. Родилась 20 апреля 1941 года в Томске, выросла в Новосибирске. В 1965 году окончила Новосибирский государственный университет. С 1965 по 1970 годы работала в лаборатории сейсморазведки Института геологии и геофизики СО АН СССР. С 1970 по 2007 годы – ведущий инженер-геофизик Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья, по совместительству – научный сотрудник НГУ. Автор 26 научных работ (в том числе – учебника-справочника по общей геологии). Автор иллюстраций к шестнадцати научно-популярным книгам по экологии. Публиковалась в журналах «Проза Сибири» (Новосибирск, 1994, 1995, 1996), «День и ночь» (Красноярск, 2000); «Новосибирск» (Новосибирск, 2001, 2003, 2006). Автор книг: «Как Земля стала Землей» (Новосибирск, 1985), «Мое время. Записки счастливого человека» (Новосибирск, 2004), «Мифология детства» (Новосибирск, 2005).



СОДЕРЖАНИЕ

Геннадий ПРАШКЕВИЧ. «Признание в любви
никогда не бывает запоздалым...»3

Владимир БОЙКОВ.

АПЛОДИСМЕНТЫ «ГАМЛЕТУ» НА СЧЕТ ДВА

НОКТЮРНЫ

«Электрическим потоком...» 53

«Из потемок осыпаясь...» 53

«Тучи к ночи почернели...» 54

«Звезды высыпали густо...»54

В ГОРАХ

«Мы ходим верхами...» 55

«С чистой музыкой сверь...» 55

НА ШЕЛКОВОМ ПУТИ

«Среди равнины...» 57

«Плыла пиала луны...» 57

ТАНЬКИНЫ СКАЗКИ

«Автобус – люлька человек на тридцать...» 59

«Мне вчера рассказывала Танька...» 59

РАБОЧЕЕ УТРО 61

У САМОГО ОБСКОГО МОРЯ 62

СРЕДИ ЕВРАЗИИ 64

«У Дома пионеров...» 65

ТАИНСТВО 66

«Упал кочевник от удара...» 67

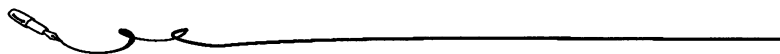
«Я брал ее за тонкие запястья...» 68

Из Цаньяна Чжамцо (с тибетского).

«СЛУХУ ПРИЯТНЫЕ СТРОФЫ»69

АПЛОДИСМЕНТЫ «ГАМЛЕТУ»

НА СЧЕТ ДВА72



Владимир ГОРБЕНКО. ЗЕЛЕНОЕ ВИНО

ВОКЗАЛ	101
«Хочешь, я тебе подарю...»	102
«Вдруг ворваться неожиданным...»	103
УТРО	104
ПАЛЬЦЫ	105
ТАСКАНСКИЙ БЛЮЗ	106
СОН ОБ АКАДЕМГОРОДКЕ	107
«Мне хочется теплых губ...»	108
«И все-таки друзья прощаются...»	109
ПРОЩАНИЕ	110
ВОЗВРАЩЕНИЕ	111
АПРЕЛЬ	112
НОЧЬ	113
РОМАНС (Катилене в дорогу)	114
ЗАСТОЛЬНАЯ ГЕОФИЗИКОВ НГУ ВЫПУСКА 1966 ГОДА	115
СКАЗКИ	
БАБОЧКА (<i>Африканская история</i>)	116
НОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ	127
ИСТОРИЯ ПРО КУЗНЕЧИКА	140

Владимир ЗАХАРОВ. ПРОСТРАНСТВО

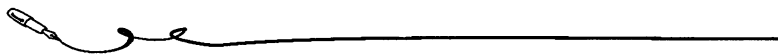
КАК ПРЕДМЕТ ПОЭЗИИ И НАУКИ

«На мостах...»	167
«Там на улице дождь...»	168
«Мне все равно, жива ты или нет...»	169
«Я к окну подойду и открою...»	170
СОНЕТ	171
«Мы, прикованные к формулам...»	172
«Этой сини хватает на всех...»	173
«Что общего у смерти и любви...»	174

«Я помню о детстве трав...»	175
«Творцу и герою пора на покой...»	176
НА САМОЛЕТЕ	177
«Хорошо бы при жизни прославиться...»	178
НОЖ	179
КИЕВ	182
«Как мусор по реке времен...»	183
ВРЕМЯ	185
ПРОСТРАНСТВО	
КАК ПРЕДМЕТ ПОЭЗИИ И НАУКИ	186

Лидия КИСЕЛЕВА. ПРОСТЫЕ ЛИНИИ

«Делят землю...»	243
«Люблю бездумно рисовать простые линии...»	244
«Скоро, совсем скоро...»	245
ГЛЯДЯ НА ФОТОГРАФИЮ	246
«Ничто не мешало мне любить тебя...»	247
«Слова беспомощные бьются...»	248
«Господи, я не навещаю тебя в храме...»	249
«Капля за каплей стекает время...»	250
«Хорошо бы стать точкой...»	251
«Ах, как славно!»	252
«Спокойна и светла моя душа...»	253
«Заварю траву я зверобоя...»	254
«Я такая же госпожа...»	255
«В голове сумбур...»	256
«Печаль полей...»	257
«И вот она пришла...»	258
«Мы мудреем с годами...»	259
«Нет ничего проще – сказать...»	260
«Не может быть свободы...»	261
«О, как они томят...»	262



«Слова блуждают...»	263
«Проходит ночь...»	264
«Мне не нужны...»	265
«Настанет зимний день...»	266
«Как вычеркнуть имя твое...»	267
«Почему я думаю о тебе каждое утро?»	268

**Геннадий ПРАШКЕВИЧ.
СТИХИ ДЛЯ ЛИДИИ КИСЕЛЕВОЙ,
НАПИСАННЫЕ В АКАДЕМГОРОДКЕ
В НАЧАЛЕ ШЕСТИДЕСЯТЫХ**

«Дым из труб...»	271
«Ко всему и ко всем...»	272
«Отплясывает вынужденный твист...»	273
«Я много лет скитался...»	274
«Все это так нелепо...»	275
МАСТЕРА КРАСОТЫ	276
«Ко всем облакам...»	277
«Дымзавиткомломаным...»	278
«Как Ивиковы журавли...»	279
«Я прихожу к прозрачной мысли...»	280
«Ледышкой, сколами стекла...»	281
«Восстали горы ватные...»	282
«Смеется. Ослепляет свет...»	283
«Промолчит лес...»	284
«Осень моя пьяная – мой Ирбит...»	285
«В долине семи осин...»	286
ВОЗВРАЩЕНИЕ	287
ВСТРЕЧА С НАЗЫМОМ ХИКМЕТОМ	288
СТИХИ О ТОМСКИХ СОНЕТАХ	289
«Тишина не ушла...»	290
МАЙ ЭТОГО ГОДА	291
«Беспредельную равнину...»	292



Алексей ПТИЦЫН.

Я – ЛУЧШАЯ СТРОКА СТИХОТВОРЕНИЯ

ИЗ РАННЕГО

«Горы, базальт, траппы...»	295
«Я хочу быть квартиросъемщиком...»	297
ВОСХОД	298
«Быть может, все пройдет...»	299
«Жил Горб...»	300

ЗАБАЙКАЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

«В пески тяжелые закованный...»	301
«Дорога – времени река...»	302
«Серый океан туч...»	303
«Природа спит...»	304

«ДАТСКИЕ» СТИХИ (стихи к датам)

«Бумага! В рукописях древних...»	305
«Яркий весенний наряд вспенила юная Эос...»	307
«Не гляди назад, не гляди...»	309
«Привет, Володя!»	310
«Пища жизни – потоки энергии...»	311

ПАРОДИИ

«В нем что-то тайное мнимое...»	312
«Тяжело воскресения...»	313
«Поэтов известных немножечко жаль...»	314
«Я многого не сохранил...»	315
«Перестань пересчитывать волосы...»	316

РАЗНОЕ

«В толпе, где пели и кричали...»	317
«К Земле из горнего эфира...»	318
«Я – лучшая строка стихотворенья...»	319
«Все существует лишь в моем воображенье...»	320
«Что мы знаем о жизни нашей?»	321
«Оставьте все, что есть, на этом свете...»	322



ЛИРИКА

«Теплый дождь волос...»	323
«В дыму костра под северной луной...»	324
«Я ждал рассвета, стоя у окна...»	325
«Прекрасен женщины удел...»	326
ВЕСНА	327
«На камни лягут наши имена...»	328

Владимир СВИНЬИН. БОГ ГЕРМЕС И ЕГО ПОТОМКИ

«Перестань пересчитывать горести...»	331
ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ	332
«Я многого не сохранил...»	333
ЗАБЫТАЯ ПЕСНЯ	335
РЕЖИССЕРЫ	336
АКАДЕМГОРОДОК	337
ЧЕТЫРЕ ЧАСА	338
«Я откровений новых не дарю...»	339
ПИСЬМО ИЗ САМОЛЕТА ТАТЬЯНЕ Я. О СУЩНОСТИ ЛЮБВИ	340
КИРГИЗИНКА	342
В ТРАКТАТ О СОСУДАХ	343
«Когда очерчен круг знакомств...»	344
СОНЕТОЧКА НЕЗВАНАЯ	346
ПРИЗНАНИЯ БОЯНА	347
ИСТОРИЯ НА КУХНЕ	349
НА ИСХОДЕ ЛЕТА	350
БОГ ГЕРМЕС И ЕГО ПОТОМКИ	351

Валерий ЩЕГЛОВ. ВЕЧЕР В АКАДЕМГОРОДКЕ

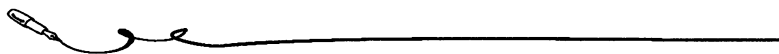
«Все проходит, исчезает...»	385
«Тонко вспыхнет луна...»	386
ЛИСТОПАДЫ	387

ДЕТСТВО	388
ПОМНИШЬ?	389
ПОЕЗД ТОМСК – БИЙСК	390
«И в какие глухие вечности...»	391
О, ГОВОРИ МНЕ	392
ВЕЧЕР В АКАДЕМГОРОДКЕ	393
ПЕЧАЛЬНИЦА	394
ГАДАНИЕ	396
СТАККАТО ВЕСНЫ	398
«Но кто же был тогда за дверью...»	401
ВЫШКА	402
ИЮНСКИЙ ВАЛЬС	405
ЛЕНИВЫЙ ДЕНЬ	407
НОЧЬ	408
СТИХИ О БЕЛОМ СУМРАКЕ	410
БЛЮЗ О ЗАБЫТОМ ЛЕТЕ	412
ЛАСКОВЫЙ ЛИВЕНЬ	413
ДОМ	414
«Всё проходит постепенно...»	416
«Тает в небе позолота...»	418
«В квартире – полумрак...»	419
ВОКЗАЛЫ	420
ВОТ И ВСЕ	422
«Твои глаза опять манят...»	423
СТУДЕНЧЕСКИЙ ТОСТ	424

Татьяна ЯНУШЕВИЧ. ЗАРИСОВКИ НА ПОЛЯХ

РАССКАЗЫ

<i>ВСТРЕЧНАЯ</i>	427
<i>ЧАСТНЫЙ УРОК</i>	438
<i>МОРКОВКА</i>	440
<i>ПАРУС МАЙОР</i>	441



<i>АНТРЕПРИЗА</i>	442
<i>ПОД ГОРЯЧИМ ХВОЙНЫМ НЕБОМ</i>	455
<i>МЕЖДУГОРОДНИЙ РАЗГОВОР</i>	462
<i>ВОТ ЧТО ЭТО?</i>	463
<i>ПРО КОНЕЙ</i>	468
ИЗ КНИГИ «МОЕ ВРЕМЯ»	
«ЭБЕНОВЫЙ ГОБОЙ»	491
ОБ АВТОРАХ	502

ЗЕЛЕНОЕ ВИНО
Литературный Академгородок
шестидесятых

Составители

Г. М. Прашкевич, Т. А. Янушевич

Редакторы

Г. М. Прашкевич,
Т. А. Янушевич

Компьютерная верстка
и дизайн

Т. А. Воронина

Корректор

Е. Н. Булгакова

Диaposитивы

И. Н. Сапожников

Издательство «Свиньин и сыновья»

www.isvis.ru; e-mail: isis@irs.ru

Подписано в печать 20.02.2009. Формат 60×84/16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 30,23. Тираж 500 экз.
Заказ № 52

Типография ИПП «Офсет»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, 4а

ISBN 978-5-98502-080-9



9 785985 020809 >

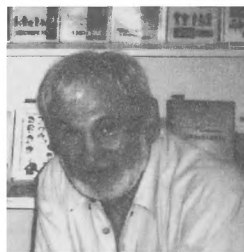
ПОЭТИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

издательства «Сынъин и сыновья»

Владимир Сынъин
«Когда омерзён
круг знакомств»



Геннадий Прашкевич
«Большие снега»



Владимир Захаров
«Весь мир – провинция»



Владимир Байков
«По обе стороны глаз»



Литературная жизнь знаменитого новосибирского Академгородка начала 60-х годов прошлого века впервые представлена столь разнообразными материалами: стихами, прозой, публицистикой. Авторы (математик Владимир Бойков, геохимик Алексей Птицын, физики Владимир Захаров и Владимир Свиньин, геофизики Лидия Киселева, Татьяна Янушевич, Владимир Горбенко и Валерий Щеглов) – питомцы и воспитанники Академгородка – давно переросли свои узкопрофессиональные рамки; они известны, они издаются, они, без сомнения, внесли и продолжают вносить свой вклад в отечественную литературу. Их взгляд на пространство русской речи необычен и привлекателен, а песня Владимира Горбенко «Зеленое вино» непременно звучит на встречах старых друзей. Убежден, любой читатель, открывший эту книгу, ощутит запах живой жизни, живой истории.

Геннадий Прашкевич